**Томас Манн**

**Новеллы**

Содержание:

\*

Марио и фокусник.

(1930)

\*

Непорядок и раннее горе.

(1926)

\*

Смерть в Венеции.

(1911)

\*

Тонио Крегер.

(1903)

\*

Тристан.

(1902)

\*

Хозяин и собака.

(1918)

ТОМАС МАНН

 МАРИО И ФОКУСНИК

 Перевод В. Курелла

 Вспоминать наше пребывание в Toppо-ди-Венере и всю тамошнюю атмосферу

тягостно. С самого начала в воздухе ощущалось раздражение, возбужденность,

взвинченность, а под конец еще эта. история с ужасным Чиполлой, в чьем

лице роковым и вместе с тем впечатляющим образом словно бы нашло свое

воплощение и угрожающе сгустилось все специфически злокачественное этого

настроения. То, что при страшной развязке (развязке, как нам казалось

потом, заранее предначертанной и, в сущности, закономерной) присутствовали

наши дети, было, конечно, прискорбно и непозволительно, но нас ввела в

заблуждение мистификация, к которой прибегнул этот весьма необычный

человек. Слава богу, дети так и не поняли, когда кончилось лицедейство и

началась драма, и мы не стали выводить их из счастливого заблуждения, что

все это было игрой.

 Торре расположен километрах в пятнадцати от Портеклементе, одного из

самых популярных курортов на Тирренском море, по-столичному элегантного и

большую часть года переполненного, с нарядной, застроенной отелями и

магазинами эспланадой вдоль моря, с пестрящим кабинками, флажками песочных

замков и загорелыми телами, широченным пляжем и шумными увеселительными

заведениями. Поскольку пляж, окаймленный рощей пиний, на которую смотрят

сверху ближние горы, покрыт вдоль всего побережья тем же мелким песком,

удобен и просторен, не мудрено, что чуть поодаль вскоре возник менее

шумный конкурент. Торре-диВенере, где, впрочем, напрасно будешь озираться

в поисках башни, которой поселок обязан своим названием, представляет

собой как бы филиал соседнего большого курорта и на протяжении ряда лет

был раем для немногих, приютом для ценителей природы, не опошленной

светской толпой. Но, как это водится с такими уголками, тишине давно

пришлось отступить еще дальше по побережью, в Марина-Петриера и бог весть

куда; свет, как известно, ищет тишины.и ее изгоняет, со смешным

вожделением набрасываясь на нее и воображая, будто способен с ней

сочетаться и будто там, где пребывает она, может находиться и он; что

говорить, даже раскинув в ее обители свою ярмарку, он готов верить, что

тишина еще осталась.

 Вот и Торре, хотя он пока еще и поспокойнее и поскромнее, чем

Портеклементе, уже вошел в моду у итальянцев и приезжих из других стран.

 В международный курорт больше не едут или не едут в прежней мере, что

не мешает ему оставаться шумным и переполненным международным курортом;

едут чуть подальше, в Торре, это даже шикарнее, а кроме того, дешевле,

причем притягательная сила этих достоинств остается неизменной, хотя сами

достоинства исчезли. Торре обзавелся "Гранд-отелем", расплодились

бесчисленные пансионы с претензиями и попроще, так что владельцы и

наниматели вилл и садиков в сосновой роще, над морем уже не могут

похвастаться покоем на пляже; в июле - августе там точно та же картина,

что и в Портеклементе: весь пляж кишмя кишит гомонящими, галдящими,

радостно гогочущими купальщиками, которым неистовое солнце лохмотьями

сдирает кожу с шеи и плеч; на искрящейся синеве покачиваются плоскодонные,

ядовито окрашенные лодки с детьми, и звучные имена, которыми окликают

своих чад боящиеся потерять их из виду мамаши, насыщают воздух хриплой

тревогой; а к этому добавьте еще разносчиков устриц, прохладительных

напитков, цветов, коралловых украшений, cornetti al burre [Рожков в масле

(ит.)], которые, переступая через раскинутые руки и ноги загорающих, тоже

по-южному гортанными и бесцеремонными голосами предлагают свой товар.

 Так выглядел пляж в Торре, когда мы прибыли, - красочно, ничего не

скажешь, но мы все же решили, что приехали слишком рано. Стояла середина

августа, итальянский сезон был еще в самом разгаре - для иностранцев не

лучшая пора, чтобы оценить прелесть этого местечка; Какая после обеда

толчея в открытых кафе на променаде вдоль моря, хотя бы ?

 "Эсквизито", куда мы иногда заходили посидеть и где нас обслуживал

Марио, тот самый Марио, о котором я намерен рассказать! С трудом найдешь

свободный столик, а оркестры - каждый, не желая считаться с другими,

играет свое! К тому же как раз после обеда ежедневно прибывает публика из

Портеклементе, ибо, понятно, Торре излюбленная цель загородных прогулок

для непоседливых отдыхающих большого курорта, и, по вине мчащихся взад и

вперед фиатов, кусты лавров и олеандров по обочинам ведущего оттуда шоссе

покрыты, как снегом, дюймовым слоем белой пыли - диковинная, однако

отвратительная картина.

 В самом деле, ехать в Торре-ди-Венере надо в сентябре, когда широкая

публика разъезжается и курорт пустеет, или же в мае, прежде чем море

прогреется настолько, чтобы южанин рискнул в него окунуться. Правда, и в

межсезонье там не пусто, но куда менее шумно и не так заполнено

итальянцами. Английская, немецкая, французская речь преобладает под

тентами кабин на пляже и в столовых пансионов, тогда как еще в августе, по

крайней мере в "Гранд-отеле", где мы за неимением частных адресов

вынуждены были остановиться, такое засилие флорентийцев и римлян, что

иностранец чувствует себя не только посторонним, но как бы постояльцем

второго сорта.

 Это мы с некоторой досадой обнаружили в первый же вечер по приезде,

когда спустились обедать в ресторан и попросили метрдотеля указать нам

свободный столик. Против отведенного нам столика, собственно, нечего было

возразить, однако нас пленила выходящая на море застекленная веранда,

которая, как и зал, была заполнена, но где еще оставались свободные места

и на столиках горели лампочки под красными абажурами. Такая праздничность

привела в восторг наших малышей, и мы по простоте душевной заявили, что

предпочитаем столоваться на веранде, - тем самым, как оказалось, обнаружив

полную свою неосведомленность, ибо нам с некоторым смущением разъяснили,

что эта роскошь предназначается "нашим клиентам", "ai nostri client!".

Нашим клиентам? Стало быть, нам. Мы ведь не какие-нибудь

бабочки-однодневки, а прибывшие на три недели или месяц постояльцы,

пансионеры. Впрочем, мы не пожелали настаивать на уточнении различия между

нами и той клиентурой, что вправе кушать при свете красных лампочек, и

съели наш pranzo [Обед (ит.)] за скромно и буднично освещенным столом в

общем зале - весьма посредственный обед, безличный и невкусный гостиничный

стандарт; кухня пансиона "Элеонора", расположенного на какие-нибудь десять

шагов дальше от моря, показалась нам потом несравненно лучше.

 Туда мы перебрались всего через три или четыре дня, даже еще как

следует не освоившись в "Гранд-отеле" - и вовсе не из-за веранды и красных

лампочек: дети, сразу подружившись с официантами и посыльными, без памяти

радуясь морю, очень скоро и думать забыли о красочной приманке. Но с

некоторыми завсегдатаями веранды или, вернее, с пресмыкавшейся перед ними

дирекцией отеля тотчас возник один из тех конфликтов, которые способны с

самого начала испортить все пребывание на курорте. Среди приезжих была

римская знать, некий principe [Князь (ит.)] Икс с семейством, номер этих

господ находился по соседству от нашего, и княгиня, великосветская дама и

вместе с тем страстно любящая мать, была напугана остаточными явлениями

коклюша, который оба наши малыша незадолго перед тем перенесли и слабые

отголоски которого еще изредка по ночам нарушали обычно невозмутимый сон

нашего младшего сына. Сущность этой болезни не очень ясна, что оставляет

простор для всяких предрассудков, а потому мы нисколько не обиделись на

нашу элегантную соседку за то, что она разделяла широко распространенное

мнение, будто коклюшем заражаются акустически, - иначе говоря, попросту

опасалась дурного примера для своих детей. По-женски гордясь и упиваясь

своей знатностью, она обратилась в дирекцию, после чего облаченный в

непременный сюртук управляющий поспешил с превеликим сожалением нас

известить, что в данных обстоятельствах наше переселение во флигель отеля

совершенно обязательно. Напрасно заверяли мы его, что эта детская болезнь

находится в последней стадии затухания, что она фактически преодолена и не

представляет уже никакой опасности для окружающих.

 Единственной уступкой нам было дозволение вынести случай на суд

медицины, гостиничный врач - и лишь он, а не какой-нибудь приглашенный

нами - может быть вызван для разрешения вопроса. Мы согласились на это

условие, поскольку не сомневались в том, что таким образом и княгиня

успокоится, и нам не придется перебираться. Приходит доктор, он

оказывается честным и достойным слугой науки. Он обследует малыша,

находит, что тот совершенно здоров, и отрицает какую-либо опасность. Мы

полагаем себя вправе считать дело улаженным, как вдруг управляющий

заявляет, что, несмотря на заключение врача, нам надлежит освободить номер

и переселиться во флигель.

 Такое раболепие возмутило нас. Вряд ли вероломное упорство, с которым

мы столкнулись, исходило от самой княгини. Скорее всего, подобострастный

управляющий просто не решился доложить ей заключение врача. Как бы то ни

было, мы уведомили его, что предпочитаем вообще выехать, притом

немедленно, - и стали укладываться. Мы могли так поступить с легким

сердцем, потому что тем временем успели мимоходом побывать в пансионе

"Элеонора", сразу приглянувшемся нам своим приветливо-семейным видом, и

познакомиться с его хозяйкой, синьорой Анджольери, которая произвела на

нас самое благоприятное впечатление.

 Миловидная, черноглазая дама, тосканского типа, вероятно немногим

старше тридцати, с матовой, цвета слоновой кости, кожей южанки, мадам

Анджольери и ее супруг, всегда тщательно одетый, тихий и лысый господин,

содержали во Флоренции пансион покрупнее и лишь летом и ранней осенью

возглавляли филиал в Торре. Раньше, до замужества, наша новая хозяйка была

компаньонкой, спутницей, костюмершей, более того - подругой Дузе, - эпоха,

которую она, по-видимому, считала самой значительной и счастливой в своей

жизни и о которой в первое же наше посещение принялась оживленно

рассказывать. Бесчисленные фотографии великой актрисы с сердечными

надписями и другие реликвии их прежней совместной жизни украшали стены и

этажерки гостиной г-жи Анджольери, и хотя было ясно, что этот культ ее

интересного прошлого в какой-то мере также призван увеличить

притягательную силу ее теперешнего предприятия, мы, следуя за ней по дому,

с удовольствием и участием слушали преподносимый на отрывистом и звучном

тосканском наречии рассказ о безграничной доброте, сердечной мудрости и

отзывчивости ее покойной хозяйки.

 Туда-то мы и велели перенести наши вещи к огорчению служащих

"Гранд-отеля", по доброму итальянскому обыкновению очень любящих детей;

предоставленное нам помещение было изолированным и приятным, путь к морю,

по аллее молодых платанов, выходившей на приморский променад, близок и

удобен, столовая, где мадам Анджольери ежедневно в обед собственноручно

разливала суп, прохладна и опрятна, прислуга внимательна и любезна, стол

преотличный, мы даже встретили в пансионе знакомых из Вены, с которыми

после обеда можно было поболтать перед домом и которые, в свою очередь,

свели нас со своими друзьями, так что все могло бы быть прекрасно - мы

только радовались перемене жилья, и ничто, казалось, не мешало хорошему

отдыху.

 И все-таки душевного покоя не было. Возможно, нас продолжала точить

вздорная причина нашего переезда - я лично должен признать, что с трудом

прихожу в равновесие, когда сталкиваюсь с такими общераспространенными

человеческими свойствами, как примитивное злоупотребление властью,

несправедливость, холуйская развращенность. Это чрезмерно долго занимает

меня, погружает в раздумье, раздражающее и бесплодное, потому что подобные

явления стали слишком уж привычными и обыденными. Притом у нас даже не

было ощущения, что мы рассорились с "Грандотелем". Дети по-прежнему

дружили с персоналом, коридорный чинил им игрушки, и время от времени мы

пили чай в саду гостиницы, иногда лицезрея там княгиню, которая, с чуть

тронутыми коралловой помадой губками, грациозно-твердым шагом появлялась,

чтобы взглянуть на своих вверенных англичанке дорогих крошек, и не

догадывалась о нашей опасной близости, так как нашему малышу при ее

появлении строго-настрого запрещалось даже откашливаться.

 Надо ли говорить, что стояла ужасная жара? Жара была поистине

африканской: свирепая тирания солнца, стоило лишь оторваться от кромки

синей, цвета индиго, прохлады, была до того неумолимой, что сама мысль о

необходимости даже в одной пижаме пройти несколько шагов от пляжа к

обеденному столу вызывала вздох. Выносите ли вы жару? Особенно, когда она

стоит неделями? Конечно, это юг и, так сказать, классическая для юга

погода, климат, послуживший расцвету человеческой культуры, солнце Гомера

и прочее и прочее. Но спустя некоторое время, помимо воли, я уже склоняюсь

к тому, чтобы считать этот климат отупляющим.

 День за днем все та же раскаленная пустота неба вскоре начинает меня

;угнетать, яркость красок, чрезмерно прямой и бесхитростный свет, хоть и

будят праздничное настроение, вселяют беззаботность и уверенность в своей

независимости от капризов и изменчивости погоды, однако, пусть вначале не

отдаешь себе в том отчета, иссушают, оставляют неудовлетворенными более

глубокие и непростые запросы нордической души, а со временем внушают даже

нечто вроде презрения. Вы правы, не случись этой глупой историйки с

коклюшем, я, наверное, воспринял бы все иначе: я был раздражен, возможно,

я желал все именно так воспринять и полубессознательно подхватил готовый

штамп, если не для того, чтобы вызвать у себя такое восприятие

окружающего, то хотя бы чтобы как-то его оправдать и подкрепить. Но даже

если допустить с нашей стороны злую волю - д том, что касается моря,

утренних часов, проведенных на песке перед его Неизменным величием, ни а

чем подобном не может быть и речи; и всетаки, вопреки- всему нашему

прошлому опыту, мы и на пляже не чувствовали себя легко и радостно.

 Да, мы приехали слишком, слишком рано: пляж, как уже сказано, все еще

был во власти местного среднего класса - несомненно, отрадная

разновидность людей, вы и тут правы, среди молодежи можно было встретить и

высокие душевные качества, и физическую красоту, но, как правило, нас

окружала человеческая посредственность и мещанская безличность, которые,

вы не станете отрицать, отштампованные в здешнем поясе, ничуть не

привлекательнее тех экземпляров, что существуют под нашим небом. Ну и

голоса у этих женщин! Порой просто не верилось, что мы в Италии - колыбели

всего западноевропейского вокального искусства. "Fuggiero!"

 И по сей день у меня в ушах стоит этот крик, недаром двадцать дней

кряду он беспрестанно раздавался в непосредственном соседстве от меня,

беззастенчиво хриплый, ужасающе акцентируемый, с пронзительно растянутым

"ё", исторгаемый каким-то ставшим уже привычным отчаянием: "Fuggiero!

Rispondi almeno!" [Фуджеро! Отзовись! (ит.)] Причем "sp" произносилось

очень вульгарно, как "ши", что само по себе раздражает, особенно если ты и

без того в дурном настроении. Крик этот адресовался мерзкому мальчишке с

тошнотворной язвой от солнечного ожога между лопатками, упрямством,

озорством и зловредностью превосходившему все, с чем мне когда-либо

приходилооь встречаться; к тому же о" оказался страшным трусом, не

постеснявшимся, из-за возмутительного своего слабодушия, всполошить весь

пляж.-Как-то раз его в воде ущипнул за ногу краб, но изданный им но столь

ничтожному поводу на манер героев античности горестный вопль был поистине

душераздирающим, и все решили, что произошло несчастье. Очевидно, он

считал себя тяжело раненным. Ползком выбравшись на берег, oft в исвынот

симых, казалось, муках катался по песку, орал "ohi!" и "oimo!", бил руками

и ногами, отвергая заклинания матери и уговоры окруживших его близких и

знакомых. Со всех сторон сбежались люди. Привели врача, того самого, что

так здраво разобрался в нашем коклюше, и опять подтвердилось его научное

беспристрастие. Добродушно утешая пострадавшего, он заявил, что это сущие

пустяки, и просто порекомендовал своему пациенту продолжить купанье, чтобы

охладить ссадинку от к рабьих клешней. Втяесто того Фуджеро, словно

сорвавшегося, со скалы или утопленника, уложили на импровизированные

носилки и, в сопровождении толпы народа, унесли с пляжа - что не помешало

ему на следующее жо утро вновь там появиться и по-прежнему, будто

нечаянно, разрушать песочные крепости других ребятишек. Словом, ужас что

такое!

 Вдобавок этот двенадцатилетний паршивец был одним из главных

выразителей определенного умонастроения, которое, почти неуловимо витая в

воздухе, омрачило и испортило нам приятный отдых у моря. Почему-то здешней

атмосфере недоставало простоты и непринужденности; местная публика "себя

блюла", поначалу даже трудно было определить, в каком смысле и духе, она

считала своим долгом пыжиться, выставляла напоказ друг перед другом и

перед иностранцами свою серьезность и добропорядочность, особую

требовательность в вопросах чести что бы это значило? Но скоро нам стала

ясна политическая подоплека тут замешана была идея нации. В самом деле,

пляж кишел юными патриотами противоестественное и удручающее зрелище. Дети

ведь составляют как бы особый человеческий род, так сказать, собственную

нацию; всюду в миро они легко и просто сходятся в силу одинакового образа

жизни, даже если иx малый запас слов принадлежит к разным языкам. И наши

малыши очень скоро стали играть со здешними, как, впрочем, и с детьми

иностранцев. Но их постигало одно непонятное разочарование за другим. То и

дело возжигали обиды, заявляло о себе самолюбие, слишком болезненное и

цапористос, чтобы быть принятым всерьез; вспыхивали расири между флагами,

сяорыоместе и первенстве; взрослые вмешивались, не столько примиряя,

сколько пресекая споры и оберегая устои, гремели фразы о величии и чести

Италии, фразы совсем не забавные и портящие всякую игру; мы видели, что

оба паши малыша отходят озадаченные и растерянные, и старались, как могли,

объяснить им положение вещей: этих людей, говорили мы им, лихорадит, они

переживают такое состояние, ну, что-то вроде болезни не очень приятное,

"О, видимо, неизбежное.

 Нам оставалось только пенять на себя и собственную беззаботность; если

дело у нас дошло до конфликта с этим, хоть и понятым и принятым нами в

расчет, состоянием, - еще одного конфликта; похоже, что предыдущие тоже но

были целиком чистой случайностью. Короче говоря, мы оскорбили

нравственность. Наша дочурка - ей восемь лет, но по физическому развитию

ей и семи не дашь, такая это худышка, - вдоволь накупавшись и, как это

водится в жаркую погоду, продолжив прерванную игру на пляже в мокром

костюмчике, получила от нас разрешение прополоскать в морс купальник, на

котором налипла толстая корка песку, с тем чтобы потом надеть его и уже

больше не пачкать. Голенькая, она бежит какие-то несколько метров к воде,

окунает костюмчик и возвращается обратно.

 Могли ли мы предвидеть ту волну злобы, возмущения, протеста, которую

вызвал ее, а стало быть, наш поступок? Я не собираюсь читать вам лекцию,

но всюду в миро отношение к человеческому телу и к его наготе за последние

десятилетия коренным образом изменилось, воздействовав и на наши чувства.

Есть вещи, на которые просто "не обращают внимания", и к ним относилась

свобода, предоставленная этому детскому, никаких эмоций не вызывающему

тельцу. Но здесь-это было воспринято как вызов. Юные патриоты заулюлюкали.

Фуджеро, заложив пальцы в рот, свистнул. Возбужденные разговоры взрослых

по соседству с нами становились все громче и но предвещали ничего доброго.

Господин во фраке и в сдвинутом на затылок, мало подходящем для пляжа

котелке заверяет свою скандализованную даму, что так этого не оставит; он

вырастает перед нами, и на нас обрушивается филиппика, в которой весь

пафос темпераментного юга поставлен на службу самым чопорным требованиям

приличий. Забвение стыда, в коем мы повинны, - так было нам заявлено, -

тем более предосудительно, что оно является, по сути, неблагодарностью и

оскорбительным злоупотреблением гостеприимством Италии. Нами преступно

попраны не только дух и буква правил общественного купания, но также честь

его страны, и, защищая эту честь, он, господин во фраке, позаботится о

том, чтобы такое посягательство на национальное достоинство не осталось

безнаказанным.

 Слушая это словоизвержение, мы скрепя сердце только глубокомысленно

кивали. Возражать разгоряченному господину значило бы лишь совершить новую

оплошность. Многое вертелось у нас на языке, например, что не все обстоит

здесь настолько благополучно, чтобы считать вполне уместным слово

"гостеприимство" в подлинном его значении, и что мы, если говорить без

прикрас, гости не столько Италии, сколько синьоры Анджольери, в свое время

сменившей род занятий - из доверенной Дузе сделавшейся содержательницей

пансиона. Не терпелось нам также возразить, что мы не представляли себе,

как низко пала нравственность в этой прекрасной стране, если потребовался

возврат к подобным ханжеским строгостям. Однако Мы ограничились

заверениями, что и в мыслях не имели вести себя вызывающе или

непочтительно, и в качестве извинения ссылались на юный возраст и

физическую неразвитость малолетней правонарушительницы. Все напрасно. Наши

заверения были отвергнуты как неправдоподобные, наши доводы объявлены

несостоятельными, и нас решили, чтобы и другим было неповадно, проучить.

Вероятно, по телефону сообщили в полицию, на пля-же появился представитель

власти, назвавший происшествие весьма серьезным, "molto grave", и

предложивший нам следовать за ним на "площадь", в муниципалитет, где более

высокий чин подтвердил предварительный вердикт "molto grave" и, употребляя

то же самые, что и господин в котелке, по-видимому, принятые здесь

дидактические выражения, разразился длиннейшей тирадой по поводу нашего

преступления и в наказание наложил на нас штраф в пятьдесят лир. Мы сочли

наше приключение достойным такого пожертвования в государственную казну,

заплатили и ушли. Может быть, нам следовало бы тут же уехать?

 Зачем мы так не поступили? Мы избежали бы тогда встречи с роковым

Чиполлой; однако слишком многое сошлось, чтобы заставить нас тянуть с

отъездом. Кто-то из поэтов сказал, что единственно лень удерживает нас в

неприятной обстановке - можно было бы привлечь это остроумное замечание

для объяснения нашего упорства. К тому же после таких стычек не очень-то

охотно покидаешь поле боя; не хочешь признаваться, что оскандалился,

особенно если выражения сочувствия со стороны укрепляют твой боевой дух. В

вилле "Элеонора" не существовало двух мнений относительно причиненной нам

несправедливости. Итальянские знакомые, наши послеобеденные собеседники,

считали, что история эта никак не способствует доброй славе страны, и

собирались, на правах соотечественников, потребовать от господина во фраке

объяснения. Но тот уже на следующий Лень скрылся с пляжа, вместе со всей

своей компанией - не из-за нас, разумеется, однако не исключено, что

именно сознание предстоящего отъезда придало ему отваги,- так или иначе,

его исчезновение было для нас большим облегчением. А если говорить

начистоту - мы остались еще и оттого, что в здешней обстановке было что-то

необычное, а необычное само по себе представляет ценность, независимо от

того, приятно оно или неприятно. Надо ли капитулировать и уходить от

переживаний, если они не обещают вам радости или удовольствия? Надо ли

"уезжать", когда жизнь становится тревожной и не совсем безопасной или же

несколько тяжкой и огорчительной? Нет, надо остаться, надо все увидеть и

все испытать, тут-то и можно кое-чему научиться. Итак, мы остались и, как

страшную награду за нашу стойкость, пережили впечатляюще злополучное

выступление Чиполлы.

 Я не упомянул, что, примерно ко времени учиненного над нами

административного произвола, наступил конец сезона. Донесший на нас

блюститель нравственности в котелке был не единственным приезжим,

покинувшим курорт; итальянцы уезжали толпами, и множество ручных тележек с

багажом потянулось к станции. Пляж утратил свой сугубо национальный

характер, жизнь в Торре, в кафе, на аллеях сосновой рощи стала и более

простой, и более европейской; вероятно, теперь нас даже допустили бы на

застекленную веранду "Гранд-отеля", но мы туда не стремились, мы

чувствовали себя хорошо и за столом синьоры Анджольери - если вообще

мыслимо было считать наше самочувствие хорошим, с той поправкой, которую

вносил в него витавший здесь злой дух. Однако вместе с такой благотворной,

на наш взгляд, переменой, резко изменилась погода, показав себя в полном

согласии с графиком отпусков. Небо заволоклось, нельзя сказать чтобы стало

прохладней, по откровенный зной, царивший эти три неделима скорее всего,

еще задолго до нашего приезда), сменился томящей духотой сирокко, и время

от времени слабый дождичек кропил бархатистую арену, на которой мы

проводили наши утра. К тому же надо заметить что две трети срока,

выделенного нами-на Торро, уже истекло; сонное, выцветшее море с чуть

колышущимися на его плоской глади вялыми-медузами как-никак было нам

внове, и смешно было бы тосковать по солнцу; которое, когда оно

безраздельно властвовало, исторгало у пас столько вздохов.

 К этому-то времени и появился Чиполла. Кавальере Чиполла, как он

именовался в афишах, которые в одни прекрасный день запестрели, повсюг ду,

в том числе и в столовой пансиона "Элеонора", - гастролирующий виртуоз,

артист развлекательного жанра, forzatore, illusionisla-и prestidigitatore

[Заклинатель, иллюзионист, фокусник (ит.)] (так он себя представлял),

намеревающийся познакомить высокоуважаемую публику Торре-ди-Вснере с

некоторыми из ряда вон выходящими явлениями таинственного и загадочного

свойства. Фокусник! Объявления оказалось достаточно, чтобы вскружить

голову нашим малышам.

 Они еще никогда не видели ничего подобного, каникулы подарят им

неизведанные ощущения. Сотого времени они донимали нас просьбами взять

билеты на фокусника, и хотя нас сразу смутил поздний час начала

представления - оно было назначено на девять вечера, - мы уступили, решив,

что после некоторого знакомства со скромными, по всей вероятности,

талантами Чиноллы отправимся домой, а дети на следующее утро поспят

подольше, и приобрели у самой синьоры Анджольери, взявшей на комиссию

достаточное количество хороших мест для своих постояльцев, четыре билета.

Поручиться за качество исполнения она не бралась, да мы и не ждали ничего

особенного; но нам самим не мешало немного рассеяться, а кроме того, пас

заразило неотступное любопытство детей.

 В помещении, где кавальере предстояло выступить, в разгар сезона

демонстрировали сменявшиеся каждую неделю кинофильмы. Мы там ни разу не

были. Путь туда лежал мимо "palazzo" - развалин, сохранивших . контуры

средневекового замка и, кстати говоря, продававшихся, - но главной улице,

с аптекой, парикмахерской, лавками, которая как бы вела от мира

феодального через буржуазный к миру труда, так как заканчивалась она среди

убогих рыбацких лачуг, где старухи, сидя у порога"

 чинили сети, и здесь-то, уже в самой гуще народа, находилась "sala", пo

существу, вместительный дощатый сарай; его похожий На ворота вход с двух

сторон украшали красочные плакаты, наклеенные один поверх другого. Итак, в

назначенный день, пообедав и не спеша собравшись, мы отправились туда уже

в полной темноте, дети в праздничном платье, счастливые, что им делается

столько поблажек. Как и все последние дни, выло душно, изредка вспыхивали

зарницы и накрапывал дождь. Мы шли, укрывшись зонтами. Ходу до зала было

всего четверть часа.

 У двери проверили наши билеты, но предоставили нaм самим отыскивать

свои места. Они оказались в третьем ряду слова; усевшись, мы обнаружили,

что с достаточно поздним временем, на которое было- назначено начало

представления, не очень-то считаются: курортная публика лениво, словно

намеренно желая прийти с опозданием, заполняла партер, которым,

Собственно, поскольку лож тут не было, и ограничивался зрительный -зал.

 Такая неторопливость нас несколько встревожила. Ужо сейчас на щечках

детей от ожидания и усталости горел лихорадочный румянец. Лишь отведенные

под стоячие места боковые проходы и конец зала при нашем появлении были

битком набиты. Там стояли, скрестив голые по локоть руки на полосатых

тельняшках, представители мужской половины коренного населения Торре:

рыбаки, задорно озирающиеся молодые парни, и если нас обрадовало

присутствие в зале местного трудового люда, который один только способен

придать подобного рода зрелищам красочность и юмор, то дети были просто в

восторге. У них были друзья среди местных жителей, они заводили знакомства

во время вечерних прогулок на дальние пляжи. Часто, когда солнце, устав от

титанического своего труда, погружалось в море, окрашивая накатывающую

иену прибоя золотистым багрянцем, мы по пути домой встречали артели

босоногих рыбаков; гуськом, упираясь ногами и напруживая руки, они с

протяжными возгласами вытаскивали сети и собирали свой, по большей части

скудный, улов frutti di mare [Плодов моря (ит); здесь имеются в виду

мелкие морские животные: устрицы, крепетки и др.] в мокрые корзины, а наши

малыши глядели на них во все глаза, пускали в ход те несколько итальянских

слов, которые они знали, помогали тянуть сети, завязывали с ними дружбу. И

сейчас дети обменивались приветствиями со зрителями стоячих мест, вон там

стоит Гискардо, вой там Антонио, они знали их по именам и, маша рукой,

вполголоса окликали, получая в ответ кивок или улыбку, обнажавшую ряд

крепких белых зубов.

 Смотри-ка, пришел даже Марио из "Эсквизито", Марио, который подает нам

к столу шоколад! Ему тоже захотелось посмотреть фокусника, и, должно быть,

он пришел снозараиок, он стоит почти спереди, но и виду но подает, что

заметил нас, уж такая, у него манера, даром что только младший официант.

Зато мы машем лодочнику, выдающему напрокат байдарки на пляже, и он там

стоит, но позади, у самой стенки.

 Четверть десятого... почти половина... Вы понимаете наше беспокойство?

Когда же мы уложим детей спать? Конечно, не следовало приводить их сюда,

веди оторвать их от обещанного представления, едва только оно начнется,

будет попросту жестоко. Постепенно партер заполнился; можно сказать, тут

собрался весь Торро; постояльцы "Гранд-отеля", постояльцы виллы "Элернора"

и других пансионов, вес знакомые по пляжу лица.

 Вокруг слышалась английская и немецкая речи Слышался и тот французский,

на котором румыны обычно разговаривают с итальянцами. За нами, через два

ряда, сидела сама мадам Анджольери возле своего тихого и лысого супруга,

поглаживающего себе усы указательным и средним пальцами правей руки. Все

пришли с опозданием, однако же никто не опоздал: Чиполли заставлял себя

ждать.

 Именно заставлял себя ждать, в самом прямом смысле. Оттягивая свой

выход, он намеренно усиливал напряжение. Можно было понять этот его прием,

но всему есть границы. Около половины десятого публика начала хлопать -

вежливая форма выражать законное нетерпение, ибо она заодно выражает

готовность аплодировать. Наши малыши все ладошки себе поотбивали, это

составляло для них уже как бы часть программы. Все дети любят

аплодировать. С боковых проходов н из глубины зала раздавались решительные

возгласы: "Pronti!" [Живее! (ит.)] и "Cominciano!" [Начнем! (ит.)]. И что

же, выходит, начать представление возможно, ничто этому ?ге препятствует.

Прозвучал удар гонга, встреченный со стоячих мест многоголосым "А-а!", и

занавес раздвинулся. Открылся помост, убранством своим скорее напоминавший

классную комнату, нежели арену фокусника; это впечатление создавала черная

аспидная доска, установленная на подставке на авансцене слева.

 Кроме того, мы увидели самую обыкновенную желтую вешалку, два

крестьянских соломенных стула и в глубине круглый столик, на котором стоял

графин с водой и стакан, а на особом подносике графинчик поменьше,

наполненный какой-то светло-желтой жидкостью, и ликерная рюмка.

 Нам были даны две секунды, чтобы хорошенько рассмотреть этот реквизит.

 Затем, при пезатемнснном зрительном зале, кавальере Чиполла появился на

эстраде.

 Он вошел тон стремительной походкой, которая говорит о желании угодить

публике и вызывает обманчивое представление, будто вошедший, торопясь

предстать перед глазами зрителей, проделал тем же шагом немалый путь,

тогда как на самом деле он просто стоял за кулисами. Одеяние Чиполлы

подкрепляло впечатление его прихода прямо с улицы. Неопределенного

возраста, но, во всяком случае, человек далеко не молодой, с резкими

чертами испитого лица, пронзительными глазками, плотно сжатыми тонкими

губами, нафабренными черными усиками и так называемой мушкой в углублении

между нижней губой и подбородком, он нарядился в какую-то замысловатую

верхнюю одежду. На нем был широкий черный плащ без рукавов с бархатным

воротником и подбитой атласом пелериной - фокусник придерживал его спереди

руками в белых перчатках, - на шее белый шарф, а на голове надвинутый5 на

одну бровь изогнутый цилиндр. Вероятно, в Италии, более чем где бы то ни

было, жив еще восемнадцатый век, а с ним и тип шарлатана, ярмарочного

зазывалы - продавца снадобий, который столь характерен для той эпохи и

относительно хорошо сохранившиеся экземпляры которого только в Италии и

можно встретить. В облике Чиполлы было много от этой исторической фигуры,

а впечатление шутовской крикливости и эксцентризма, которые составля. ют

ее неотъемлемую принадлежность, достигалось уже тем, что претенциозная

одежда фокусника очень странно на нем сидела или, вернее, висела, где

прилегая не на месте, где падая неправильными складками: что-то было

неладно с его фигурой, неладно и спереди и сзади - позже это стало еще

заметнее. Но я должен подчеркнуть, что ни о какой шутливости, а тем более

клоунаде, ни в его движениях, ни в мимике, ни в манере держаться не могло

быть и речи: скорее напротив, в них выражались предельная серьезность,

отказ от всякого юмора, порой даже мрачноватая гордость, а также

некоторые, свойственные калекам, важность и самодовольство, - все это,

однако, но препятствовало тому, что поведение его поначалу вызывало в

разных местах зала смех.

 Теперь в его манере держаться уже не было ни малейшей угодливости;

стремительный выход оказался всего лишь выражением внутренней энергии, в

которой подобострастно не играло никакой роли. Стоя у рампы и небрежно

стягивая перчатки с длинных желтоватых пальцев - на одном оказался

перстень с большой выпуклой печаткой из ляпис-лазури, - он маленькими

строгими глазками с припухшими под ними мешочками озирал зал, неторопливо,

то тут, то там испытующе-высокомерно задерживаясь на чьем-нибудь лице - и

все это язвительно сжав губы и не говоря ни слова. Свернутые в клубок

перчатки он с удивительной и, несомненно, привычной ловкостью кинул с

большого расстояния в стоявший на круглом столике стакан, затем, все так

же молча оглядывая зал, достал из какого-то внутреннего кармана пачку

сигарет, судя по обертке самых дешевых, бережно вытащил одну и, не глядя,

прикурил от мгновенно вспыхнувшей зажигалки. Глубоко затянувшись, он с

вызывающей гримасой, широко раздвинув губы и тихонько постукивая носком

башмака об пол, выпустил серую струйку дыма между гнилушек съеденных зубов.

 Публика разглядывала его не менее пристально, чем он ее. У молодых

людей в боковых проходах брови были нахмурены, и придирчиво сверлящий

взгляд только и ждал промаха, который этот самоуверенный фигляр не

преминет допустить. Но промаха не было. Доставание пачки сигарет и

зажигалки и последующее водворение их на место представляло известную

сложность из-за одежды фокусника: ему пришлось откинуть плащ и тут

обнаружилось, что на кожаной петле, накинутой на левую руку, у него

почему-то висит хлыст с серебряной рукояткой в виде когтистой лапы. Затем

обратили внимание на то, что он в сюртуке, а не во фраке, и так как

Чиполла распахнул и сюртук, стала видна повязанная вокруг его торса,

наполовину скрытая жилетом, широкая разноцветная лента, которую зрители,

сидевшие за нами и вполголоса обменивавшиеся впечатлениями, сочли знаком

его кавалерского достоинства. Так ли это, не знаю, поскольку никогда не

слышал, чтобы титулу кавальере соответствовал подобный знак отличия.

Возможно, лента была чистейшим блефом, так же как и безмолвная

неподвижность фигляра, который продолжал на глазах у публики со

значительным и бесстрастным видом курить сигарету.

 Как я уже упоминал, в зале смеялись, а когда голос с партерной

"галерки" вдруг громко и отчетливо-сухо произнес "Buona sera!" [Добрый

вечер! (ит.)], раздался дружный взрыв смеха.

 Чиполла встрепенулся.

 - Кто это? - спросил он, словно кидаясь в атаку. - Кто это сказал?

 Ну-ка? Сначала таким смельчаком, а потом в кусты? Paura eh? [Испугался,

а? (ит.)] - Голос у фокусника был довольно высокий, несколько

астматический, но с металлом. Он ждал.

 - Это я, - произнес в наступившей тишине, усмотрев в словах Чиполлы

вызов и посягательство на свою честь, стоящий неподалеку от нас молодой

человек - красивый малый в ситцевой рубашке, с переброшен ным через плечо

пиджаком. Его черные жесткие и курчавые волосы были по принятой в

"пробудившейся Италии" моде зачесаны кверху и стояли дыбом, что несколько

его безобразило и придавало ему что-то африканское. - Вё...[Ну... (ит.)]

Ну, я сказал. Вообще-то поздороваться следовало бы вам, но я на это не

посмотрел.

 Веселье возобновилось. Парень за словом в карман не лез "На sciolto lo

scilinguagnolo" [Он за словом в карман не лезет (ит.)], - заметил кто-то

рядом с нами. Урок вежливости, если на то пошло, был здесь вполне уместен.

 - Браво! - ответил Чиполла. - Ты мне нравишься, Джованотто. Поверишь

ли, я тебя давно приметил? У меня особая симпатия к таким людям, как ты,

они могут мне пригодиться. Видать, ты молодец что надо.

 Делаешь что хочешь. Или тебе уже случалось не делать того, что хочется?

 Или даже делать то, чего не хочется? То, чего не тебе хочется?

Послушай, дружок, а ведь, должно быть, иногда приятно и весело отказаться

от роли молодца, берущего на себя и одно и другое, и хотение и деланьс.

Ввести наконец какое-то разделение труда - sistema americano, sa?

[Американская система, не так ли? (ит.)] Вот, к примеру, не хочешь ли ты

показать собравшейся здесь высокоуважаемой публике язык, весь язык до

самого корня?

 - Нет, - враждебно отрезал парень, - не хочу. Это доказало бы, что я

дурно воспитан.

 - Ничего не доказало бы, - ответил Чиполла, - потому что ты сделаешь

это помимо твоего хотения. Пусть ты хорошо воспитан, но сейчас, прежде чем

я посчитаю до трех, ты повориешься направо к публике и высунешь язык, да

еще такой длинный, какого ты у себя и не предполагал.

 Чиполла посмотрел на парня, пронзительные глазки его, казалось, еще

глубже ушли в орбиты.

 - Unо! [Раз! (ит.)] - проговорил он и, спустив с локтя петлю хлыста, со

свистом рассек им воздух.

 Парень повернулся к публике и высулул такой напряженный и длинный язык,

что не оставалось сомнений - длиннее этого ему уже не высунуть. Затем с

ничего не выражающим лицом вернулся в прежнее положение.

 - "Это я..." - передразнил Чиполла, подмигивая и кивая на пария. -

"Вё... Ну, я сказал". - После чего, предоставив публике самой разбираться

в своих впечатлениях, подошел к столику, налил себе из графинчика, в

котором, очевидно, был коньяк, полную рюмку и привычным жестом опрокинул в

рот.

 Дети от души смеялись. Они мало что поняли из этой перепалки; но то,

что между чудным человеком там наверху и кем-то из публики сразу

разыгралась такая потешная сцена, их чрезвычайно позабавило, и так как они

не очень представляли себе, в чем должна состоять программа обещанного

афишей вечера, то готовы были считать подобное начало превосходным. Что

касается нас, то мы обменялись взглядом, и, помнится, я невольно тихонько

повторил губами звук, с которым хлыст Чиполлы рассек воздух. Впрочем, было

ясно, что зрители не знали, как отнестись к такому ни с чем не сообразному

началу представления фокусника, и телком не поняли, что же вдруг заставило

Джованотто, который, так сказать, выступал от их лица, обратить свой задор

против них, против публики. Что за мальчишество! И, выбросив его из

головы, зрители сосредоточили все свое внимание на артисте, который тем

временем от столика с подкрепительным вернулся на авансцену и обратился к

ним со следующей речью.

 - Уважаемые дамы и господа, - произнес он своим

астматическиметаллическим голосом. - Вы сейчас видели, что меня несколько

задел за живое урок, который пытался мне преподать этот подающий надежды

молодой языковед ("questo linguista di belle speranze" - каламбур вызвал

смех). Я человек не лишенный самолюбия, и с этим вам придется считаться! Я

не люблю, когда мне без должной серьезности и почтительности желают

доброго вечера - да и поступать иначе нет смысла. Желая мне доброго

вечера, вы тем самым желаете того же и себе, поскольку публика лишь в том

случае хорошо проведет вечер, если он будет хорош у меня, а потому этот

кумир всех девиц Торре-ди-Венерс (он все продолжал язвить парня) прекрасно

поступил, представив наглядное доказательство тому, что вечер сегодня у

меня будет хороший и я, таким образом, могу обойтись без его пожеланий.

Смею похвалиться, почти все вечера у меня бывают хорошие. Случается, что

выпадет и менее удачный, но редко. Профессия у меня тяжелая, и здоровье не

слишком крепкое - небольшой телесный изъян, помешавший мне принять участие

в борьбе за величие нашей родины. Единственно силой разума и духа одолеваю

я жизнь, что опять же прежде всего значит: одолеть себя, и льщусь

надеждой, что работой своей заслужил благосклонное внимание просвещенной

публики. Столичная пресса оценила мою работу, "Corriere della sera"

["Вечерний вестник" (ит.)] воздал, мне должное, назвав феноменом, а в Риме

родной брат дуче оказал мне честь самолично присутствовать на

представлении. И если в столь блестящих и высоких сферах Рима благоволили

закрывать глаза на некоторые мои привычки, я не почел нужным от них

отказываться в сравнительно менее значительном городе, каким все же

является Торре-ди-Венсре (тут публика посмеялась над жалким маленьким

Торре), и терпеть, чтобы личности, хотя бы и избалованные вниманием

прекрасного пола, что-то мне указывали.

 Опять досталось парню, которого Чиполла не переставал выставлять в роли

donnaiuolo [Волокиты (ит.)] и доморощенного донжуана, причем упорное

раздражение и враждебность, с какими фокусник вновь и вновь на него

напускался, никак не вязались с самоуверенностью кавальере и светскими

успехами, которыми он похвалялся. Конечно, парень должен был служить

мишенью для острот Чиполлы, мишенью, которую тот каждое представление

избирал себе из публики и на чей счет прохаживался. Однако в его колкостях

звучало и подлинное озлобление, подоплека которого становилась

почеловечески понятной при одном взгляде на физическое сложение того и

другого, даже если бы горбун постоянно не намекал на верный успех

красивого парня у женщин.

 - Но прежде чем начать представление, - добавил он, - я, с вашего

разрешения; освобожусь от плаща! - И он направился к вешалке.

 - Рarla benissimo [Превосходно говорит (ит.)], - восхитился кто-то по

соседству с нами.

 Артист еще ничем не показал своего искусства, но его умение говорить

само, по себе было признано искусством, он произвел впечатление уже одним

своим красноречием. У южан живая речь составляет одну из неотъемлемых

радостей жизни, и ей уделяют куда больше внимания, нежели где-либо на

севере. Национальное средство общения, родной язык окружен у этих народов

достойным подражания почетом, и есть нечто забавное и неподражаемое в том

придирчиво страстном почтении, с каким следят за соблюдением его форм и

законов произношения. Здесь и говорят с удовольствием и слушают с

удовольствием, но слушают как строгие ценители. Ибо по тому, как человек

говорит, определяют его место в обществе; неряшливая, корявая речь

вызывает презрение, изящная и отточенная - создает престиж, и потому

маленький человек, если ему важно произвести выгодное впечатление,

старается употреблять изысканные обороты и следит за своим произношением.

По крайней мере, с этой стороны Чиполла явно расположил к себе публику,

хотя и не относился к разряду людей, которые итальянцу, с присущим ему

смешением моральных и эстетических мерил, кажутся sympatico [Симпатичными

(ит.)].

 Сняв шелковый цилиндр, шарф и плащ, Чиполла, на ходу одергивая сюртук,

вытягивая манжеты с крупными запонками и поправляя бутафорскую ленту,

возвратился на авансцену. Шевелюра у него была безобразная:

 собственно, почти голый череп, лишь узкая нафабренная полоска волос,

разделенная прямым пробором, тянулась, будто наклеенная, от затылка ко

лбу, а волосы с висков, тоже нафабренные, были начесаны к уголкам глаз -

прическа старомодного директора цирка, смехотворная, но идущая к его

необычному, индивидуальному стилю и носимая с такой самоуверенностью, что,

несмотря на ее комичность, публика в зале хранила сдержанное молчание.

Небольшой телесный изъян, о котором Чиполла намеренно заранее упомянул,

был теперь на виду, хотя по природе своей не совсем ясен: грудная клетка,

как всегда в таких случаях, была смещена кверху, но горб на спине торчал

не на обычном месте, между лопатками, а ниже, над бедрами и поясницей, не

мешая ходьбе, но придавая ей что-то нелепо ка-рикатурное, так как каждый

шаг получался враскачку. Впрочем, поскольку Чиполла предупредил о своем

уродстве, оно никого не поразило, и в зале к нему отнеслись с подобающей

деликатностью.

 - К вашим услугам! - сказал Чиполла. - Если вы не возражаете, мы начнем

нашу программу с кое-каких арифметических упражнений.

 Арифметика? Это, пожалуй, на фокусы не похоже. У меня уже начало

закрадываться подозрение, что Чиполла что-то темнит, но кто он на самом

деле, было еще неясно. Мне стало жаль детей; но пока что они были

счастливы просто оттого, что сидят здесь.

 Номер с числами, который Чиполла продемонстрировал, был столь же прост,

сколь ошеломляюще эффектен по концовке. Чиполла начал с того, что

прикрепил кнопками лист бумаги в правом верхнем углу доски и, приподняв

лист, написал что-то мелом на доске. При этом он без умолку болтал,

стремясь, очевидно, беспрерывным словесным сопровождением оживить помер,

чтобы он не показался суховатым; по существу, фокусник одновременно

выступал и в роли собственного конферансье, очень бойкого на язык и

находчивого. Он все время старался уничтожить пропасть, существующую между

эстрадой и зрительным залом, пропасть, через которую он уже перебросил

мостки своей перепалкой с молодым рыбаком и с этой целью то приглашал на

сцену кого-нибудь из публики, то сам по деревянной лесенке спускался вниз

в партер, чтобы вступить в личное общение со зрителями. Все это составляло

стиль его работы и очень нравилось детям. Не знаю, в какой море входило в

намерения и систему Чиполлы то, что он тут же, сохраняя, впрочем, полную

серьезность и даже мрачность, пускался в пререкания с отдельными лицами -

публика, во всяком случае публика попроще, видимо, считала это в порядке

вещей.

 Кончив писать и прикрыв написанное листом бумаги, он попросил двух

человек подняться на эстраду, чтобы ассистировать при предстоящем

подсчете: ничего трудного тут нет, даже тот, кто-но очень силен в

арифметике, вполне справится. Как обычно бывает, желающих но нашлось, а

Чиполла не хотел утруждать привилегированную публику. Он держался народа и

обратился к двум здоровенным дубоватым парням на стоячих местах в глубине

зала, подбадривал их, стыдил, что они праздно стоят и глазеют, не желая

сделать одолжение собравшимся, и в конце концов уговорил. Неуклюже шагая,

парни двинулись вперед ио проходу, поднялись по ступенькам и, смущенно

ухмыляясь, под крики "браво" своих приятелей встали возле доски. Чиполла

еще несколько секунд подшучивал над ними, восхваляя геркулесову мощь их

конечностей, их огромные ручищи, прямо-таки созданные для того, чтобы

оказать подобную услугу присутствующим, после чего сунул одному в руку

грифель и велел простонапросто записывать цифры, которые ему будут

называть. Но парень заявил, что не умеет писать. "Non so scrivere", -

пробасил он, а товарищ его добавил: "И я тоже".

 Бог ведает, говорили они правду или просто решили посмеяться над

Чиполлой. Во всяком случае, тот вовсе но склонен был разделять общей

веселости, с какой встречено было это признанно. На лицо его выражались

обида и отвращение. Чиполла сидел в эту минуту на соломенном стуле посреди

сцены и, положив ногу на ногу, снова курил дешевую сигарету, которая ему,

видно, особенно пришлась по вкусу, - пока оба увальня шли к эстраде, он

успел пропустить вторую рюмочку коньяку. И снова, поело глубокой затяжки,

он струйкой выпустил дым через оскаленные зубы и, покачивая ногой,

устремил исполненный сурового порицания взгляд-поверх обоих беспечных

негодников и поверх публики куда-то в пространство, как человек,

столкнувшийся с чем-то настолько возмутительным, что он вынужден

замкнуться в себе, в чувстве собственного достоинства.

 - Позор, - произнес он наконец холодно и зло. - Ступайте в зал!

 В Италии все умоют писать, ос величие не оставляет места мраку и

невежеству. Глупая шутка делать вслух такие заявления перед лицом

собравшегося здесь иностранного общества, вы унижаете этим не только самих

себя, но и правительство, даете повод злословить о нашей стране. Если

Торре-диВенере действительно такой глухой угол нашего отечества, последний

приют неграмотности, мне остается только пожалеть о своем приезде в этот

город, о котором мне, правда, было известно, что он кос в чем уступает

Риму...

 Но здесь его прервал юноша с нубийской прической и переброшенным через

плечо пиджаком, чей воинственный пыл, как выяснилось, угас лишь на время и

который теперь с высоко поднятой головой рыцарски встал на защиту родного

городка.

 - Хватит! - громко сказал он. - Хватит шуток над Торрс. Мы все родились

здесь и по потерпим, чтобы над нашим городом издевались в присутствии

иностранцев. Да и эти двое - наши приятели. Они, конечно, не ученые

профессора, но зато честные ребята, почестнее кое-кого здесь в зале,

хвастающего Римом, хоть он его и но основал.

 Вот это отповедь! Парень и вправду оказался зубастым. Публика не

скучала, наблюдая за этой сценкой, хотя начало программы все оттягивалось.

Спор всегда захватывает. Одних пререкания просто забавляют, и они но без

злорадства наслаждаются тем, что сами остались в стороне; другие принимают

все близко к сердцу и волнуются, и я их очень хорошо понимаю, хотя тогда у

меня создалось впечатление, что тут какой-то сговор, и оба неграмотных

увальня, так же как Джованотто со своим пиджаком, отчасти подыгрывают

артисту, чтобы развеселить публику. Дети слушали развесив уши. Они ничего

не понимали, но интонация До них доходила и держала их в напряжении. Так

вот что такое фокусник, по крайней мере итальянский. Они были в полном

восторге.

 Чиполла встал и, раскачиваясь, сделал два шага к рампе.

 - Смотри-ка! - произнес он с ядовитой сердечностью. - Старый знакомый.

Юноша, у которого что на уме, то и на языке! (Он сказал "sulla

linguaccia", что означает "обложенный язык" и вызвало взрыв смеха.)

 Ступайте друзья! - повернулся ои к двум остолопам. - Я на вас

нагляделся, сейчас у меня дело к этому поборнику чести, con qnesto

torregiano di Vcnere, этому стражу башни Венеры, несомненно предвкушающему

сладостную награду за свою преданность.

 - Ah, nоn scherziamo! Поговорим серьезно! - воскликнул парень, глаза

его сверкнули, и ои даже сделал такое движение, словно хотел сбросить

пиджак и от слов перейти к делу.

 Чииолла отнесся к этому довольно спокойно. В отличие от нас,

обменявшихся тревожным взглядом, кавальере имел дело с соотечественником,

чувствовал под ногами родную почву. Он остался холоден, выказав полное

свое превосходство. Насмешливым кивком в сторону молодого петушка,

сопровождаемым красноречивым взглядом, он призвал публику посмеяться

вместе с ним- над драчливостью своего противника, свидетельствующей о его

простодушной ограниченности. И тут опять произошло нечто поразительное,

осветившее это превосходство жутковатым светом и самым постыдным и

непонятным образом-обратившее воинственное напряжение всей сцены во что-то

смехотворное [Ах, довольно шутить! (uт.)].

 Чниолла еще ближе подошел к парию и как-то по-особенному носмот рел ему

в глаза. Фокусник даже наполовину сошел с лесенки, которая слева от нас

вела в зал, так что стоял лишь чуть повыше и почти вплотную перед воякой.

Хлыст висел у него на руке.

 - Итак, ты не расположен шутить, сынок, - сказал он. - Да это и

понятно, водь каждому видно, что ты нездоров. И давеча язык у тебя,- прямо

скажем, по очень-то чистый, - указывал на острое расстройство желудка. Не

следует ходить на представления, когда себя так плохо чувствуешь; ты и

сам, я знаю, колебался, думал, не лучше ли лечь в постель и сделать себе

согревающий компресс на живот. Непростительное легкомыслие было нить после

обеда столько белого вина - добро бы хорошего, а то такую кислятину. И вот

теперь у тебя колики, и ты готов корчиться от боли. А ты не стесняйся! Дай

волю своему телу, согнись, это всегда приносит облегчение при кишечных

спазмах.

 Пока Чииолла дословно произносил эту речь со спокойной настойчивостью и

своего рода суровым участием, глаза его, впившиеся в глаза молодого парня,

словно бы сделались сухими и горячими поверх слезных мешочков, - то были

совссм цеобычные глаза, и становилось понятно, что его противник не только

из мужского самолюбия не мог отвеети от ни:х взгляд. Да и вообще на

смуглом лице Джованотто скоро по осталось и следа прежней самонадеянности.

Он смотрел на кавальере, приоткрыв рот, и рот этот кривился в смущенной и

жалкой улыбке.

 - Дай себе волю, согнись! - вновь повторил Чнполла. - Ничего другого

тебе не остается! При таких резях всегда корчатся. Не станешь,же ты

противиться естественному движению только потому, что тебе это советуют.

 Парень медленно поднял руки и еще до того, как крест-накреет обхватил

ими живот, стал сгибаться, поворачивая корпус и наклоняясь вперед все ниже

и ниже, пока наконец, со сдвинутыми коленями, расставив пятки, почти что

не сел на корточки, живая картина скрючивающей боли, Чиполла дал ему

постоять в этой позе несколько секунд, йотом щелкнул в воздухе хлыстом и

враскачку направился к круглому столику, где опять выпил коньяку, Il boit

beaucoup [Он много пьет (фр.)], - заметила сидящая за нами дама. Неужели

это было единственное, что ее поразило? Нам вес еще было неясно, насколько

публика разобралась в происходящем. Парень ужо выпрямился и стоял,

смущенно улыбаясь, словно толком не знал, что с ним случилось. Все

наблюдали эту, сцену с живейшим интересом и теперь зааплодировали, крича

то "Браво, Чииолла!", то "Браво, Джованотто!". По-видимому, зрители на

восприняли исход спора как личное поражение парня и подбадривали его,

словно актера, превосходно исполнившего доставшуюся "ему роль смешного и

жалкого персонажа. И в самом деле, он очень убедительпо и даже слишком

натурально, будто в расчете на галерку, корчился в коликах, выказав, тан

сказать, настоящее актерское дарование. Впрочем, я но уверен, чему следует

приписать отношение зала - только лп чувству такта, в котором южане

неизмеримо нас превосходят, пли же подлинному проникновению в суть дела.

 Подкрепившись, кавальере закурил новую, сигарету. Можно было опять

приступить к арифметическому опыту. В заднем ряду без труда нашелся

молодой человек, изъявивший желание записывать цифры, которые ему будут

диктовать. Его мы тоже знали; здесь столько было знакомых лиц, что

представление становилось каким-то даже домашним. Молодой человек служил,

в лавке, торгующей фруктами и колониальными товарами на главной улице, и

неоднократно нас обслуживал, очень вежливо, и внимательно. Пока ои с

расторопностью приказчика орудовал мелком, Чниолла, спустившись к нам в

партер, прохаживался раскорякой среди публики и, обращаясь то к одному, то

к другому, просил назвать ему, по своему, желанию, двух-, трех- или

четырехзначную цифру, которую, едва она-слетала с губ опрошенного,

повторял молодому бакалейщику, а тот записывал на доске столбиком. Все это

с обоюдного согласия было рассчитано на развлекательность, шутку,

ораторские отступления. Конечно, случалось, что артист натыкался на

иностранцев, которые, не могли сладить с цифрами на чужом языке; с ними

Чиполла долго, с подчеркнутой рыцарской галантностью, бился под сдержанные

смешки местных жителей, которых он, в свою очередь, приводил в

замешательство, заставляя переводить ему цифры, сказанные по-английски или

французски. Некоторые называли цифры, указывающие на великие даты

итальянской истории. Чиполла сразу же это улавливал и пользовался случаем,

чтобы мимоходом пристегнуть какоенибудь патриотическое рассуждение. Кто-то

сказал "Ноль!", и кавальере, как всегда глубоко обиженный попыткой

подшутить над ним, бросил через плечо, что это не двузначное число, на что

другой остряк выкрикнул: "Два нуля!", вызвав всеобщее веселье, которое

всегда вызывает у южан любой намек на естественную нужду. Один только

кавальере держался высокомерно-осуждающе, хотя сам же и спровоцировал

двусмысленность; однако, пожав плечами, он велел бакалейщику внести и эту

цифру.

 Когда на доске набралось около пятнадцати разнозначных чисел, Чиполла

попросил зрителей произвести сложение. Искушенные в математических

вычислениях пусть подсчитывают в yме прямо с доски, но никому не

возбранялось пользоваться карандашом и записной книжкой. Пока все

трудились, Чиполла сидел возле доски и, гримасничая, курил с присущей

калекам самодовольно-заносчивой миной. Быстро подвели общий итог -

пятизначное число. Кто-то назвал сумму, другой подтвердил, у третьего

результат но совсем совпадал, у четвертого сходился. Чиполла встал,

стряхнул пепел с сюртука, приподнял лист бумаги в правом верхнем углу

доски, открыв то, что было им написано. Там стояла эта же сумма, что-то

около миллиона. Он написал ее заранее.

 Всеобщее изумление и гром аплодисментов. Дети даже рты разинули.

 Как это он ухитрился, приставали они к нам. Не так легко объяснить этот

трюк, отвечали мы, на то Чиполла и фокусник. Теперь они знали, что такое

представление фокусника. Ну просто здорово: как у рыбака вдруг разболелся

живот, а теперь заранее готовый итог на доске, - и мы уже с тревогой

предвидели, что, несмотря на воспаленные глаза и позднее время, почти

половину одиннадцатого, будет очень нелегко увести их отсюда. Без слез тут

не обойдется. А между тем совершенно очевидно, что горбун не прибегает к

каким-либо манипуляциям -- в смысле ловкости рук, и все это совсем не для

детей. Не знаю, что обо всем этом думала публика, но с выбором слагаемых

"по своему желанию" дело было явно не чисто; конечно, но исключено, что

тот или другой из опрошенных отвечал по своему выбору, но одно несомненно:

Чиполла отбирал себе людей, и весь ход опыта, нацеленный на получение

предрешенного итога, был подчинен его воле; однако же нельзя было не

восхищаться его математическими способностями, хотя все остальное

почему-то не вызывало восхищения. Вдобавок его ура-патриотизм и непомерное

самомнение - соотечественники кавальере, может, и чувствовали себя в своей

стихии и способны были еще шутить, но на человека со стороны все, вместе

взятое, действовало удручающе.

 Впрочем, Чиполла сам способствовал тому, чтобы у людей скольконибудь

сведущих не оставалось сомнений относительно природы его искусства, хотя

ни разу, конечно, не обронил ни одного термина и ничего своим именем не

назвал. Однако же он говорил об этом - он все время говорил, - но в

туманных, самонадеянных, выпячивающих его исключительность выражениях. Еще

какое-то время он продолжал те же опыты, сначала усложняя получение итога

привлечением других арифметических действий, а затем до крайности все

упростил, чтобы показать, как это делается. Заставлял просто "угадывать"

числа, которые перед тем записывал под листом бумаги на доске. Кто-то

признался, что сперва хотел назвать другую цифру, но именно в этот миг

перед ним просвистел в воздухе хлыст кавальере, и у него слетела с губ та

самая, что оказалась написанной на доске. Чиполла беззвучно засмеялся

одними плечами. Всякий раз он притворялся изумленным проницательностью

опрошенного; но в комплиментах его сквозило что-то ироническое и

оскорбительное, не думаю, чтобы они доставляли удовольствие испытуемым,

хотя те и улыбались и не прочь были в какой-то мере приписать овации себе.

Мне представляется также, что артист не пользовался расположением публики.

В ее отношении к нему скорее ощущались скрытая неприязнь и непокорство;

но, не говоря уже о простой учтивасти, сдерживающей проявление подобных

чувств, мастерство Чиполлы, его безграничная самоуверенность не могли не

импонировать, и даже хлыст, по-моему, способствовал тому, чтобы бунт не

прорвался наружу.

 От опытов с цифрами Чиполла перешел к картам. Он извлек из кармана две

колоды, и, помнится, суть эксперимента заключалась в том, что, взявши из

одной колоды, не гл-ядя, три карты и спрятав их во внутренний .карман

сюртука, Чиполла протягивал вторую кому-нибудь из зрителей с тем, чтобы

тот вытащил именно эти же три карты, причем фокус не всегда полностью

удавался; иногда только две карты сходились, но в большинстве случаев,

раскрыв свои три карты, Чиполла торжествовал и легким поклоном благодарил

публику за аплодисменты, которыми та, хотела она или нет, признавала его

могущество. Молодой человек в переднем ряду справа от нас, итальянец с

гордым точеным лицом, поднял руку и заявил, что решил выбирать

исключительно по своей воле и сознательно противиться любому постороннему

влиянию. Каков в таком случае будет исход опыта, по мнению Чиполлы?

 - Вы лишь несколько утяжелите мне задачу, - ответил кавальере. - Но,

как бы вы ни сопротивлялись, результат будет тот же. Существует свобода,

существует и воля; но свободы воли не существует, ибо воля, стремящаяся

только к своей свободе, проваливается в пустоту. Вы вольны тянуть или не

тянуть карты из колоды. Но если вытянете, то вытянете правильно, и тем

вернее, чем больше будете упорствовать.

 Нужно признать, что он не мог ничего лучше придумать, чтобы напустить

туману и посеять смятение в душе молодого человека. Упрямец в

нерешительности медлил протянуть руку к колоде. Вытащив одну карту, он тут

же потребовал, чтобы ему для проверки предъявили спрятанные.

 - Но зачем? - удивился Чиполла. - Не лучше ли уж все зараз?

 Но так как строптивый молодой человек продолжал настаивать на такой

предварительной пробе, фигляр, с неожиданной для него лакейской ужимкой,

произнес "Е servito!" [К вашим услугам! (ит.)] - и, не глядя, веером

раскрыл свои три карты. Крайняя слева была той самой, что вытянул молодой

человек.

 Борец за свободу воли сердито уселся на место под аплодисменты

зрителей. В какой мере Чиполла в помощь своему природному дару прибегал ко

всяким механическим трюкам и ловкости рук - черт его знает. Но даже если

предположить подобный сплав, все, кто с жадным любопытством следили за

необыкновенным представлением, искренне наслаждались и признавали

неоспоримое, мастерство артиста. "Lavora bone!" [Чистая работа! (ит.)] -

слышалось то тут, то там в непосредственной близости от нас, а это

означало победу объективной справедливости над личной антипатией и

молчаливым возмущением.

 Вслед за последним, пусть частичным, но зато особенно впечатляющим

успехом Чиполла первым делом снова подкрепился коньяком. Он и в самом дело

"много пил", и смотреть на это было не очень приятно. Видимо, он нуждался

в спиртном и табако для поддержания и восстановления.своих жизненных сил,

к которым, как он сам намекнул, во многих отношениях предъявлялись большие

требования. Временами он действительно выглядол из рук вон плохо -

ввалившиеся глаза, всунувшееся лицо. А рюмочка вновь приводила все в

норму, и речь у него после того опять текла, вперемешку с серыми струйками

выдыхаемого дыма, живо и плавно.

 Я хорошо помню, что от карточных фокусов он перешел к том салонным

играм, которые основываются на сверх или подсознательных свойствах

человеческой природы - на интуиции и "магнетическом" внушении, - словом,

на цизшей форме ясновидения. Только внутреннюю связь и последовательность

номеров я не запомнил. Да и не стану докучать вам описанием этих опытов,

они известны всем: все хоть однажды участвовали в них в розысках

какого-нибудь спрятанного предмета, послушном выполнении каких-либо

наперед задуманных действий, импульс к которым необъяснимым путем

передается от организма к организму. И каждый при этом, покачивая головой,

бросал любопытно-брезгливые взгляды в.двусмысленно-нечистоплотные и темные

дебри оккультизма, который, по человеческой слабости его адептов,

постоянно тяготеет к тому, чтобы, дурача людей, смешиваться с

мистификацией и плутовством, однако подобная примесь отнюдь но опровергает

подлинность других составных частей этой сомнительной амальгамы. Я хочу

лишь отметить, что воздействие естественно возрастает и впечатления

становятся глубже, когда такой вот Чинолла выступает в качестве режиссера

и главного, действующего лица этой тем ной игры. Он сидел спиной к публике

в глубине эстрады и курил, пока гдето в зале втихомолку договаривались,

придумывая ему задачу, и из рук в руки передавался предмет, который ему

надо будет найти и с ним что-то проделать. Потом, держась за руку

посвященного в задачу поводыря из публики, которому велено было идти чуть

позади.и лишь мысленно сосредоточиться на задуманном, Чиполла, откинув

назад голову и вытянув вперед руку, зигзагом двигался но залу, совершенно

так же, как двигаются в таких опытах все то порываясь вперед, будто его

что-то подталкивало, то неуверенно, ощупью, словно прислушиваясь, то

становясь в тупик и внезапно, по наитию, поворачивая. Казалось, роли

переменились, флюид шел в обратном направлении, и не перестававший

разглагольствовать артист прямо на это указывал. Теперь пассивной,

воспринимающей, повинующейся стороной является он, собственная его воля

выключена, он лишь, выполняет безмолвную, разлитую в воздухе общую волю

собравшихся, тогда как до сих пар лишь он один хотел и повелевал; но

Чииояла подчеркивал, что это, по существу, одно и то же. Способность

отрешиться от своего "я", стать простым орудием, уверял он, - лишь

оборотная сторона способности хотеть и повелевать; это одна и та же

способность, властвовав ние и подчинение в совокупности представляют один

принцип, одно нерасторжимое единство; кто умеет повиноваться, тот умеет и

повелеватьи наоборот, одно понятие уже заключено в другом, неразрывно с

ним связан но, как неразрывно связаны вождь и народ, но зато напряжение,

непомерное, изнуряющее напряжение целиком падает на его долю, руководителя

и исполнителя в одном лице, в котором воля становится послушанием, а

послушание - волей, он порождает и то и другое, и потому ему приходится

особенно тяжело. Артист не раз усиленно подчеркивал, что ему чрезвычайно

тяжело, вероятно, чтобы объяснить свою потребность в подкреплении и частые

обращения к рюмочке.

 Чиполла двигался ощупью, как в трансе, направляемый и влекомый общей

тайной волей всего зала. Он вытащил украшенную камнями булавку из туфли

англичанки, куда ее спрятали, и понес, то неуверенно замедляя шаг, то

порываясь вперед, другой даме - синьоре Анджольери, - встал на "олени и

подал ей с условленными словами; они, правда, подходили к случаю, но

угадать их было совсем по просто фразу составили по-французски. "Примите

этот дар в знак моего поклонения!" - надлежало ему сказать, и нам

казалось, что в трудности задачи крылась известная злонамеренность и

отразился разлад между одолевавшей публику жаждой чудесного и желанием,

чтобы высокомерный Чиполла потерпел поражение. Очень любопытно было

наблюдать, как он, стоя на коленях перед мадам Анджольери, пробовал и так

и-этак, доискиваясь нужной ему фразы.

 - Я должен что-то сказать, проговорил он, - и ясно чувствую, что именно

следует сказать. И в то же время чувствую, что произнести это будит

ошибкой. Нет, прошу, ни в коем случае не подсказывайте! Не помогайте мне

ни одним жестом! воскликнул он, хотя... а может, как раз потому, что

именно на это и надеялся. - Pensez tres fort! [Усиленно думайте! (фр.)] -

вдруг выкрикнул он на скверном французском и тут выпалил нужную фразу,

правда по-итальянски, по так, что последнее и главное слово внезапно

вырвалось у него нa, видимо, вовсе ему незнакомом, но родственном языке -

он произнес вместо "venerazione" "veneration"[Поклонение (ит. и фр.)] с

ужасным носовым звуком в конце слова - частичный успех, который, после

всего ужо Исполненного - нахождения булавки, выбора той, кому следовало ее

вручить, коленопреклонения, - произвел, пожалуй, даже больший эффект, чем

произвела, бы полная победа, и вызвал бурю восхищения.

 Вставая с колен, Чиполла отер выступившую на лбу испарину. Вы

понимаете, что, рассказывая про булавку, я лишь привожу особенно мне

запомнившийся образец его работы. Но Чиполла постоянно разнообразил эту

основную форму и к тому же переплетал свои опыты с подобного же роди

импровизациями, отнимавшими много времени, на которые его на каждом шагу

наталкивало общение с публикой. Больше других, казалось, вдохновляла его

наша хозяйка; она вызывала его на ошеломляющие откровения.

 От меня не укрылось, синьора, обратился он к ней, что в вашей жизни

были необыкновенные, блистательные страницы. Кто умеет видеть, различит

над вашим прелестным челом сияние, которое, если я не ошибаюсь, некогда

было ярче, чем ныне, - медленно угасающее сияние... Ни слова! Не

подсказывайте мне! Рядом с вами сидит ваш супруг, не так ли? - повернулся

он к тихому господину Анджольери. - Ведь вы супруг этой дамы, и брак ваш

счастлив. Но в счастье это вторгаются воспоминания... царственные

воспоминания... Прошлое, синьора, кажется мне, играет в вашей теперешней

жизни огромную роль. Вы знали короля...

 скажите, ведь в минувшие дни на вашем жизненном пути вам встретился

король?

 - Не совсем, - чуть слышно пролепетала наша миловидная хозяйка,

оделявшая нас бульонами и супами, и се золотисто-карие глаза вспыхнули на

аристократически бледном лице.

 - Не совсем? Нет, конечно же, не король, я говорил лишь примерно, в

самых грубых, общих чертах. Не король и не князь - и тем не менее князь и

король в другом, высшем, царстве прекрасного. То был великий артист, возле

которого... Вы порываетесь мне возразить и все же не решаетесь или можете

возразить лишь наполовину. Так вот! Великая, прославленная во всем мире

артистка одарила вас своей дружбой в вашей юности, и это ее священная

память осеняет и озаряет всю вашу жизнь... Имя? Нужно ли называть имя той,

слава которой давно слилась со славой нашей родины и обрела бессмертие?

Элеонора Дузе, - торжественно заключил он, понизив голос.

 Маленькая женщина, сраженная его словами, лишь наклонила голову.

 Нестихающие аплодисменты едва не перешли в патриотическую овацию.

 Почти все в зале, и в первую голову присутствующие здесь постояльцы

casa "Eleonora" [Виллы "Элеонора" (ит.)] знали о необыкновенном прошлом

госпожи Анджольери и потому способны были оценить по достоинству интуицию

кавальере.

 Вставал только вопрос, что успел разузнать сам Чиполла, когда по

приезде в Торре стал наводить необходимые в его профессии справки...

Впрочем, у меня нет никаких оснований подвергать рационалистическим

сомнениям способности, которые на наших глазах оказались для него столь

роковыми...

 Объявили антракт, и наш повелитель удалился за кулисы. Признаюсь, еще

только-приступая к рассказу, я опасался этого момента в своем

повествовании. Читать мысли чаще всего не так уж сложно, а здесь и вовсе

легко. Вы, разумеется, меня спросите, почему же мы наконец не ушли - и я

не сумею вам ответить. Я сам не понимаю, я попросту не знаю, как это

объяснить. Наверное, было уже начало двенадцатого, скорее всего, даже

позже. Дети спали. Последняя серия опытов наскучила им, и природа наконец

взяла свое. Девочка прикорнула у меня на коленях, мальчик - у матери. С

одной стороны, это было утешительно, но с другой - вызывало жалость и

напоминало нам, что им давно пора в постель. Клянусь, мы хотели внять

этому трогательному напоминанию, искренне хотели. Мы разбудили бедняжек,

говоря, что теперь и вправду надо отправляться домой. Но едва они

по-настоящему очнулись, как начались неотступные мольбы, а вы сами знаете,

убедить детей по доброй воле уйти до конца представления немыслимо, их

можно разве только заставить. До чего же тут замечательно, канючили они, и

ведь никто не знает, что будет дальше, надо хотя бы подождать и

посмотреть, с чего фокусник начнет после антракта, да они и капельку уже

поспали, только не домой, только не в постель, пока идет чудесное

представление!

 Мы уступили, положив про себя побыть еще совсем недолго, какиенибудь

несколько минут. Конечно, непростительно, что мы остались, и уж тем более

- необъяснимо. Может, мы решили, что, сказав "а" и совершив ошибку,

приведя сюда детей, должны сказать и "б"? Но такое объяснение, на мой

взгляд, недостаточно. Или представление нас самих уж очень увлекло? И да и

нет: чувства, которые вызывал в нас синьор Чиполла, были весьма

противоречивы, но таковы же были, если не ошибаюсь, чувства всего зала,

однако ведь никто не ушел. Или мы поддались чарам этого человека, столь

странным способом зарабатывающего свой хлеб, чарам, которые исходили от

него даже помимо всякой программы, даже между номерами, и парализовали

нашу решимость? Но с таким же правом можно сказать, что нами владело

простое любопытство. Хотелось узнать, чем продолжится так необычно

начавшийся вечер, а кроме того, Чиполла, уходя за кулисы, дал понять, что

репертуар его отнюдь не исчерпан и у него припасены для нас еще и не такие

сюрпризы.

 Но дело не в том или не только в том. Вернее всего было бы объединить

вопрос, почему мы тогда не ушли, с другим вопросом - почему мы раньше не

уехали из Торре. По-моему, это один и тот же вопрос, и, чтобы как-то выйти

из затруднения, я мог бы напомнить, что уже раз на него ответил.

 Все, что здесь происходило, было так же необычно и захватывающе, оно

так же тревожило, оскорбляло и угнетало, как и все остальное в Торре; нет,

более того: зал этот словно бы явился средоточием всего необычного,

жутковатого, взвинченного, чем была, как нам казалось, заряжена атмосфера

курорта, и человек, возвращения которого мы ждали, представлялся нам

олицетворением всего этого зла, а поскольку мы не уехали вообще, было бы

нелогично уйти теперь. Вот объяснение тому, что мы остались, ваше дело

принять его или нет. А лучше я все равно не могу представить.

 Итак, на десять минут был объявлен антракт, который растянулся на целых

двадцать. Дети, стряхнув с себя сон и в восторге от нашей уступчивости,

весь антракт развлекались. Они опять стали переговариваться со зрителями

стоячих мест, с Антонио, с Гискардо, с лодочником. Складывая ладошки

рупором, они кричали рыбакам добрые пожелания, которые переняли у нас:

 - Побольше бы вам завтра рыбки!

 - Полные-преполные сети!

 Марно, младшему официанту из "Эсквизито", они крикнули:

 - Mario, una cioccolata e biscotti! [Марио, один шоколад с бисквитами!

(ит.)] На этот раз он обратил внимание и с улыбкой ответил:

 - Subito! [Сию минуту! (ит.)] Впоследствии мы не без причины вспоминали

эту приветливую, чуть рассеянно-меланхолическую улыбку.

 Так прошел антракт, прозвучал удар гонга, зрители, болтавшие в разных

концах зала, вновь заняли свои места, дети в жадном нетерпении, поерзав,

уселись поудобнее, сложив руки на коленях. Эстрада в перерыве оставалась

открытой. Чнполла вышел своей походкой враскачку.и тотчас на правах

конферансье принялся знакомить публику со второй серией своих опытов.

 Короче говоря, чтобы у вас тут не оставалось неясности, этот

самонадеянный горбун был сильнейшим гипнотизером, какого я когда-либо

встречал в жизни. Если на афишах он выдавал себя за фокусника и морочил

публике голову относительно истинной природы своих представлений, то,

видимо, исключительно для того, чтобы обойти закон и полицейские

постановления, строго запрещающие заниматься гипнозом в качестве промысла.

 Возможно, такая чисто формальная маскировка в Италии принята, и власти

либо мирятся с ней, либо смотрят на это сквозь пальцы. Во всяком случае,

Чиполла фактически с самого начала не очень-то скрывал подлинный характер

своих номеров, а второе отделение программы было уже совершенно открыто и

полностью посвящено специальным опытам, демонстрации гипнотического сна и

внушения, хотя и тут он в своем конферансе ничего не называл настоящим

именем. В нескончаемой череде комических, волнующих, ошеломляющих опытов,

которые еще в полночь были в самом разгаре, перед нашими глазами прошел

весь арсенал чудес - от самых незначительных до самых страшных, - коими

располагает эта естественная и загадочная сила, и зрители, хохоча,

покачивая головой, хлопая себя по коленям и аплодируя, встречали каждую

забавную подробность, они явно подпали под власть беспредельно уверенной в

себе личности гипнотизера, хотя, как мне кажется, их и коробило и

возмущало то унизительное, что для всех и каждого заключалось в его

триумфах.

 Две вещи играли главную роль в этих триумфах: рюмка коньяка и хлыст с

рукояткой в виде когтистой лапы. Первое должно, было вновь и вновь

разжигать его демоническую силу, которая иначе, видимо, грозила иссякнуть;

и это могло бы возбудить к нему какое-то человеческое сочувствие, если, бы

но второе - оскорбительный символ его господства, свистящий в воздухе

хлыст, с помощью которого он высокомерно подчинял нас себе, что исключало

всякие другие, более теплые чувства, помимо изумленной и негодующей

покорности. Но, быть может, именно участия-то ему.

 и недоставало? Неужели он претендовал еще и на это? Неужели хотел

завладеть всем? Мне запомнилось одно его замечание, которое указывало на

такую претензию с его стороны. Оно вырвалось у него в самый напряженный

момент его экспериментов, когда, доведя посредством пассов и дуновений до

полного каталептического состояния молодого человека, который сам

предложил свои услуги и оказался необычайно восприимчивым объектом для

внушения, он но только уложил погруженного в глубокий сон юношу затылком и

йогами на спинку двух стульев, нo и сам на него уселся, и одеревеневшее

тело даже но прогнулось. Вид этого чудовища в вечернем костюме,

взгромоздившегося на оцепеневшее- тело" был настолько фантасмагоричен и

омерзителен, что публика, в представлении, будто жертва этого научного

развлечения мучается, принялась ее жалеть. "Poveretto!", "Бедняга!" -

раздавались простодушные голоса.

 - Poveretto! - злобно передразнил Чиполла. - Вы ошиблись адресом,

господа! Sono io il poveretto! [Это я бедняга! (ит.)] Это я терплю все

муки.

 Зрители молча проглотили его замечание. Ладно, пусть на Чиполлу

ложилось все бремя представления, пусть даже он мысленно принял на себя

рези в желудке, от которых так жалостно корчился Джованотто, но с виду все

было как раз наоборот, и кто же станет кричать "poveretto!"

 человеку, который мучается ради того, чтобы унизить другого.

 Но я забежал вперед и нарушил всякую последовательность. Голова у меня

и по сей день полна деяниями этого страстотерпца, только не помню уж, в

каком они шли порядке, да это и не важно. Но одно я помню хорошо:

 большие и сложные опыты, имевшие наибольший успех, производили на меня

куда меньшее впечатление, чем некоторые пустяковые и как бы сделанные

мимоходом. Эксперимент с молоДым человеком, послужившим гипнотизеру

скамейкой, пришел мне на ум лишь из-за связанной с ним нотации... Уснувшая

на соломенном стуле пожилая дама, которой Чиполла внушил, будто она

совершает поездку по Индии, и которая в состоянии транса очень бойко

рассказывала о своих дорожных впечатлениях на суше и на подо, меня меньше

заинтриговала и не так поразила, как маленький проходной эпизод,

последовавший сразу же за антрактом: высокий плотный мужчина, по виду

военный, не смог поднять руку лишь потому, что горбун сказал, будто он ее

не подымет, и щелкнул в воздухе хлыстом. Я, как сейчас, вижу перед собой

лицо этого усатого, подтянутого colonello [Полковника (ит.)] и

насильственную улыбку, с которой он, сжав зубы, сражался за отнятую у него

свободу распоряжаться собой. Какой конфуз! Он хотел и не мог; но, видимо,

он мог только не хотеть, тут действовала парализующая свободу внутренняя

коллизия воли, которую злорадно предрек молодому римлянину наш укротитель.

 Незабываема также, во всей се трогательности и призрачной комичности,

сцена с госпожой Анджольери, чью эфирную беззащитность перед его

могуществом кавальере, конечно, не преминул заметить еще при первом своем

беззастенчиво-наглом осмотре публики в зале. Он чистейшим колдовством

буквально поднял ее со стула и увлек за собой вон из ее ряда, да еще,

решив блеснуть, внушил господину Лнджольери мысль окликнуть жену по имени,

словно затем, чтобы тот бросил на чашу весов и себя, и свои права и

супружеским зовом пробудил в душе своей спутницы чувства, способные

защитить ее добродетель от злых чар. Но все напрасно! Чиполла, стоя в

некотором отдалении от супружеской четы, лишь раз щелкнул хлыстом, и наша

хозяйка, вздрогнув всем толом, повернула к нему лицо. "Софрония!" - уже

тут крикнул господин Лнджольери (а мы и но знали, что госножу Лнджольери

зовут Софронин), и с полным основанием крикнул, ибо всякому было ясно,

какая грозит опасность - его жена, повернув лицо к проклятому кавальере,

просто глаз с него не сводила.

 А Чиполла с висящим на руке хлыстом стал всеми десятью длинными,

желтыми пальцами манить и звать свою жертву, шаг за шагом отступая.

 И тут прозрачно-бледная госпожа Анджольери. привстала с места, уже всем

корпусом повернулась к заклинателю и поплыла за ним. Призрачное и

фатальное видение! Как лунатичка, с неестественно неподвижными, какими-то

скованными плечами и шеей, слегка выставив вперед прекрасные руки, она,

словно но отрывая ног от пола, скользила вдоль своего ряда вслед за

притягивающим ее обольстителем...

 - Окликните ее, сударь, ну, окликните же! - требовал изверг.

 И господин Лнджольсри слабым голосом позвал:

 - Софрония!

 Ах, много еще раз звал он ее и, видя, что жена все больше от него

отдаляется, даже прикладывал одну руку горсткой ко рту, а другой - махал.

По жалобный призыв любви и долга бессильно замирал за спиной у пропащей, и

в лунатическом скольжении, зачарованная и глухая ко всему, госпожа

Лнджольери выплыла в средний проход и заскользила по нему дальше, к

манившему се горбуну, в сторону выхода. Создавалось полное впечатление,

что она последует за своим повелителем хоть на край света, если только он

пожелает.

 - Accidcnle![Караул! (ит.)] - вскочив с места, завопил в подлинном

страхе господин Анджольери, когда они достигли двери зала.

 Но в тот же миг кавальере, так сказать, сбросил с себя лавры победителя

и прервал опыт.

 - Достаточно, синьора, благодарю вас, - сказал он, с комедиантской

галантностью предложил руку точно упавшей с неба женщине и отвел ее к

господину Анджольери. - Сударь, - обратился он к нему с поклоном, - вот

ваша супруга! С глубочайшим уваженном вручаю ее вам целой и -невредимой.

Берегите и охраняйте это преданное вам всецело сокровище со всей

решимостью мужчины, и пусть вашу бдительность обострит понимание того, что

существуют силы более могущественные, нежели рассудок и добродетель, и они

лишь в редчайших случаях сочетаются с великодушным самоотречением!

 Бедный господин Анджольери, такой тихий и лысый! Но похоже было, чтобы

он сумел защитить свое счастье даже от сил, куда менее демонических, чем

тс, что, в довершение ко всем страхам, теперь еще и глумились над ним.

Важный и наиыжившийся кавальере проследовал на эстраду под бурю

аплодисментов, которые не в малой степени относились к его красноречию.

Если по ошибаюсь, именно благодаря этой победе его авторитет настолько

возрос, что он мог заставить публику плясать - да, да, плясать, это

следует понимать буквально, - что, в свою очередь, повлекло за собой

известную разнузданность, некий полуночный угар, в хмельном дыму которого

потонули последние остатки критического сопротивления, так долго

противостоявшего влиянию этого отталкивающего человека. Правда, для

установления полного своего господства Чиполлс пришлось еще выдержать

жестокую борьбу с непокорным молодым римлянином, чья закоснелая моральная

неподатливость могла явить публике нежелательный и опасный для этого

господства пример. Но кавальере прекрасно отдавал себе отчет в важности

примера и, с умом избрав для атаки слабейшую точку обороны, пустил на

затравку плясовой оргии того самого хилого и легко впадающего в транс

юнца, которого перед тем обратил в бесчувственное бревно. Одного взгляда

маэстро было достаточно, чтобы тот, будто громом пораженный, откинув назад

корпус, руки по швам, впадал в состояние воинского сомнамбулизма, так что

его готовность выполнить любой бессмысленный приказ с самого начала

бросалась в глаза. К тому же ему, видимо, нравилось подчиняться, и он с

радостью расставался с жалкой своей самостоятельностью, то и дело

предлагая себя в качестве объекта для эксперимента и явно считая делом

чести показать образец мгновенного самоотрешения и безволия. И сейчас он

тут же полез на эстраду, и достаточно было раз щелкнуть хлысту, чтобы он,

по приказу кавальере, принялся отплясывать "степ", то есть в самозабвенном

экстазе, закрыв глаза и покачивая головой, раскидывать в стороны тощие

руки и ноги.

 Как видно, это доставляло удовольствие, и очень скоро к нему примкнули

другие: двое юношей, один бедно, а другой хорошо одетый, тоже принялись,

справа и слева от него, исполнять "степ".

 Тогда-то и вмешался молодой римлянин, он заносчиво спросил, возьмется

ли кавальере обучить его танцам, даже если он этого не хочет.

 - Даже если вы не хотите! - ответил Чиполла тоном, которого я никогда

но забуду. Это ужасное "Anche so non vnolo!" и сейчас звучит у меня в ушах.

 И тут начался поединок. Выпив свою рюмочку и закурив новую сигарету,

Чиполла поставил римлянина где-то в среднем проходе лицом к двери, сам

встал на некотором расстоянии позади него и, щелкнув в воздухе хлыстом,

приказал:

 - Balla! [Пляши! (ит.)] Противник не тронулся с места.

 - Balla! - веско повторил кавальере и опять щелкнул хлыстом.

 Все видели, как молодой человек повел шеей в воротничке, как

одновременно рука у него дернулась кверху, а пятка вывернулась наружу. Но

дальше этих признаков разбиравшего его искушения, признаков, которые то

усиливались, то затихали, долгое время дело не шло. Каждый в зале понимал,

что Чиполлс тут предстоит сломить героическое упорство, твердое намерение

сопротивляться до конца; смельчак отстаивал честь рода человеческого, он

дергался, но не плясал; и эксперимент настолько затянулся, что кавальере

пришлось делить свое внимание: время от времени он оборачивался к пляшущим

на эстраде и щелкал хлыстом, чтобы держать их в повиновении, и тут же,

повернув лицо вполоборота к залу, заверял публику, сколько бы эти

беснующиеся ни прыгали, они не почувствуют потом никакой усталости, потому

что, по существу, пляшут не они, а он. А затем Чиполла опять впивался

буравящим взглядом в затылок римлянина, чтобы взять приступом твердыню

воли, не покоряющуюся его могуществу.

 Мы видели, как под повторными ударами и окриками Чиполлы твердыня

зашаталась - мы наблюдали за этим с деловитым интересом, не свободным от

эмоциональных примесей жалости и злорадства. Насколько я понимаю,

римлянина подорвала его позиция чистого отрицания. Вероятно, одним

нехотением но укрепишь силы духа; не хотеть что-то делать - этого

недостаточно, чтобы надолго явиться смыслом и целью жизни; чего-то не

хотеть и вообще уже ничего не хотеть и, стало быть, все-таки выполнить

требуемое, - тут, видимо, одно так близко граничит с другим, что свободе

уже не остается места. На этом и строил свои расчеты кавальере, когда,

между щелканьем хлыста и приказами плясать, уговаривал римлянина,

пользуясь помимо воздействий, составляющих его тайну, и смущающими

психологическими доводами.

 - Balla! - говорил он. - К чему же мучиться? И такое насилие над собой

ты называешь свободой? Una-baHatina! [Только один танец! (ит.)] Да у тебя

руки и ноги сами рвутся в пляс. Какое облегчение дать им наконец волю! Ну

вот, ты и танцуешь! Это тебе уже не борьба, а одно наслаждение!

 Так оно и было, подергиванья и судорожные трепыханья в теле упрямца все

усиливались, у него заходили плечи, колени, и вдруг что-то во всех его

суставах будто развязалось, и, вскидывая руки и ноги, он пустился в пляс,

и все продолжал плясать, пока кавальере под аплодисменты зрителей вел его

к эстраде, к другим марионеткам. Теперь нам открылось лицо покоренного,

там, наверху, оно было видно всем. "Наслаждаясь", он широко улыбался,

полузакрыв глаза. Некоторым утешением нам могло служить то, что ему теперь

было явно легче, чем в пору его гордыни.

 Можно сказать, что его "падение" послужило поворотным пунктом.

 Оно растопило лед, торжество Чиполлы достигло апогея; жезл Цирцеи, то

бишь свистящий кожаный хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы, властвовал

безраздельно. К тому времени - это было, как я припоминаю, далеко за

полночь, - на тесной эстраде плясало человек восемь или десять, но и в

самом зале отнюдь не сидели смирно, так, например, длиннозубая англичанка

в пенсне, безо всякого приглашения маэстро, вышла из своего ряда и в

среднем проходе исполнила тарантеллу. Чиполла тем временем сидел

развалившись на соломенном стуле в левом углу сцены, курил и высокомерно

пускал струйкой дым через щербатые зубы. Раскачивая ногой, а иногда

беззвучно смеясь одними плечами, он смотрел на беспорядок в зале и время

от времени, почти даже не оборачиваясь назад, щелкал хлыстом перед

каким-нибудь плясуном, вздумавшим было прекратить удовольствие. Дети в ту

пору не спали. Я упоминаю о ниx со стыдом. Здесь было скверно, а детям уж

и вовсе не место, и если мы их все еще не увели, то я объясняю это лишь

тем, что нам тоже отчасти передалось охватившее всех в этот поздний час

безрассудство. Ах, будь что будет! Впрочем, наши малыши, слава богу, не

понимали всей непристойности этого вечернего увеселения. По наивности они

не переставали радоваться небывалому разрешению: вместе с нами сидеть

здесь и наблюдать такое зрелище - представление фокусника. Они уже не раз

засыпали у нас на коленях, и теперь, с пунцовыми щеками и блестящими

глазенками, хохотали от души над скачками, которые проделывали взрослые

дяди по приказу повелителя вечера. Они и не думали, что будет так смешно,

и лишь только раздавались аплодисменты, тоже принимались радостно хлопать

неумелыми ручонками. Но оба по-ребячьи запрыгали от восторга на своих

местах, когда Чиполла поманил к себе их друга Марио, Марио из "Эсквизито",

- поманил по всем правилам, держа руку у самого носа и попеременно то

вытягивая, то сгибая крючком указательный палец.

 Марио повиновался. Я и сейчас вижу, как он поднимается по ступенькам к

кавальере, а тот продолжает все так же карикатурно манить его к себе

указательным пальцем. На какое-то мгновенье юноша заколебался, я и это

хорошо помню. Весь вечер он простоял, прислонившись к деревянному столбу,

скрестив руки или засунув их в карманы пиджака, в боковом проходе, слева

от нас, там же, где стоял и Джованотто с воинственной шевелюрой, и

внимательно, но без особой веселости, - насколько мы могли заметить, - и

бог ведает, понимая ли, что здесь творится, следил за представлением. Ему,

видимо, было не по нутру, что и его напоследок позвали. Однако не

удивительно, что он послушался знака Чиполлы. К этому его приучила

профессия; потом, даже психологически невозможно представить себе, чтобы

скромный малый мог ослушаться такого вознесенного в этот час на вершину

славы человека. Итак, волей-неволей Марио отошел от столба и, поблагодарив

стоящих перед ним зрителей, которые, оглянувшись, расступились, пропуская

его вперед, с недоверчивой улыбкой на толстых губах поднялся на эстраду.

 Представьте себе коренастого двадцатилетнего парня, коротко

остриженного, с низким лбом и тяжелыми веками, полуопущенными над глазами

неопределенного сероватого цвета в зеленых и желтых крапинках.

 Я хорошо это помню, потому что мы часто с ним беседовали. Верхняя

половина лица с приплюснутым носом, усыпанным у переносицы веснушками,

несколько отступала назад по отношению к нижней, где прежде всего

выделялись толстые губы, за которыми, когда Марио что-то говорил,

поблескивал влажный ряд зубов; именно выпяченные губы, в сочетании с

полуприкрытыми глазами, придавали его лицу выражение какой-то простодушной

задумчивой грусти, из-за которой Марио нам сразу полюбился.

 Ничего грубого не было в его чертах, да, этому противоречили бы его на

редкость узкие, будто точеные руки, которые, даже среди южан, выделялись

своим благородством, и было приятно, когда он вас обслуживал.

 Мы знали, что он за человек, не зная его лично, если вы разрешите мне

провести такое различие. Видели мы Марио почти ежедневно и даже прониклись

своего рода сочувствием к его манере держаться, мечтательной и легко

переходившей в рассеянность, которую он, спохватившись, тотчас спешил

искупить особым усердием; он держался серьезно, лишь дети иногда вызывали

у него улыбку и не то чтобы неприветливо, но без угодливости, без деланной

любезности, - или, вернее, он отказался от всяких любезностей, не питая,

видимо, никакой надежды понравиться. Образ Марио, во всяком случае,

остался бы у нас в памяти - как одно из тех незначительных дорожных

впечатлений, которые ярче запоминаются, чем куда более важные. О домашних

его обстоятельствах нам было известно лишь то, что отец его служит мелким

писарем в муниципалитете, а мать - прачка.

 Белая куртка официанта шла ему несравнимо больше, чем поношенный костюм

из реденькой полосатой ткани, в котором он сейчас поднялся на эстраду; он

был без воротничка, но повязал шею огненнокрасной шелковой косынкой, концы

которой запрятал под пиджак. Марио остановился неподалеку от кавальере, но

так как тот продолжал сгибать крючком палец перед своим носом, юноша

вынужден был придвинуться еще ближе и стал возле самых ног повелителя,

почти вплотную к сиденью стула, и тут Чиполла, растопырив локти, обхватил

Марио и повернул так, чтобы нам из зала видно было его лицо. Затем весело,

небрежным и властным взглядом окинул юношу с головы до ног.

 - Как же так, ragazzo mio? [Мой мальчик (ит.)] - сказал он. - Мы только

сейчас знакомимся? Но можешь мне поверить, я-то с тобой познакомился

давно... Ну да, я давно тебя приметил и убедился в твоих отличных данных.

И как же я мог о тебе забыть? Всё дела, дела, понимать... Но скажи мне,

как тебя зовут? Меня интересует только имя.

 - Меня зовут Марио, - тихо ответил юноша.

 - Ах, Марио, прекрасно. Да, имя это часто встречается. Распространенное

имя. Древнее имя, одно из тех, что напоминают о героическом прошлом нашей

родины. Браво! Salve! [Приветствую! (ит.)] - И, приподняв кривое плечо,

Чиполла вытянул вперед руку с повернутой вниз ладонью в римском

приветствии.

 Если он несколько захмелел, то тут нет ничего удивительного; но говорил

он по-прежнему четко и свободно, пусть даже во всем его поведении и тоне

появилась какая-то сытость и ленивая барственность и в то же время что-то

хамоватое и наглое.

 - Так вот, Мирно, - продолжал он, - как хорошо, что ты пришел сегодня

вечером, да ещо надел такой нарядный галстук, он очень тебе к лицу и сразу

покорит всех девушек, очаровательных девушек Торре-диВенере...

 Со стоячих мест, примерно оттуда, где весь вечер простоял Марио,

раздался громкий хохот - это смеялся Джованотто с воинственной шевелюрой;

стоя там с переброшенным через плечо пиджаком, он без стеснения грубо и

язвительно хохотал:

 - Ха-ха-ха-ха!

 Марио, кажется, пожал плечами. Во всяком случае, он передернулся.

 Возможно, что на самом-то деле он вздрогнул, а пожимание плечей должно

было служить последующей маскировкой, призванной выразить одинаковое

безразличие и к галстуку, и к прекрасному полу.

 Кавальере мельком посмотрел вниз, в проход.

 - Ну, а до т.ого зубоскала нам нет дела. Он просто завидует успеху

твоего галстука у девушек, а может быть, тому, что мы здесь с тобой на

эстраде так дружески и мирно беседуем... Если ему уж очень хочется, я ему

мигом напомню его колики. Мне это, ровно ничего не стоит. Но скажи, Марио,

сегодня вечером ты, стало быть, развлекаешься... А днем ты работаешь в

галантерейной лавке?

 - В кафе, - поправил его юноша.

 - Ах так, в кафе! Тут Чиполла, значит, попал пальцем в небо. Ты -

cameriere [Официант (ит.)], виночерпий, Ганимед - мне это нравится, еще

одно напоминание античности, - salvietta! [Салфетка (ит.). Игра слов: по

аналогии с salve - приветствую (лат.)] - И Чиполла, на потеху публике,

опять простер вперед руку в римском приветствии.

 Марио тоже улыбнулся.

 - Раньше, правда, - добавил он, справедливости ради, - я некоторое

время служил приказчиком в Портеклементе. - В его словах сквозило

свойственное обычно людям желание как-то помочь гаданию, найти в нем хоть

крупицу истины.

 - Так, так! В галантерейной лавке?

 - Там торговали гребнями и щетками, - уклончиво отвечал Марио.

 - Ну вот, но говорил ли я, что ты не всегда был Ганимедом, не всегда

прислуживал с салфеткой под мышкой? Даже если Чиполла иной раз попадет

пальцем в небо, все же он не совсем завирается, и ему можно хоть отчасти

верить. Скажи, ты мне доверяешь?

 Неопределенный жест.

 - Тоже своего рода ответ, - заключил кавальере. - Да, доверие твое

завоевать нелегко. Даже мне, как я вижу, придется с тобой повозиться. Но я

замечаю на твоем лице печать замкнутости, печали, un traito di malinconia

[След меланхолии (ит.)]. Скажи мне, - и он схватил Марио за руку, - ты

несчастлив?

 - No, signore! [Нет, синьор (ит.)] - поспешно и решительно отозвался

тот.

 - Нет, ты несчастлив, - настаивал фигляр, властно преодолевая эту

решимость. - Будто я не вижу? Молод еще втирать Чиполле очки! И конечно,

тут замешаны девушки, нет, одна девушка. У тебя несчастная любовь?

 Марио отрицательно затряс головой. Одновременно рядом с нами опять

раздался грубый хохот Джованотто. Кавальере насторожился. Глаза его

блуждали по потолку, но он явно прислушивался к хохоту, а потом, как уже

раз или два во время беседы с Марио, наполовину обернувшись, щелкнул

хлыстом на свою топочущую команду, чтобы у них не остыло рвение.

 Но при этом он чуть но упустил своего собеседника, так как Марио,

внезапно вздрогнув, отвернулся от него и направился к лестнице. Вокруг

глаз юноши залегли красные круги. Чиполла едва успел его задержать.

 - Стой, куда! - сказал он. - Это еще что? Ты хочешь удрать, Ганимед, в

счастливейшую минуту твоей жизни - она сейчас наступит?

 Оставайся, и я обещаю тебе удивительные вещи. Я обещаю доказать тебе

всю нелепость твоих страданий. Девушка, которую ты знаешь и которую и

другие знают, эта... ну, как же ос? Постой! Я читаю ее имя в твоих глазах

оно вертится у меня на языке, да и ты, я вижу, сейчас его назовешь...

 - Сильвестра! - выкрикнул все тот же Джовапотто снизу.

 Кавальере и бровью не повел.

 - Есть же такие бессовестные люди! - произнес он, даже не взглянув

вниз, а словно бы продолжая начатый разговор с глазу на глаз с Марио. -

Такие бесстыжие петухи, которые кукарекают ко времени и безо времени.

 Только мы хотели ее назвать, а он возьми и опереди нас, и еще, наглец

какой, воображает, будто у него какие-то особые на то права! Да что о нем

говорить! Но вот Сильвестра, твоя Сильвестра, уж признайся, вот это

девушка! Настоящее сокровище! Сердце замирает, когда смотришь, как она

ходит, дышит, смеется, до того она хороша. А ее округлые руки, когда она

стирает и откидывает назад голову, стряхивая кудряшки со лба! Ангел, да и

только!

 Марно уставился на него, сбычив голову. Он словно забыл, где он, забыл

о публике. Красные кольца вокруг его глаз расширились и казались

намалсванными. Мне редко случалось такое видеть. Рот с толстыми губами был

полуоткрыт.

 - И этот ангел заставляет тебя страдать, - продолжал Чиполла, - или,

вернее, ты сам из-за него страдаешь... А это. разница, дорогой мой,

огромнейшая разница, уж ты мне поверь! Любви свойственны такие вот

недоразумения, можно даже сказать, что недоразумения нигде не встречаются

так часто, как именно в любви. Ты небось думаешь: а что смыслит Чиполла, с

его маленьким телесным изъяном, в любви? Ошибаешься, очень даже смыслит,

да еще так основательно и глубоко смыслит, что в подобных делах не мешает

иной раз к нему прислушаться! Но оставим Чиполлу, что о нем толковать,

подумаем лучше о Сильвестре, твоей восхитительной Сильвестре! Как? Она

могла предпочесть тебе какого-то кукарекающего петуха, и он смеется, а ты

льешь слезы? Предпочесть другого тебе, такому любящему и симпатичному

парню? Невероятно, невозможно, мы лучше знаем, я, Чинолла, и она. Видишь

ли, когда я ставлю себя на ее место и мне надо выбрать между такой вот

просмоленной дубиной, вяленой рыбой, неуклюжей черепахой - и Марио,

рыцарем салфетки, который вращается среди господ, ловко разносит

иностранцам прохладительные напитки и всей душой, пылко меня любит -

господи, сердце само подсказывает мне решение, я знаю, кому должна его

отдать, кому я давно уже, краснея, его отдала. Пора бы моему избраннику

это заметить и попять! Пора бы меня заметить и признать, Марно, мой

любимый... Скажи же, кто я?

 Отвратительно было видеть, как обманщик охорашивался, кокетливо "ертел

кривыми плечами, томно закатывал глаза с набрякшими мешочками и, сладко

улыбаясь, скалил выщербленные зубы. Ах, но что сталось с нашим Марио, пока

Чинолла обольщал его своими речами? Тяжко рассказывать, как тяжко было

тогда на это глядеть; то было раскрытие самого сокровенного, напоказ

выставлялась его страсть, безнадежная и нежданно осчастливленная. Стиснув

руки, юноша поднес их ко,рту, он так судорожно глотал воздух, что видно

было, как у него вздымается и опускается грудь.

 Конечно, от счастья он. не верил своим глазам, не верил ушам, позабыв

лишь об одном, что им в самом деле не следовало верить.

 - Сильвестра! - еле слышно прошептал он, потрясенный.

 - Поцелуй, меня! - потребовал горбун. - Поверь, и тебе разрешаю!

 Я люблю тебя. Вот сюда поцелуй, - и, оттопырив руку, локоть и мизинец,

он кончиком указательного пальца показал на свою щеку почти у самого рта.

И Марио наклонился и поцеловал его.

 В зале наступила мертвая тишина. То была пеленая, чудовищная и вместе с

тем захватывающая минута - минута блаженства Марио. И в эти томительные

мгновения, когда мы воочию увидели всю близость счастья и иллюзии, не

сразу, а тут же после жалкого и шутовского прикосновения губ Марио к

омерзительной плоти, подставившей себя его ласке, вдруг, слева от нас,

разрядив напряженность, раздался хохот Джованотто - хохот грубый и

злорадный и все-таки, как мне показалось, не лишенный оттенка и частицы

сочувствия к обделенному мечтателю и не. без отголоска того "poveretto",

который фокусник перед тем объявил обращенным не по адресу и приписал себе.

 Но не успел затихнуть смех в зале, как Чиполла, со все еще

подставленной для поцелуя щекой, щелкнул хлыстом возле ножки стула, и

Марио, пробудившись, выпрямился и отпрянул. Он стоял, широко раскрыв глаза

и откинув назад корпус, сначала прижал обе ладони, одну поверх другой, к

своим оскверненным губам, потом стал стучать по вискам костяшками цальцев,

рванулся и, в то время кал зал аплодировал, а Чиполла, сложив на коленях

руки, беззвучно смеялся одними плечами, бросился вниз но ступенькам. Там;

с разбегу, круто повернулся на широко раздвинутых ногах, выбросил вперед

руку, и два оглушительных сухих хлепка оборвали смех и аплодисменты.

 Все сразу смолкло. Даже плясуны остановились, оторопело выпучив глаза.

Чиполла вскочил со стула. Он стоял, предостерегающе раскинув руки, будто

хотел крикнуть: "Стой! Тихо! Прочь от меня! Что такое?!", но и следующий

миг, уронив голову на грудь, мешком осел на стул и тут же боком повалился

на пол, где и остался лежать беспорядочной грудой одежды и искривленных

костей.

 Поднялась невообразимая суматоха. Дамы, истерически всхлипывая, прятали

лицо на груди своих спутников. Одни кричали, требуя врача, полицию. Другие

устремились на эстраду. Третьи кучей навалились на Марио, чтобы его

обезоружить, отнять у него крошечный, матово поблескивающий предмет, даже

мало похожий На револьвер, который повие у него в руке и чей почти

отсутствующий ствол судьба направила, столь странно и непредвиденно.

 Мы забрали детей - наконец-то! - и повели мимо двух подоспевших

карабинеров к. выходу.

 - Это правда-правда конец? - допытывались они, чтобы уж уйти со

спокойной душой.

 - Да, это конец, - подтвердили мы. Страшный, роковой конец. И все же

конец, приносящий избавление, - я и тогда не мог и сейчас не могу

воспринять это иначе!

 1930

ТОМАС МАНН

 НЕПОРЯДОК И РАННЕЕ ГОРЕ

 Перевод Т.Исаевой.

 В качестве основного блюда были поданы только овощи - капустные

котлеты; поэтому вслед за ними сервировался холодный пудинг из отдающего

мылом и миндалем порошка, лишь недавно появившегося в продаже, и пока

Ксавер - юный слуга в шерстяных белых перчатках, желтых сандалиях и

полосатой куртке, из которой он несколько вырос, - водружает его на стол,

"большие" осторожно напоминают отцу, что сегодня гости.

 "Большие" - это, во-первых, восемнадцатилетняя Ингрид, кареглазая,

весьма привлекательная девушка, которой предстоят выпускные экзамены -

скорее всего, она их сдаст, хотя бы уже потому, что вскружила голову всем

преподавателям и самому директору настолько, что те положительно во всем

ей потакают; впрочем, Ингрид отнюдь не думает воспользоваться аттестатом

зрелости, а, полагаясь на свою приятную улыбку и столь же приятный

голосок, а также на ярко выраженный, забавный дар подражания, хочет

поступить на сцену, - и, во-вторых, ее брат Берт, светловолосый

семнадцатилетний юноша, который ни под каким видом не намерен кончать

школу, а мечтает как можно скорее окунуться в гущу жизни, стать либо

танцором, либо конферансье в кабаре, либо, на худой конец, даже кельнером,

но тогда уже непременно в Каире, с каковой целью оц однажды, в пять часов

утра, предпринял едва не удавшуюся попытку сбежать из дому. Решительно, он

чем-то похож на юного слугу Ксавера Клейнсгютля, своего сверстника, - не

то чтобы Берт был с виду простоват, напротив, чертами лица он явно

напоминает отца, профессора Корнелиуса, - нет, это совсем иное сходство,

скорее только какое-то приближение их обоих к одному и тому же типу,

причем главную роль здесь, пожалуй, играет преувеличенная одинаковость в

одежде, повадках, во всем облике. У обоих густые, очень длинные волосы,

небрежно разделенные пробором, и оба делают одинаковое движение головой,

отбрасывая их со лба. Когда один из них, в любую погоду без головного

убора, в спортивной куртке, лишь ради кокетства перехваченной кожаным

ремешком, слегка подавшись вперед да ещё вдобавок склонив голову к плечу,

уходя со двора, отодвигает засов калитки или садится на велосипед, -

Ксавер по собственному усмотрению пользуется велосипедами господ, дамским

тоже, а в особо безмятежном настроении и профессорским, - доктор

Корнелиус, глядя из окна своей спальни, при всем желании не может

разобрать: кто это - чужой малый или собственный сын? У них вид русских

мужичков, думает он, как у одного, так и у другого, и оба они отчаянные

курильщики, хотя Берт, за неимением денег, курит меньше Ксавера, который

довел свою норму до тридцати сигарет в день, предпочтительно марки,

носящей имя прославленной кинодивы.

 "Большие" называют родителей "стариками" - и не за глаза, а открыто,

уважительно и любовно, хотя Корнелиусу всего сорок семь, а жена его на

восемь лет моложе. "Достопочтенный наш старик", говорят они, "славная наша

старушка". А родители профессора, запуганные, сбитые с толку старики,

доживающие свой век у себя на родине, на языке "больших"

 именуются "предками". Что касается "маленьких", Лорхен и Байсера,

которые обедают наверху с "сизой Анной", прозванной так за сизые щеки, то

они, следуя примеру матери, зовут отца просто по имени - "Абель".

 Это милое, фамильярно-доверчивое обращение звучит необычайно потешно,

особенно когда его лепечет сладкий голосок пятилетней Элеоноры, - судя по

сохранившимся детским фотографиям госпожи Корнелиус, она очень похожа на

мать, и профессор в ней души не чает.

 - Старикашечка, - вкрадчиво говорит Ингрид и кладет свою большую, но

красивую руку на руку отца, который, следуя бюргерскому, не лишенному

здравого смысла обычаю, восседает во главе семейного стола, напротив жены,

- слева от него сидит Ингрид. - Милый родитель, разреши мне коснуться

того, что, бесспорно, улетучилось из твоей памяти.

 Сегодня после обеда должен состояться "детский крик на лужайке", с

селедочным салатом в качестве гвоздя программы. Так что не падай,

пожалуйста, духом и не унывай: в девять часов все будет кончено.

 - А? - - говорит профессор, и лицо у него вытягивается. - Ну что ж,

хорошо. - И он кивает толовой в знак того, что подчиняется неизбежности, -

А я думал... Разве сегодня? Да, да, четверг. Как время бежит!

 И когда же они пожалуют?

 - В половине пятого, - отвечает Ингрид, которой брат неизменно уступает

первенство в переговорах с отцом. Значит, у Корнелиуса еще есть время

отдохнуть наверху, куда не доносится шум. От семи до восьми он все равно

гуляет, а при желании может даже ускользнуть через террасу.

 - О! - бурчит Корнелиус, как бы подразумевая: "Не надо преувеличивать!"

 Но тут вступает Берт:

 - Ведь это единственный вечер, когда Ваня не занят в спектакле.

 В другой день ему пришлось бы уйти в половине седьмого. Гости были бы

очень огорчены.

 "Ваня", Иван Герцль, первый любовник, восходящее светило

Государственного театра, в большой дружбе с Ингрид и Бертом, которые

частенько пьют у него чай и навещают его в театральной уборной. Он артист

новейшей школы и, с точки зрения профессора, ведет себя на сцене крайне

неестественно: принимает вычурно-танцевальные позы и надсадно воет.

 Профессора истории этим не купишь, но Берт крепко подпал под влияние

Герцля и даже стал подводить глаза, что не раз уже вызывало неприятные, но

остававшиеся беа последствий объяснения с отцом. С бесчувственностью

юности к душевным терзаниям старших Берт заявляет, что все равно он будет

подражать Герцлю в каждом его движении не только если изберет карьеру

танцора, но даже и сделавшись кельнером в Каире.

 Корнелиус, вздернув брови, склоняется перед сыном, тем самым

подчеркивая учтивую сдержанность, отличающую его поколение. Ирония этой

немой сцены лишена назидательности и не имеет прямого адреса:

 Берт в равной мере волен отнести ее к себе и к сценическим дарованиям

своего друга.

 - А кто еще придет? - спрашивает хозяин дома.

 Ему перечисляют ряд имен, более или менее знакомых, - тех, кто живет

здесь же в предместье или в городе, а также нескольких гимназических

подружек Ингрид. Кстати, надо созвониться еще кое с кем, например, со

студентом и будущим инженером Максом Гергезелем. Произнося это имя, Ингрид

тут же переходит на слегка гнусавый, протяжный говорок, по ее мнению

отличающий все семейство Гергезелей, и так живо, потешно и правдоподобно

подражает ему, что родителям от смеха грозит опасность подавиться

невкусным пудингом. Ведь и в нынешние времена нет запрета смеяться над

тем, что смешно.

 Между тем в кабинете профессора заливается телефон, и "большие"

 мчатся туда, не сомневаясь, что звонят именно им. Последнее вздорожание

многих заставило отказаться от телефона, но Корнелиусам все же удалось

сохранить его, как удалось сохранить и дом, выстроенный еще до войны.

 Все это благодаря многомиллионному жалованью, которое причитается

Корнелиуеу как ординарному профессору истории. Их загородный дом изящен,

удобен, хотя за последнее время несколько обветшал, - из-за недостатка

строительных материалов его не ремонтируют, - и вдобавок он обезображен

железными печурками с длинными трубами. Но в этом обрамлении, где

протекала жизнь некогда состоятельных бюргеров, теперь живут не так, как

полагалось бы, - убого и трудно, в поношенном и перелицованном платье.

Дети не знают иного образа жизни, для них все это в порядке вещей, - они

прирожденные пролетарии из собственного особняка. О нарядах они особенно

не беспокоятся. Это поколение довольствуется одеждой, отвечающей

требованиям времени, - прямым порождением нищеты и изобретательного вкуса,

- летом она сводится к полотняной блузе с кушачком и к сандалиям. Бюргерам

старшего поколения приходится труднее.

 Оставив свои салфетки на спинках стульев, "большие" ушли в соседнюю

комнату и беседуют с друзьями. Звонят все больше приглашенные.

 Они сообщают, что придут или что не могут прийти, или же договариваются

еще о чем-нибудь, и "большие" объясняются с ними на жаргоне, принятом в их

кругу, условном наречии, полном забористо-шутливых словечек и выражений,

едва доступных пониманию "стариков". Тем временем и родители совещаются

между собой о том, чем бы накормить гостей. Профессор проявляет бюргерское

тщеславие. Он хотел бы, чтобы, кроме итальянского салата и бутербродов на

черном хлебе, был еще и торт или что-нибудь похожее на торт. Но госпожа

Корнелиус говорит мужу, что у него непомерные претензии: "Молодые люди не

рассчитывают на такую роскошь"; "большие", вернувшись к своему пудингу,

поддакивают ей.

 Хозяйка дома, от которой Ингрид, правда более рослая, унаследовала свои

внешний облике, утомлена и вконец замучена убийственными трудностями

ведения хозяйства. Ей следовало бы побывать на курорте, но теперь, когда

все пошло кувырком и почва под ногами так неустойчива, это неосуществимо.

Она думает только о яйцах, которые необходимо купить сегодня, и все

возвращается мыслью к этим яйцам, ценою в шесть тысяч марок; их отпускают

только один раз в неделю в определенном количестве и в определенной лавке,

здесь, неподалеку, так что дети сразу же после обеда, оставив все другие

дела, должны снарядиться в поход за ними. Дани, соседский мальчик, тоже

пойдет вместе с "большими", и Ксавер, скинув подобие ливреи, отправится

вслед за молодыми господами. Дело в том, что лавка еженедельно отпускает

всего пяток яиц на семью, а значит, молодым людям придется заходить туда

врозь, поодиночке, да еще под разными вымышленными именами, чтобы

обогатить дом Корнелиусов двумя десятками яиц, - излюбленное развлечение

для всех его участников, не .исключая и "мужичка" Клейнсгютля, но прежде

всего Ингрид и Берта.

 Они вообще-то очень любят дурачить и "разыгрывать" ближних; делают это

на каждом шагу, лишь бы представился случай, даже и не добиваясь награды в

виде пятка яиц. Так, скажем, в трамвае они устраивают целые представления,

выдавая себя за совсем не тех молодых людей, какими являются в

действительности, и громогласно заводя бесконечные, сугубо обывательские

разговоры на местном диалекте, которым обычно не пользуются, в самом

обывательском духе толкуют о политике, о дороговизне, о каких-то людях,

которых и на свете нет, так что весь вагон сочувственно прислушивается к

их неуемной болтовне, хотя и не без смутного ощуще-ния, что здесь не все

ладно. Мало-помалу они набираются дерзости и принимаются рассказывать друг

другу чудовищные небылицы об этих несуществующих людях. Так, Ингрид

способна высоким, ломким, пошло чирикающим голоском сообщить окружающим,

что она продавщица и что у нее незаконный ребенок, сын с садистическими

наклонностями, который намедни в деревне так безбожно истязал корову, что

доброму христианину смотреть тошно. Ингрид так забавно чирикает это

"истязал", что Берт готов разразиться хохотом, но, сдержавшись, бурно

соболезнует злополучной продавщице и вступает с нею в продолжительное,

непристойное и вместе глупое словопрение о природе болезненных извращений,

покуда пожилой господин, сидящий напротив и засунувший свой тщательно

сложенный билет за перстень-печатку на указательном пальце, считая меру

терпения переполненной, не начинает открыто возмущаться тем, что нынешняя

молодежь так обстоятельно распространяется на подобные "тёмата" (он

употребляет греческое окончание множественного числа от слова "тема"),

после чего Ингрид притворно заливается слезами, а Берт лишь отчаянным

усилием воли, которого по всем признакам едва ли хватит надолго,

обуздывает смертельную ярость, вызванную в нем словами пожилого господина:

он сжимает кулаки, скрежещет зубами и весь содрогается, так что пожилой

господин, руководствовавшийся только наилучшими побуждениями, поспешно

выходит на ближайшей остановке.

 Вот в каком духе развлекаются "большие". Телефон занимает не последнее

место в их забавах. Они звонят всему свету - оперным артистам,

государственным мужам, высоким духовным особам, выдавая себя то за

лавочников, то за графа и графиню Манстейфель, и только после длительных

препирательств высказывают догадку, что их неправильно соединили. Раз

как-то они опустошили вазу, в которой родители хранят визитные карточки

знакомых, и рассовали их по почтовым ящикам близлежащих домов, стараясь

внести в эту путаницу налет правдоподобия, чем вызвали в квартале великое

смятение, ибо как не смутиться, если бог весть кто почел нужным черт знает

кого почтить официальным визитом.

 Ксавер, теперь уже без перчаток, в которых он прислуживал за обедом,

входит в столовую, щеголяя желтым кольцом-цепочкой на левой руке, и,

встряхивая волосами, начинает убирать со стола. Пока профессор потягивает

свое слабенькое пиво (восемь тысяч марок бутылка) и закуривает сигарету,

на лестнице и в прихожей возникает шумная возня - это "маленькие". Они,

как обычно после обеда, являются поцеловать родителей и, преодолев

сопротивление двери, на ручку которой нажимают совместными усилиями,

врываются в столовую, топоча и спотыкаясь о ковер своими торопливыми

неловкими ножками в домашних туфельках из красного войлока, на которое

сползли носочки. Громко болтая и наперебой выкладывая новости, каждый

держит свой привычный курс: Байсер бежит к матери и взбирается к ней на

колени, чтобы рассказать, сколько он скушал, и в доказательство предъявить

тугой животик, а Лорхен - к "своему Абелю", совсем-совсем "ее" АбеЛю, как

и она совсем-совсем "его" Лорхен, потому что девочка чует и, блаженно

улыбаясь, впитывает в себя проникновенную и немного печальную, подобно

всякому глубокому чувству, нежность, какою отец обволакивает свою девочку,

и ту любовь, с какою он целует ее изящно вылепленную ручку или висок, где

так мило и трогательно просвечивает голубоватая жилка.

 "Маленькие", без сомнения, походят друг на друга, но это скорее

неуловимо родственное сходство, усугубленное еще и тем, что их одинаково

одевают и причесывают; в то же время они разительно друг от друга

отличаются, как, впрочем, и положено мужчине и женщине. Он - ярко

выраженный маленький Адам, она - г"Ева. Что касается Байсера, то он словно

бы осознает свое мужское достоинство: и без того более крепкий, более

коренастый и плотно сбитый, чем сестренка, он утверждает свое

превосходство четырехлетнего мужчины всеми повадками, выражением лица,

тем, как он говорит, как расправляет плечи и держит руки на отлете, точно

молодой американец, а разговаривая, пренебрежительно кривит рот и

старается говорить грубоватым, "взрослым" голосом. Впрочем, вся эта

несокрушимая мужественность скорее зиждется на его воображении, чем на

действительной основе: рожденный и выкормленный в тревожные, смутные

времена, Байсер на самом деле наделен легко возбудимой, неустойчивой

нервной системой; он мучительно страдает от жизненных неурядиц, вспыльчив,

по малейшему пустяку приходит в отчаяние, заливаясь горючими слезами,

заходится от ярости и колотит ногами по полу, почему мать о нем печется с

особой нежностью. У него круглые и коричневые, как каштаны, глаза, которые

подчас чуть косят, так что, вероятно, ему вскоре придется надеть очки,

длинный носик и маленький рот. Нос и рот отцовские, что стало еще

очевиднее, когда профессор сбрил усы и бородку клинышком (бородку, право

же, нельзя было дольше сохранять, потому что даже человек науки рано или

поздно вынужден пойти навстречу требованиям современности). Профессор

держит на коленях свою Элеонорхен, маленькую Еву, более грациозную и

нежную, чем мальчик, и, отведя подальше руку с сигаретой, позволяет тонким

пальчикам теребить его очки, разделенные пополам стекла которых (для дали

и для чтения) каждый раз по-новому занимают воображение девочки.

 В глубине души Корнелиус сознает, что жена поступает великодушнее,

отдавая предпочтение мальчику, ибо беспокойная мужественность Байсера,

вероятно, более достойна любви, чем ровная прелесть его дочурки. Но сердцу

не прикажешь, думает профессор, а его сердце отдано девочке раз и

навсегда, с того самого дня, как она вошла в его жизнь и он впервые ее

увидел. И теперь, стоит только ему взять Лорхен на руки, он вспоминает то

первое ощущение. Это было в залитой светом комнате женской клиники, где

через двенадцать лет после рождения старшего брата появилась на свет

Лорхен. Когда, ободренный улыбкой матери, он приблизился к стоявшей рядом

с большой кроватью кукольно нарядной кроватке и, бережно раздвинув

занавески, обнаружил покоившееся на подушках маленькое чудо, совершенное в

своей чистой и сладостной соразмерности, с ручками, тогда еще более

крохотными, чем теперь, но уже прелестными, с широко раскрытыми, еще

совсем синими, как небо, глазами, отражавшими сияние дня, - он мгновенно

почувствовал себя плененным, покоренным: это была любовь с первого взгляда

и навек. Чувство - нежданное и негаданное в свете разума - тотчас же

завладело Корнелиусом, и, радуясь, изумляясь, он понял, что отныне будет

во власти этого чувства до конца своих дней.

 Впрочем, доктор Корнелиус знает, что с непредвиденностью, с

нечаянностью этого чувства и тем более с полной его непроизвольностью

дело, если разобраться как следует, обстоит не так-то просто. В глубине

души он понимает: не так уж неожиданно пришло и вплелось в его жизнь это

чув,ство, нет, где-то в подсознании он был готов воспринять его, вернее,

был.

 к нему подготовлен. В нем зрело что-то трудно преодолимое, чтобы в

надлежащий миг выйти наружу, и это "что-то" было присуще ему именно

потому, что он - профессор истории - странно, необъяснимо даже... Но

доктор Корнелиус и не ищет объяснения, а только знает об этом и втихомолку

улыбается. Знает, что профессора истории не любят истории, поскольку она

совершается, а любят ее, поскольку она уже соверЩилась; им ненавистны

современные потрясения основ, они воспринимают их как сумбурное, дерзкое

беззаконие, - одним словом, как нечто "неисторическое", тогда как сердца

их принадлежат связному, смирному историческому прошлому. Ведь прошлое,

признается себе кабинетный ученый, доктор Корнелиус, прогуливаясь перед

ужином вдоль набережной, окружено атмосферой безвременья и вечности, а эта

атмосфера больше по душе профессору истории, чем дерзкая суета

современности. Прошлое незыблемо в веках, значит, оно мертво, а смерть -

источник всей кротости и самосохранения духа. Шагая в одиночестве по

неосвещенной набережной, Доктор Корнелиус внутренне отдает себе в этом

отчет. Именно инстинкт самосохранения, тяготение к "извечному" увело его

от дерзкой суеты наших дней к спасительной отцовской любви. Любовь отца,

дитя у материнской груди - извечны и потому святы и прекрасны. Но все тке

эти размышления в потемках приводят Корнелиуса к выводу, что не все ладно

с его любовью, - он этого от себя не скрывает и даже пытается теоретически

обосновать - во имя своей науки. Есть что-то предвзятое в возникновении

его любви, какое-то враждебное сопротивление совершающейся на его глазах

истории, предпочтение прошлого, то есть смерти. Странно, очень странно, и

все же это так. В проникновенной нежности к сладостной маленькой жизни, к

своей плоти, есть что-то связанное со смертью, противоборствующее жизни, -

что ни говори, это досадно и не слишком хорошо, хотя, разумеется, надо

быть одержимым идеей аскетизма, чтобы ради подобных умозрительных

рассуждений поступиться столь высоким и чистым чувством, вырвать его из

сердца.

 У него на коленях сидит девочка, болтая в воздухе стройными розовыми

ножками, а он, шутливо вздернув брови, нежно и почтительно беседует с нею,

восхищенно прислушиваясь к тому, как Лорхен ему отвечает и своим

сладостным высоким голоском лепечет "Абель". Он обменивается

выразительными взглядахми с женой, которая нянчится со своим Байсером и

нежно журит его, уговаривая быть умным и благовоспитанным, потому что не

далее как сегодня, при очередном столкновении с жизнью, он снова впал в

неистовство и завывал, как беснующийся дервиш. Порою Корнелиус с некоторым

сомнением поглядывает и на "больших", - быть может, и они не чужды научных

выводов, что приходят ему на ум во время вечерних прогулок? Возможно, но

по ним это незаметно. Упершись локтями в спинки своих стульев, они

снисходительно и не без иронии взирают на родительские утехи.

 На "маленьких" искусно вышитые платьица из плотной ткани

краснокирпичного цвета, когда-то принадлежавшие Ингрид и Берту, совершенно

одинаковые, только что у Байсера из-под платья выглядывают короткие

штанишки. Подстрижены дети тоже одинаково, "под пажа". Светлые волосы

Байсера, кое-где потемневшие, принимают самые различные оттен ки и растут

как попало, торчащими вихрами - похоже, что он неловко на себя нахлобучил

потешный паричок. А каштаново-коричневые мягкие и блестящие, как шелк,

волосы Лорхен не менее прелестны, чем она сама.

 Они закрывают ей ушки - как известно, разной величины. Одно - вполне

нормальное, другое же - не совсем правильной формы и, бесспорно, слишком

большое. Отец иногда отводит мягкую прядку волос и, словно впервые

обнаружив этот маленький недостаток, преувеличенно изумляется, чем очень

смущает и в то же время очень смешит свою Лорхен. Ее широко расставленные

глаза отливают золотом, в ласковом и ясном взгляде лу чится нежность.

Бровки светлые. Носик еще совсем не определившийся, ноздри вырезаны

широко, так что дырочки почти что совершенно круглые, рот большой и

выразительный, подвижная, прихотливо изогнутая верхняя губка вздернута.

Когда девочка смеется и показывает свои жемчужные, но не сплошные зубки

(один Лорхен недавно потеряла; он качался во все стороны, и отец выдернул

его с помощью носового платка, а она вся побледнела и затряслась), на ее

щеках, еще по-детски пухяых, но с четко очерченными скулами - вся нижняя

часть лица у Лорхен слегка выдается вперед, - ясно обозначаются ямочки. На

одной щеке у нее родинка, покрытая легким пушком.

 Вообще-то Лорхен не вполне удовлетворена своей внешностью, а стало

быть, к ней неравнодушна. Она с грустью сообщает, что "личико у нее

некрасивое", зато "фигурка славненькая". Лорхен любит "взрослые", книжные

словечки, вроде "пожалуй", "разумеется", "окончательно", и нанизывает их

одно на другое. Недовольство Байсера самим собой относится скорее к

области духа. Он склонен к самоуничижению, мнит себя великим грешником

из-за своих припадков ярости, убежден, что рай не для него и что он угодит

прямо в "преисподнюю". Тут не помогают никакие заверения, что бог всемогущ

и милосерд даже к грешникам. С унылым ожесточением качая головой в неловко

нахлобученном "паричке", он утверждает, что райское блаженство ему

заказано. При малейшей простуде он кашляет и чихает, у него течет из носу,

а внутри все хрипит: он сразу же пышет жаром и только и знает, что сопит и

пыхтит.

 " Детская Анна", весьма мрачно настроенная относительно его физической

конституции, предрекает, что мальчика с такой невиданно "густой"

 кровью рано или поздно хватит "кондрашка". Как-то раз ей даже

почудилось, что страшное мгновение уже лришло; в наказание за неистовый

приступ, ярости Байсера поставили носом в угол, и его лицо - как кто-то

вдруг заметил - все посинело, стало еще более сизым, чем у "сизой Анны".

Анна подняла всех на ноги, возвещая, что вот густая кровь мальчика

приблизила-таки его смертный час, и гадкий Ёайсер, вполне законно

изумляясь неожиданному обороту судьбы, увидел вокруг себя встревоженные,

ласковые лица взрослых, покуда не выяснилось, что роковая синева вызвана

не приливом крови, а тем, что окрашенная индиго стена детской слиняла на

его затопленное слезами лицо.

 Следом за "маленькими" вошла в комнату "детская Анна" и остановилась у

дверей, сложив руки под белым передником; жирно напомаженные волосы, глаза

гусыни - все в ней говорило о несокрушимом достоинстве и глупости.

 - Малыши-то у нас какие умники стали! - объявляет она, намекая на

образцовый уход и свои педагогические заслуги.

 Не так давно ей удалили семнадцать больных корней, заменив их

искусственной челюстью из темно-красного каучука, с соответствующим

количеством ровных желтых зубов, ныне украшающих ее крестьянскую

физиономию. В душе "детской Анны" живет странная уверенность, что все на

свете только и говорят что об ее искусственной челюсти, и даже воробьи на

крыше свиристят о ней. "Немало напраслины на меня повозводили, - говорит

она сурово и загадочно, - когда я вставила себе новые зубы". Она и вообще

тяготеет к туманным речам, недоступным пониманию окружающих, и любит,

например, толковать о некоем докторе Блайфусе, "которого знает любой

ребенок, а в том доме, где он живет, квартирует еще много таких, что

выдают себя за него". С этим приходится мириться, закрывать глаза на ее

чудачества. Она учит детей отличным стишкам, например:

 Рельсы, рельсы, паровоз!

 Пар шипит из-под колес!

 Едет он или стоит -

 Все равно гудит, гудит!

 Или скудному, в согласии с переживаемым временем, но все же веселому

перечню трапез на неделю:

 Понедельник - начало недели,

 Во вторник совсем мы не ели,

 Среда так лежит посрединке,

 В четверг мы глотаем слезинки,

 В пятницу рыбки закажем,

 В субботу голодные пляшем,

 Зато в воскресенье пируем,

 Свининку с салатом смакуем.

 Или некоему, исполненному загадочно-туманной романтики четверостишию:

 Распахните-ка ворота -

 Экипаж у поворота,

 В экипаже господин.

 Восхитительный блондин.

 Или же, наконец, душераздирающей балладе о Марихен, которая, сидя "на

утесе, на утесе, на утесе", расчесывала свои, уж разумеется, "кудри

золотые". А не то еще про Рудольфа, который извлек "свой кинжал, свой

кинжал, свой кинжал", что также отнюдь не привело к счастливой развязке.

Все это Лорхен, с ее подвижной рожицей и сладким голоском, поет и читает

куда лучше, чем Байсер. Да она и все делает лучше его; мальчик в восторге

от нее и беззаветно подчиняется всем ее прихотям, до тех пор пока в него

не вселяется бес озлоблеяия и строптивости. Лорхен охотно просвещает

Байсера, в книжке с картинками показывает ему птиц и научно классифицирует

их: "тучеед, градоед, грачеед". Лорхен наставляет его и в медицинской

премудрости, учит, какие бывают болезни: "воспаление легких, воспаление

крови, воспаление воздуха". Если Байсер оказался недостаточно внимателен и

не вытвердил урока, она ставит его в угол. Както раз Лорхен даже наградила

его затрещиной, но потом так застыдилась, что сама себя надолго поставила

в угол.

 Что ж, "маленькие" отлично ладят друг с другом, и сердца их бьются

согласно. Они сообща переживают все, что происходит в их жизни. Еще

возбужденные прогулкой, они, придя домой, в один голос оповещают о том,

что сейчас на дороге встретили "двух взрослых му-муу-шек и одну

ма-а-аленькую телятинку". С прислугой, с "нижними" - с Ксавером и дамами

Хинтерхефер, двумя сестрами, некогда принадлежавшими к честному

бюргерскому семейству, ныне же выполняющими обязанности кухарки и

горничной - "аи pair" (то есть за стол и кров), - они живут душа в душу, -

во всяком случае, отношения "нижних" с родителями им часто напоминают их

собственные. Когда "маленьким" за что-нибудь достается, они мчатся на

кухню и возглашают: "Господа сегодня не в духе!" И тем не менее играть

веселее с "верхними", особенно с "Абелем", когда он не пишет и не читает.

Он придумывает чудесные, куда более забавг ные штуки, чем Ксавер или дамы

Хинтерхефер. Лорхен и Байсер играют, будто они "четыре господина", и идут

гулять. И вот "Абель" присаживается на корточки и, став таким же

маленьким, как они, берет их за руки и отправляется с ними гулять. В эту

игру они никак не могут досыта наиграться. Целый день напролет готовы все

"пятеро господ", включая и ставшего маленьким "Абеля", вот так семенить по

столовой.

 Кроме того, имеется крайне захватывающая игра в "подушку", она

заключается в том, что кто-нибудь из малышей, обычно Лорхен, якобы тайком

от "Абеля" залезает на его стул за обеденным столом и тихо, как мышка,

ждет его прихода. Глядя по сторонам и ее не замечая, Корнелиус долго

толкует о достоинствах своего стула, потом приближается к нему и садится,

не глядя на Лорхен.

 - Как?! - говорит он. - Что такое?! - и начинает ерзать взад и вперед,

будто и не слыша приглушенного хихиканья за его спиной, которое становится

все более громким. - Кто положил подушку на мой стул?! Да еще такую

твердую, колючую, противную подушку - сидеть на ней на редкость неудобно!

 И он с новыми силами ворочается на этой удивительной подушке, тиская за

спиной что-то восторженно визжащее и пыхтящее, покуда наконец не

догадывается, что надо обернуться. За сим следует немаловажная сцена

узнавания и открытия, ею все представление и завершается. И эта игра от

стократного повторения не утрачивает очарования новизны, не делается менее

увлекательной.

 Но нынче не до забав! Беспокойство нависло в воздухе из-за предстоящего

празднества "больших", а "большим" еще надо успеть, распределив роли,

сходить в лавку за яйцами. Едва только Лорхен продекламировала "Рельсы,

рельсы, паровоз!", а доктор Корнелиус, к великому ее замешательству,

обнаружил, что одно ее ушко многим больше другого, как к Берту и Ингрид

присоединяется соседский мальчик Дани; Ксавер тоже уже сменил полосатую

ливрею на куртку и сразу стал походить на мальчишку, впрочем по-прежнему

щеголеватого и разбитного. Что ж, "детская Анна"

 и ее питомцы возвращаются наверх, в свой мирок, профессор, следуя

ежедневной привычке, скрывается за дверьми своего кабинета, чтобы

углубиться в чтение, а госпожа Корнелиус, всецело поглощенная мыслями об

итальянском салате и бутербродах с селедочным паштетом, спешит все это

приготовить до прихода гостей. К тому же она должна, захватив сумку,

съездить на велосипеде в город - нельзя же допустить, чтобы ее наличные

деньги еще больше обесценились, прежде чем она обратит их в хлеб насущный.

 Удобно расположившись в кресле, Корнелиус читает. Между его

указательным и средним пальцами дымится сигара. У Маколея он находит

,кое-какие сведения о возникновении государственного долга в Англии конца

семнадцатого века, а у французского автора - о росте задолженности в

Испании конца шестнадцатого, - то и другое пригодится ему для завтрашней

лекции. Поразительный экономический расцвет Англии он хочет

противопоставить пагубным последствиям, к которым ста годами ранее привело

Испанию увеличение государственной задолженности, и выяснить нравственные

и психологические основания данного различия.

 Кстати, это позволит ему перейти от Англии в царствование Вильгельма

Третьего, которой, собственно, и посвящена его лекция, к эпохе Филиппа

Второго и контрреформации, а это - конек Корнелиуса. Он сам написал на эту

тему примечательный труд, на который нередко ссылаются его коллеги: ему-то

он и обязан своим званием ординарного профессора истории. Сигара почти

докурена, пожалуй, под конец она становится чересчур уж крепкой, а меж тем

в его голове беззвучно складываются окрашенные легкой меланхолией фразы и

целые периоды, которые он завтра преподнесет своим студентам; он расскажет

им о безнадежно обреченной борьбе медлительного Филиппа против всего

нового, против хода истории, расскажет о разрушающем державу влиянии его

деспотической личности, о германской свободе, об осужденной жизнью и

отринутой богом борьбе косной знати против новых сил, против всего

передового. Корнелиус находит эти фразы удачными, но продолжает их

оттачивать, ставя на места использованные книги, да и потом, подымаясь к

себе в спальню, чтобы там полежать с закрытыми глазами и при закрытых

ставнях, - он нуждается в этом часе передышки, хотя, вернувшись от

умозрительных размышлений к действительности, понимает, что сегодня час

его отдыха протечет под знаком предпраздничных домашних непорядков. Он

улыбается тому, что одна мысль о вечеринке вызывает у нега сердцебиение;

плавные- фразы о Филиппе, облаченном в тяжелые черные шелка, мешаются с

мыслями о домашнем бале. Минут на пять он засыпает...

 Он лежит и дремлет, но ясно слышит, как у входной двери то и дело

заливается звонок, как хлопает садовая калитка. И каждый раз при мысли о

том, что юные гости уже здесь, уже собрались, толпятся в гостиной, он

вновь испытывает острое, как укол, чувство беспокойства, ожидания,

томительной неловкости; и каждый раз вновь и вновь внутренне усмехается

над этим уколом, хотя и понимает, что его усмешка тоже лишь проявление

нервозности, правда сдобренной толикой радости, - кто ж не радуется

празднику?.. В половине пятого, (на дворе уже темнеет) он встает и

подходит к умывальнику: вот уже год, как таз дал трещину. Это

перевертывающийся таз, но один шарнир вышел из строя, и починить его

нельзя:

 водопроводчика не дозовешься, нельзя купить и новый, - таких тазов

больше нет в матазинах. Пришлось его кое-как подвесить над мраморной

доской со стоком, и теперь, чтобы вылить воду, следует высоко поднимать

его двумя руками и перевертывать. Глядя на таз, Корнелиус качает головой,

как делает это много раз на дню, но затем тщательно готовится к выходу,

протирает под лампой до блеска и полной прозрачности стекла своих очков и

идет вниз, в столовую.

 Когда он спускается по лестнице, к нему сш!зу доносится пестрый шум

голосов и звуки- граммофона, который уже успели завести, и лицо его

немедленно принимает светски любезное выражение.

 "Пожалуйста, без церемоний, прошу вас! Только вге стесняйтесь!" -

скажет ан и проследует прямо; в столовую выпить стакан чаю. Это.,

приветствие кажется ему наиболее отвечающим данному моменту: оно прозвучит

весело и радушно, ему же самому послужит надежным укрытием.

 Гостиная залита светом. Горят все электрические свечи в люстре, за

исключением одной, которая давно перегорела. Остановившись на нижней

ступеньке лестницы, Корнелиус обозревает гостиную. Все здесь очень

выигрывает при ярком освещении; Хороши и копия Маре над камином из

обожженного кирпича, и деревянная панель, и красный ковер, на котором

группами стоят гости с чашками в руках, болтая и жуя бутерброды с

селедочным паштетом. Праздничная атмосфера - дыхание платьев, волос - веет

над гостиной, такая особенная, знакомая:, словно разбуженное воспоминание.

Дверь в переднюю отворена, так как гости- все прибывают.

 Толчея в гостиной ослепляет профессора: в первое мгновение дли него все

сливается в одно. Он даже не заметил, что совсем? рядом с ним, у лестницы,

стоит со своими приятелями Ингрид в открытом темном платье с белой

плиссированной отделкой. Она кивает ему и улыбается, показывая красивые

зубы.

 - Отдохнул? - тихонько, чтобы никто не услышал, шепчет она.

 И когда он с искренним удивлением узнает ее, Ингрид знакомит отца со

своими друзьями.

 - Позволь тебе представить господина Цубера, - говорит она, - а это

фрейлейн Пляйхингер.

 У господина Цубера довольно невзрачный вид, зато девица Пляйхингер

прямо-таки воплощенная Германия: она белокура, дебела; одета, впрочем,

крайне легкомысленно. Носик у нее вздернутый, а голос, как часто у полных

женщин, очень высокий, что тут же выясняется, когда она отвечает на

любезное приветствие профессора.

 - Рад видеть вас, - говорит он. - Как мило, что вы навестили нас...

 Вы одноклассница Ингрид?

 Господин Дубер - партнер Ингрид по гольф-клубу. Он трудится на

экономическом лоприще, то есть попросту работает в пивоварне своего

дядюшки. Профессор шутливо перекидывается с ним несколькими словами о

жиденьком пиве, будто и впрямь верит, что юный Цубер.имеет решающее

влияние на качество пива в стране.

 - Но, пожалуйста, без церемоний, не стесняйтесь, господа! - бросает он,

лорываясь пройт.и в столовую.

 - А вот и Макс явился! - говорит Ингрид. - Слушай, Макс, где ты шлялся

так поздно, бродяга, ведь танцы и игры не ждут!

 Все они между собою на "ты" и общаются друг с другом, на взгляд

стариков, более чем странно: сдержанностью, обходительностью, салонными

манерами эта молодежь не грешит.

 Юноша в белоснежной крахмальной сорочке с узким галстуком бабочкой,

какие носят к смокингу, идет из передней к лестнице и кланяется.

 Темноволосый, но розовощекий и, конечно, бритый, только на лисках

оставлены маленькие бачки, - он удивительно хорош собою, но не приторной,

назойливо-пылкой красотой цыгана-скрипача, - нет, у него приятная,

располагающая внешность вполне порядочного человека, нокоряюще-ласковые

черные глаза, и он даже еще не умеет достаточно хорошо носить свой смокинг.

 - Ну, ну, не ворчать, Корнелия! - говорит он. - Если бы негерундовская

лекция! - И Ингрид представляет его отцу как господина Гергезеля.

 Так вот какой этот господин Гергезель! Он учтиво благодарит хозяина,

пожимающего ему руку, за любезное приглашение.

 - Я жутко задержался... сплошная мура! - говорит он шутливо. - Надо же,

чтобы лекция именно сегодня затянулась до четырех часов!

 А потом еще пришлось заскочить домой переодеться... - И тут же

принимается рассказывать о своих туфлях-лодочках, которые сейчас в

передней причинили ему немало хлопот. - Я приволок их в сумке, -

повествует он. - Нельзя же, право, топать по вашему ковру в уличных

башмаках, но на меня нашло помрачение, я не захватил рожка и никак не мог

втиснуть ноги в туфли, ха-ха, вообразите! Вот так влип! Отроду не носил

таких тесных туфель. Номера перепутаны, верить им в нынешнее время никак

нельзя, и вдобавок их стали теперь шить из какой-то немыслимо жесткой

материи - взгляните-ка. Не кожа, а чугун! Едва не покалечил себе

указательный палец! - И он с наивным простодушием протягивает покрасневший

палец, снова повторяя, что "влип", да еще "премерэко влип"..

 Макс и в самом деле говорит точно так, как передразнивает его Ингрид:

 слегка в нос и растягивая слова. Но это не рисовка, просто так говорят

все Гергезели.

 Доктор Корнелиус выражает сожаление, -чаю в передней нет рожка для

обуви, и соболезнует гостю по поводу его пальца.

 - Ну, а теперь, пожалуйста, без церемоний, прошу вас, не стесняйтесь! -

говорит он. - Всего наилучшего! - и проходит в столовую.

 Там тоже полно гостей. Обеденный стол раздвинут во всю длину, и

молодежь распивает чай. Но профессор идет прямиком в свой уголок, где

стены обтянуты расшитой тканью и круглый столик, за которым он обычно пьет

чай, освещен особой лампой. Оказывается, и жена его здесь. Она беседует с

Бертом и еще двумя молодыми людьми. Один из них - Герцль, они знакомы.

Профессор здоровается с ним. Другого молодого человека зовут Меллер.

Похоже, что он из числа "перелетных птиц"; он не имеет, да и не желает

иметь благопристойного вечернего костюма (по правде сказать, они вообще-то

перевелись) и очень далек от того, чтобы разыгрывать из себя "денди" (да,

собственно говоря, и денди-то давно уж перевелись). Он щеголяет в куртке с

кушаком и в коротких брюках, у него лохматые волосы, длинная шея и роговые

очки. Меллер - банковский служащий, но, как сообщают профессору, кроме

того, подвизается и на поприще искусства, изучает фольклор, собирает и

поет народные песни всех стран и народностей. Вот и сегодня его попросили

принести гитару, но пока она еще висит в передней, упрятанная в клеенчатый

футляр.

 Актер Герцль низенького роста и тщедушен, зато у него буйно растет

борода, о чем свидетельствуют синеватые, густо запудренные щеки. Глаза у

него очень большие, пламенные, невыразимо скорбные; к тому же он не только

пудрится, но и не гнушается пускать в ход румяна: нежная розовость его

щек, безусловно, искусственного происхождения.

 "Странно, - думает профессор, - казалось бы, одно из двух: или скорбь,

или румяна. Вместе взятое это говорит о душевном разладе. Можно ли

румяниться от избытка скорби? Но, должно быть, в этом и заключается столь

чуждый нам "духовный строй артиста", допускающий подобные противоречия, а

возможно, и состоящий из таковых. Забавно, но все же надо быть с ним

полюбезнее. Это вполне закономерно, на том стоят артисты".

 - Не хотите ли кусочек лимона, господин придворный артист?

 Придворных артистов давно уже нет, но господину Герцлю приятно, когда

его так титулуют, хотя он поборник революционного искусства. Еще одно

противоречие, отличающее его духовный строй! Профессор не ошибается,

приписывая ему эту слабость, и льстит актеру, стремясь хоть сколько-нибудь

искупить тайное отвращение к нарумяненным щекам.

 - Премного благодарен, уважаемый господин профессор! - выпаливает

Герцль так поспешно, что если бы не незаурядная техника речи, он бы,

казалось, вывихнул себе язык. Он и вообще ведет себя в отношении хозяев,

прежде всего хозяина дома, с величайшей, можно даже сказать, унизительно

заискивающей почтительностью. Похоже, что его мучает совесть:.он не мог

противостоять внутренней потребности нарумяниться, теперь же, мысленно

ставя себя на место профессора, порицает себя за это и подчеркнутой

скромностью хочет умилостивить и задобрить все остальное не нарумяненное

человечество.

 За чаем завязывается беседа о собранных Меллером народных песнях,

испанских и баскских, с этих песен разговор перескакивает на новую

трактовку "Дон Карлоса" Шиллера - последняя премьера Государственного

театра. Дон Карлоса играет Герцль.

 - Надеюсь, - говорит он, - что мой Карлос вполне монолитный образ.

 Затем они начинают по косточкам разбирать остальных участников

спектакля, а также постановку и то, в какой мере театру удалось воссоздать

эпоху; и вот профессор уже втянут в привычное русло, уже рассуждает об

Испании времен контрреформации. Ему даже досадно, ведь он ничего такого не

сделал, отнюдь не повинен в том, что разговор принял то или иное

направление; и все же он опасается, что со стороны могло показаться, будто

он хотел блеснуть своей ученостью; озадаченный, он обрывает свое

рассуждение. Он рад появлению Лорхен и Байсера. На "маленьких" воскресные

платьица из голубого бархата, они тоже хотят по-своему принять участие в

празднике до того, как их уложат спать. Робея, широко раскрыв глаза, они

здороваются с гостями, покорно говорят, как их зовут и сколько им лет.

 Господин Меллер только внимательно смотрит на детей, но актер Герцль

выказывает неумеренный восторг и умиление. Он возводит очи горе, набожно

складывает руки, только что не благословляет "маленьких". Возможно, что

это идет от сердца, но привычка к условному сценическому действу делает

его слова и жесты невыразимо фальшивыми; кроме того, этим ханжеским

благоговением перед детьми он как бы искупает свои нарумяненные щеки.

 Гости уже встали из-за стола и теперь танцуют в гостиной, "маленькие"

тоже бегут туда, подымается и профессор.

 - Не скучайте же, веселитесь, пожалуйста! - говорит он, пожимая руки

Меллеру и Герцлю, одновременное ним вскочившим с мест. И уходит в свой

кабинет, в свое тихое царство; там он опускает жалюзи, зажигает настольную

лампу и садится за работу.

 Эта работа в конце концов не требует спокойной обстановки: несколько

писем, кое-какие выборки. Разумеется, сейчас Корнелиус немного рассеян.

 Он весь во власти мимолетных впечатлений - тут и жесткие туфли

господина Гергезеля, и тонкий голосок, послышавшийся из пышных телес

Пляйхингер. Он сидит и пишет или, откинувшись в кресле, смотрит в

пространство, а мысли его убегают к баскским песням, собранным Меллером, к

преувеличенному смирению и фальшивому пафосу ГерЦля, к "его"

 Карлосу, ко двору Филиппа Второго. "Странная, таинственная штука -

разговоры, - думает он. - Они податливы и сами собой сворачивают на то,

что тебе всего интереснее". Он замечал это уже не раз. Между тем он

прислушивается и к шумам домашнего бала, впрочем весьма умеренным. До него

доносится только невнятный говор, не слышно даже шарканья. Да они,

собственно, и не шаркают, не кружатся, а как-то странно шагают по ковру,

который им нисколько не мешает, и ведут своих дам не так, Как было принято

в дни его юности, и все это под граммофонную музыку, сейчас больше всего

занимающую Корнелиуса, - под эти диковинные мелодии нового мира, в

джазовой оркестровке, гремящей ударными инструментами; граммофон отлично

воспроизводит их медные звуки, равно как и отрыви стое щелканье кастаньет;

это щелканье тоже отдает джазом, а отнюдь не Испанией. Да, да, не

Испанией! И тут он снова возвращается в русло при вычных мыслей.

 Полчаса спустя Корнелиуса осеняет мысль, что с его стороны было бы

очень мило внести свой вклад в это празднество в виде сигарет. Не годится,

думает он, чтобы молодые люди курили у него в доме собственные сигаре ты,

хотя им самим это, пожалуй, даже невдомек. Он идет в опустевшую столовую,

извлекает из своего запаса в стенном шкафчике коробку сига peт, - надо

сказать, не из лучших, вернее, не из тех, какие он предпочитает, - эти, на

его взгляд, слабоваты и слишком длинны, и он ими поступится охотно, раз

представился такой случай, а для молодежи хороши и такие.

 С сигаретами он идет в гостиную; улыбаясь, помахивает коробкой в

воздухе, раскрывает ее, ставит на камин и, немножко постояв, уже чувствует

себя вправе удалиться.

 Сейчас как раз перерыв в танцах, граммофон безмолвствует. Вдоль стен

гостиной, возле старинного столика с гербами, в креслах перед камином, кто

стоя, кто сидя, непринужденно болтают молодые люди. На ступеньках

внутренней лестницы, на потрепанной плюшевой дорожке, амфитеатром

расположились юноши и девушки: например, Макс Гергезель рядом с дебелой

Пляйхингер, которая не сводит с него глаз, в то время как он, полулежа,

размахивает рукой и что-то ей рассказывает... Середина гостиной пуста;

только под самой люстрой, нескладно обнявшись, бесшумно, сосредоточенно,

завороженно кружатся двое "маленьких" в своих голубых платьицах. Проходя

мимо, Корнелиус нагибается, говорит несколько ласковых слов, гладит детей

по головкам, но они не отвлекаются от своего маленького и очень важного

дела. У двери своего кабинета он оглядывается и видит, как студент,

будущий инженер Гергезель, вероятно, потому, что заметил профессора,

соскакивает со ступеньки, разлучает Лорхен с братом и, без музыки,

начинает препотешно с нею танцевать. Согнув колени и присев на корточки,

почти как сам Корнелиус, когда тот гуляет с "(четырьмя господами", силясь

обнять и вести ее как взрослую даму, он проходит со смущенной Лорхен

несколько на шимми. Те, кто их видит, смеются до упаду, и это как бы

служит толчком вновь завести граммофон и всем сообща пуститься танцевать.

Взявшись за ручку двери, профессор покачивает головой, плечи его

вздрагивают от смеха, затем он уходит к себе. Улыбка еще несколько

мгновении не сходит с его лица.

 Затененная абажуром, на столе горит лампа, он снова листает свои книги

и пишет - надо разделаться хоть с мелкими обязательствами. Немного погодя

он замечает, что общество перекочевало из гостиной в будуар его жены. Эта

комната сообщается с его кабинетом и с гостиной. Оттуда доносится говор, в

него вплетаются вкрадчивые звуки гитары. Стало быть, господин Меллер

сейчас будет петь. Да, вот он и запел. Аккорды гитары звучно вторят

сильному басу банковского служащего, он поет на чужом языке, кажется, на

шведском, профессор не может этого определить до конца песни, встреченной

шумным одобрением. Дверь в будуар завешена портьерой, заглушающей звуки.

Когда Меллер начинает новую песню, Корнелиус тихонько переходит туда.

 В комнате - полумрак, горит только затемненная стоячая лампа, а под нею

на низкой оттоманке сидит Меллер, поджав ноги и пощипывая большим пальцем

струны гитары. Остальные расположились как попало, все равно для всех

места не хватает. Одни стоят, другие, и девушки в том числе, сидят просто

на полу, на ковре, обняв колени руками или вытянув ноги.

 Гергезель, хоть он и в смокинге, тоже уселся прямо на пол у ножек

рояля, а рядом с ним, разумеется, фрейлейн Пляйхингер. И "маленькие" здесь.

 Сидя в своем кресле напротив певца, госпожа Корнелиус держит обоих на

коленях. Байсер, маленький невежа, не обращая внимания на певца, вдруг

начинает громко говорить, ему грозят пальцем, на него шикают - оробев, он

замолкает. Лорхен никогда бы так не оплошала. Тихо и кротко сидит она на

коленях матери. Профессору хочется исподтишка подмигнуть своей девочке, он

ищет ее взгляда, но Лорхен его не видит, хотя, кажется, не видит и певца.

Она думает о чем-то своем. Меллер поет "Joli tambour": ["Пригожий

барабанщик" (фр.)] Sire, mon roi, donnez-moi votre iille... [Государь, мой

король, отдайте мне вашу дочь (фр.)] Все восхищены. "Прелестно!.." -

слегка в нос, на свой особый, гергезелевский манер тянет Макс. Потом

господин Меллер поет по-немецки.

 Он сам написал музыку к этой песенке.

 Юное общество встречает и ее бурными восторгами.

 Нищенка бабенка собралась на богомолье пойти.

 Иейюхе!

 Нищий муженек думает о том, как бы с ней пойти.

 Ти дельдумтей де!

 Эта веселая песенка нищих всех приводит в восхищение. "Чудо как

хорошо!.." - опять же на свой гергезелевский манер тянет Макс. За сим

следует нечто венгерское, тоже "коронный номер", хоть и на никому не

понятном языке. И Меллер опять пожинает лавры. Профессор тоже аплодирует,

с подчеркнутой горячностью. Этот экскурс в историю, в искусство прошлого,

среди фокстротной одержимости, кажется ему светлым проблеском, согревает

его сердце. Корнелиус подходит к певцу, приносит поздравления,

расспрашивает о песнях, об источниках, какими тот пользовался, и Меллер

обещает принести профессору свой сборник песен и нот.

 Корнелиус с ним подчеркнуто любезен еще и потому, что, по обыкновению

всех отцов, тотчас же начинает сопоставлять возможности и дарования чужого

юноши с сыновними, испытывая при этом горечь, зависть и стыд.

 Взять хотя бы этого Меллера - примерный банковской служащий (он понятия

не имеет, так ли уж примерно трудится в своем банке Меллер), к тому же у

него несомненно особый талант, для совершенствования которого, конечно,

понадобилось немало знаний и упорства. Тогда как мой бедный Берт ничего не

знает, ничего не умеет и способен только гаерничать, хотя у него, пожалуй,

и на это недостает способностей! Стараясь соблюсти беспристрастность, он

тешит себя мыслью, что Берт как-никак недурной мальчик, возможно даже с

лучшими задатками, чем преуспевающий Меллер. Как знать, возможно, где-то в

глубине у него и бьется поэтическая жилка или еще что-либо эдакое, а

танцевально-кабацкие затей - пустое мальчишество, блуждающие огоньки в

трясине наших дней. Но отцовская зависть и пессимизм пересиливают. И когда

Меллер начинает новую песню, доктор Корнелиус уходит к себе.

 Время близится к семи, а его внимание по-прежнему не сосредоточено;

вдруг он вспоминает о коротеньком деловом письме - его отлично можно

написать сейчас и таким образом убить время, - вот уже и половина

восьмого. В половине девятого подадут итальянский салат, стало быть, надо

поскорее выйти, опустить письма и получить в зимней мгле причитающуюся ему

толику воздуха и моциона. В гостиной давно уже возобновились танцы, а ему

надо пройти через нее, чтобы попасть в прихожую к своему пальто и галошам,

но теперь это не смущает профессора, его лицо уже примелькалось молодым

людям, он уже старый знакомый и не стеснит их. Он убирает свои бумаги,

берет письма, выходит и даже на минутудругую задерживается около жены,

которая сидит в кресле у двери его кабинета.

 Она сидит и смотрит, иногда к ней подходят "большие" или кто-нибудь из

гостей. Корнелиус остается стоять рядом и тоже, улыбаясь, приглядывается к

веселью, теперь явно достигшему кульминационной точки. Есть здесь и другие

зрители: "сизая Анна", исполненная суровой добродетели, стоит у самой

лестницы, так как "маленькие" всё не навеселятся всласть, и она считает

себя обязанной присматривать за Байсером, чтобы он не слишком порывисто

кружился: при его "густой крови" это может стать опасным. Но и подвальные

жители хотят полюбоваться на развлечения "больших": дамы Хинтерхефер и

Ксавер стоят у двери в буфетную и смотрят во все глаза. Фрейлейн

Вальбурга, старшая из деклассированных сестер, так сказать олицетворяющая

собою кухню (называть ее кухаркой не следует, ей это не по нраву), смотрит

на бал своими карими глазами через шлифованные стекла круглых очков, дужки

которых она обмотала холщовой тряпочкой - чтобы не давили переносицу. Это

благодушная, потешная особа, тогда как фрейлейн Цецилия, младшая, хотя

отнюдь не молодая ее сестра, блюдет достоинство бывших представительниц

третьего сословия, отчего с ее лица не сходит величаво-спесивое выражение.

Фрейлейн Цецилии очень горько оттого, что из мелкобуржуазной сферы она

низринута в подвал для прислуги. Она решительнейшим образом отказывается

надеть наколку или что бы то ни было, свидетельствующее о ее положении

горничной, и самые мрачные мгновения ее жизни наступают регулярно каждую

среду, когда Ксавер уходит со двора и ей приходится подавать ужин. Она

ставит блюда на стол, отвернув лицо и сморщив нос, - поистине свергнутая

королева! Истинная мука смотреть на ее унижение, и однажды, когда

"маленькие" случайно ужинали со взрослыми, оба они, взглянув на Цецилию,

как по команде, громко зарыдали.

 Подобные терзания незнакомы юному Ксаверу. Он не без удовольствия

прислуживает за столом и справляется с этим делом достаточно ловко.

 Ловкость у него равно врожденная и благоприобретенная, так как раньше

он служил младшим кельнером в ресторане. Во всем прочем он совершенный

бездельник и ветрогон не без положительных черт, как утверждают его

нетребовательные хозяева, - но все же совершенный бездельник. Надо брать

его таким, как есть, и не требовать, чтобы на терновнике росли винные

ягоды. Он дитя и плод нынешнего безвременья, типичный представитель своего

поколения, лакей революционной поры, симпатичный большевик. Профессор

прозвал его "распорядителем балов", так как чуть дело коснется чего-либо

небудничного и забавного, Ксавер чувствует себя как рыба в воде и

становится необыкновенно услужлив и расторопен. Но вот представление о

долге ему совершенно чуждо, и приневолить его к выполнению ежедневных

уныло-однообразных обязанностей так же Невозможно, как невозможно

приневолить иных собак прыгать через палку.

 Видимо, это противно самой его природе, а потому обезоруживает и

настраивает примирительно. Но если происходит что-либо необычное,

чрезвычайное, забавное - он готов хоть среди ночи вскочить с постели. В

будни же поднимается не раньше восьми часов; валяется, да и все, - не

прыгает через палку. Но проявления Ксаверова непутевого бытия - звуки его

губной гармошки, его сиплое, зато преисполненное чувства пение, его

залихватское посвистывание - день-деньской несутся снизу из кухни, а дымом

его сигарет насквозь пропитан весь подвальный этаж. Дамы, потерпевшие

социальное крушение, трудятся не покладая рук, а он стоит и глазеет на них.

 По утрам, когда профессор завтракает, Ксавер отрывает листок календаря

на его столе и больше ничего в кабинете не убирает. Доктор Корнелиус много

раз приказывал ему оставить календарь в покое, ведь Ксавер не прочь заодно

оторвать и следующий листок - что уже может нарушить для профессора ход

времени" Но эта работа - отрывать листки - по душе юному Ксаверу, и он не

намерен от нее отказаться.

 Ксавер любит детей, и это, несомненно, одна из самых привлекательных

черт его характера. Он простодушно играет с "маленькими", искусно мастерит

для них всякую ерунду, а иногда, шлепая толстыми губами, даже читает им

вслух, что производит несколько странное впечатление. Кино он любит

страстно; придя оттуда, впадает в уныние, в тоску, разражается длинными

монологами. Смутная мечта, что однажды он и сам будет принадлежать к миру

кино, что именно там ему улыбнется счастье, владеет им. Основанием для

этой мечты служат кудри, отбрасываемые со лба, ловкость, удаль. Он часто

влезает на ясень перед домом - высокое, шаткое дерево - и, карабкаясь с

ветки на ветку, добирается- до самой верхушки, так что всякого, кто глядит

на него снизу, берет страх и оторопь. Там, наверху, он закуривает сигарету

и, раскачиваясь, как на качелях, отчего высокий ствол сотрясается до самых

корней, высматривает кинорежиссера, который рано или поздно придет этим

путем, чтобы его ангажировать.

 "Если бы Ксавер сменил свою полосатую лакейскую куртку на пиджачный

костюм, он запросто мог бы принять участие в танцах, ничем не выделяясь

среди остальных гостей. Друзья-приятели "больших" являют собой довольно

пестрое зрелище: мало кто из молодых людей одет в вечерний костюм,

большинство художественным беспорядком в одежде смахивает на песенника

Меллера - это относится не только к юношам, но и к представительницам

прекрасного пола. Стоя у кресла жены, профессор озирает картину бала, он

понаслышке знает кое-что о социальном положении присутствующей здесь

молодежи. Это гимназистки, студентки, девушки, работающие в художественной

промышленности. Но среди мужчин попадаются и отъявленные проходимцы,

темные дельцы - порождение своего времени; на этот скользкий путь их,

конечно, толкнула нынешняя жизнь. Бледнолицый верзила с жемчужными

запонками, сын зубного врача - всего-навсего биржевой маклер, но, если

верить молве, преуспевает в этом качестве не хуже Аладдина с его волшебной

лампой. У него есть автомобиль, он закатывает пиры с шампанским и по

любому поводу или даже без повода дарит своим друзьям ценные безделушки из

золота и перламутра. Он и сегодня принес подарки молодым хозяевам: Берту -

золотой карандашик, Ингрид - огромные серьги кольцами,- настоящее

дикарское украшение; слава богу, их не приходится вдевать в уши, они

держатся просто на зажимах. Подбежав к родителям, "большие" хвалятся

своими подарками, а те, разглядывая их, только качают головой: Аладдин же,

стоя поодаль, несколько раз им кланяется.

 Молодежь рьяно танцует, если можно назвать танцем занятие, которому они

сосредоточенно предаются. Как-то по-особому прильнув друг к Другу, придав

новомодный изгиб телу, животом вперед, слегка покачивая бедрами, словно

завороженные чьим-то тайным повелением, они медленно ходят по ковру, не

зная усталости, - да и можно ли от этого устать? Здесь не увидишь ни

вздымающейся груди, ни пылающих волнением щек. Иногда две девушки танцуют

друг с другом, а не то и двое молодых людей. Им все равно, они просто

шагают взад и вперед под экзотические завыванця граммофона, в который

нарочно вставлены толстые иголки, чтобы еще громче звучали эти шимми,

фокстроты, уанстепы, все эти дубль-фоксы, африканские шимми, яванские

пляски и креольские польки - дикарские пряные мелодии, то

изнемогающе-томные, то бодрые, как,военный марш, или негритянская музыка с

чуждыми ритмами, монотонная, только что приукрашенная нарядной

оркестровкой - звоном и громом ударных инструментов.

 - Что это за пластинка? - спрашивает Корнелиус у Ингрид, проходящей

мимо него в паре с бледнолицым маклером. Сравнительное изящество замысла и

отдельные недурные подробности примиряют его с влекущей томностью

сыгранной сейчас вещицы.

 - Князь Паппенгейм, "Утешься, милая детка!" - отвечает Ингрид, приятно

улыбаясь и показывая при этом свои белые зубы.

 Табачный дым колышется под люстрой. Чад празднества сгустился,

суховато-сладкий, плотный, насыщенный всевозможными запахами, - в каждом,

кто был в юности достаточно восприимчив к впечатлениям жизни, он будит

воспоминания о страданиях незрелой души.

 "Маленькие" все еще в гостиной. Они так рады празднику и тому, что им

позволили побыть здесь до восьми часов. Гости свыклись с их присутствием,

малыши в какой-то мере стали неотъемлемой принадлежностью вечера. Вышло

так, что они разлучились. Байсер в своем голубом бархатном платьице

одиноко кружится на середине ковра, а Лорхен препотешно гоняется за одной

из танцующих пар, пытаясь ухватиться рукой за смокинг кавалера. Кавалер -

Макс Гергезель, дама - фрейлейн Пляйхингер.

 Они так красиво ступают, что смотреть на них - истинное наслаждение.

 Что ж, и дикие танцы современности могут радовать глаз, если их танцуют

искусно. Молодой Гергезель прекрасно ведет свою даму, по всем правилам и в

то же время непринужденно. Как изящно делает он пресловутый "шаг назад",

когда его не теснят соседние пары. Но и "шаг на месте", даже в самой

давке, получается у него удивительно изящно, чему немало способствует

податливая гибкость партнерши, оказавшейся на диво грациозной, как,

впрочем, многие полные женщины. Прильнув друг к другу, они весело болтают,

видимо даже не замечая настойчиво преследующей их Лорхен. Но остальных

веселит упорство девочки, и когда все трое оказываются возле доктора

Корнелиуса, он пытается поймать свою маленькую и притянуть ее к себе.

Лорхен, чуть не плача, увертывается от него; сейчас она и знать ничего не

хочет об "Абеле", не нужен он ей. Упершись ручонками ему в грудь,

отворотив свое милое, личико, возбужденная, рассерженная, она спешит

удрать от него.

 Профессор не в силах подавить в себе горькой обиды. В это мгновение он

ненавидит бал, отравивший своей сумятицей сердце его дочурки, разлучивший

его с нею. Его любовь, несколько предвзятая и в корне своем не совсем

безупречная, легко ранима. Улыбка не сходит с его лица, но печальный

взгляд бесцельно устремлен на узор ковра.

 - Не пора ли маленьким спать? - говорит он жене. Но она просит его

повременить хоть четверть часика: вся эта сутолока так нравится детям. Он

соглашается, - улыбка опять уже играет на его лице, - покачивает головой,

минуту-другую еще стоит подле жены, а потом идет в переднюю, до отказа

заваленную пальто, шалями, шляпами и галошами.

 Покуда он разыскивает в этом хаосе свои вещи, в переднюю, отирая лоб

носовым платком, входит Макс Гергезель.

 - Господин профессор, - говорит он, растягивая слова на свой,

гергезелевский манер, - кажется, собрались прогуляться. - И, как подобает

благовоспитанному молодому человеку, бросается помогать Корнелиусу. - Ну и

влип же я со своими туфлями! Жмут, не хуже Карла Великого.

 Оказывается, эти штуковины мне просто не впору, и дело не только в

жестской коже, они так жмут, вот здесь, на ноготь большого пальца, -

произнося эту тираду, он стоит на одной ноге, держа другую обеими руками,

- что никакого терпения не хватает! Надену лучше уличные башмаки, и дело с

концом... О, разрешите мне помочь вам!

 - Нет, нет, благодарствуйте! - говорит Корнелиус. - Не беспокойтесь,

прошу вас. Кончайте лучше со своими мучениями. Право же, вы слишком

любезны, - добавляет он, когда Гергезель, опустившись на одно колено,

застегивает ему пряжки на ботах.

 Растроганный почтительной и простодушной услужливостью, профессор

испытывает искреннюю благодарность.

 - Желаю вам еще хорошенько повеселиться! Главное, скорей переобуйтесь!

Когда туфли жмут, разумеется, не до танцев! Обязательно снимите их! Всего

доброго, пойду немножко подышать воздухом!

 - Сейчас буду опять танцевать с Лорхен! - кричит ему вдогонку Макс. -

Танцорка будет - первый сорт, когда подрастет, ручаюсь головой!

 - Вы полагаете? - говорит профессор уже с порога. - Ну, да вам и карты

в руки. Смотрите только поосторожней, не повредите себе позвоночника,

сгибаясь в три погибели! - Кивнув головой, Корнелиус уходит. "Славный

мальчик, - думает он, выходя из дома. - Студент, а там, глядишь, и

инженер, все ясно, все в порядке. К тому же недурен собой и умеет держать

себя в обществе!" И снова отцовская зависть, тревога за своего бедного

Берта одолевают его, и снова будущее чужого юноши представляется ему в

розовом свете, а будущее сына - в черном.

 Так начинает доктор Корнелиус свою вечернюю прогулку.

 Он идет по аллее, затем, перейдя через мост, дальше по набережной до

следующего моста. Погода сырая, пронизывающая, сеет снежок. Подняв

воротник, зацепив рукоятку палки за плечо, Корнелиус, чтобы прочистить

легкие, глубоко вдыхает холодный вечерний воздух. Как и всегда, во время

прогулки он занят мыслями о своей науке, о завтрашней лекции и сейчас уже

подыскивает слова, в которых будет говорить о Филиппе Втором и его борьбе

с немецкой Реформацией. Грустными и справедливыми должны быть эти слова.

Да, да, прежде всего справедливыми! Справедливость - душа науки, основной

принцип познания, и для молодежи только ее свет должен озарять

исторические события. Как ради морального их воспитания, так и по

соображениям гуманно-личного характера, чтобы не оскорбить этих молодых

людей, даже косвенно не задеть их политических убеждений, которые в наши

дни так многоразличны и взаимно противоположны. Горючего материала здесь

хоть отбавляй, и ничего не стоит вызвать шум и свист одной части

аудитории, даже скандал, если возьмешь сторону тех или иных

антагонизирующих исторических сил. "Но взять сторону, - думает он, -

неисторично, исторична только справедливость. И, конечно, под этим углом и

по здравом размышлении,.. Справедливость не юношеский пыл, не бравая,

бездумная скоропалительность, а меланхолия; и потому что она - по самой

своей природе - меланхолия, то и тяготеет ко всему, что отмечено

меланхолией, и втихомолку держит сторону не бравой скоропалительности, а

того, что не имеет перед собой будущего. Словом, она возникла из тяготения

к бесперспективному и без такого тяготения была бы невозможна. Что же,

справедливости вообще не существует?" - спрашивает себя профессор и так

углубляется в эту мысль, что письма в почтовый ящик у следующего моста

опускает уже машинально, и затем поворачивает назад.

 Эта неотвязная мысль для науки разрушительна, но в то же время она и

сама наука, дело ее совести, психологии, а потому должна быть взята на

учет, по долгу совести и вполне без предрассудков, как бы она тебе ни

мешала... Во власти этих смутных догадок профессор возвращается домой.

 У парадного стоит Ксавер и, видимо, дожидается его.

 - Господин профессор, - говорит он, шлепая толстыми губами, и,

встряхнув головой, откидывает назад волосы. - Поживей ступайте-ка наверх к

Лорхен. Ну и дела!

 - Что случилось? - с испугом спрашивает Корнелиус. - Заболела?

 - Не то чтоб заболела, - отвечает Ксавер, - так накатило на нее, -

плачет девчоночка, прямо в три ручья разливается. А все тот господин

виноват, что с ней танцевал, ну этот франт, как его... господин Гергезель.

 Из гостиной никак было ее не, увести, ну нипочем, а теперь ревмя ревет.

 Вот уж напасть, прямо беда!

 - Вздор! - говорит профессор, входит в переднюю и швыряет как попало

свою одежду. Он молча распахивает завешенную портьерой стеклянную дверь и,

не глядя на танцующие пары, сворачивает направо, к лестнице. Наверх он

взбегает через две ступеньки и через верхнюю прихожую, и небольшой

коридорчик идет прямо в детскую, сопутствуемый Ксавером, который остается

у двери.

 В детской еще горит свет. По стенам тянется расписанный пестрыми

картинками фриз, на большой полке в беспорядке накиданы игрушки,

лошадь-качалка, с алыми лакированными ноздрями, стоит, упираясь копытами в

гнутые раскрашенные полозья, а на покрытом линолеумом полу валяются дудка,

кубики, вагончики...

 Белые кроватки с сетками поставлены совсем близко друг от друга.

 Кроватка Лорхен в углу у окна, Байсера - чуть поближе к середине

комнаты.

 Байсер спит. Как и всегда, он звучным голосом прочитал молитву, не без

подсказки "сизой Анны", и тотчас же словно провалился в сон, в бурный,

пылающий багрянцем, непробудно крепкий сон; теперь хоть пали над ним из

пушек - не услышит; руки со сжатыми кулачками закинуты на подушку, волосы

неловко нахлобученного "паричка" слиплись в яростном сне.

 Кроватку Лорхен обступили женщины. Кроме "сизой Анны", у самой сетки

стоят дамы Хинтерхефер, оживленно переговариваясь то с нею, то между

собой. Когда входит профессор, они поспешно отступают в сторону, и тут он

видит Лорхен: бледная, она сидит среди своих маленьких подушек и плачет

так горько, как никогда еще не плакала на памяти доктора Корнелиуса.

 Красивые маленькие руки беспомощно лежат на одеяле, ночная рубашка,

отороченная узкимл кружевами, соскользнула с хрупкого, как у воробышка,

плеча, а голова, любимая эта головка, со слегка выдавшимся вперед

подбородком, точно цветок сидящая на тонком стебле шейки, запрокинута

назад, так что плачущие глаза Лорхен устремлены наверх, в угол между

потолком и стеной, и кажется, будто она поверяет свою великую беду кому-то

невидимому. Но, может быть, девочка просто содрогается от рыданий и оттого

покачивается и никнет ее головка, а подвижной рот с изогнутой верхней

губкою полураскрыт, как у маленькой mater dolorosa [Скорбящей божьей

матери (лат.)]. Потоки слез льются из ее глаз, и она не перестает

испускать тихие жалобные стоны, нисколько не похожие на преувеличенные,

надсадные вопли маленьких неслухов; о большом и настоящем сердечном горе

свидетельствуют эти стоны, и у профессора, который вообще не в силах

видеть плачущей Лорхен, а плачущей так, как сейчас, он никогда ее не

видел, вызывают чувство нестерпимого сострадания.

 И в первую очередь это чувство оборачивается острым раздражением против

толкущихся здесь дам Хинтерхефер.

 - Полагаю, - говорит он, повысив голос, - что стол еще не накрыт к

ужину. Но все хлопоты, видимо, возлагаются на госпожу Корнелиус?..

 Для чуткого слуха представительниц третьего сословия этого

предостаточно. Разобиженные, они удаляются; ко всем неприятностям, еще

Ксавер Клейнсгютль, стоя в дверях, строит им вдогонку насмешливые гримасы.

 Выходец из низов общества и, так сказать, с младых ногтей к этому

обстоятельству привыкший, но обожает подтрунивать над социальным падением

дам.

 - Девочка моя, девочка, - сдавленным голосом говорит профессор и,

опустившись на стул возле кровати, обнимает маленькую страдалицу. - Что же

это случилось с моей девочкой?

 Лорхен орошает его лицо слезами.

 - Абель... Абель... - запинаясь и всхлипывая, бормочет она. - Зачем...

Макс... не мой брат? Пусть... Макс... будет мой брат!..

 "Какая беда, какая непоправимая беда!.. Вот что натворили эти танцы,

этот бальный угар!" - думает Корнелиус и, нe зная, что предпринять,

смотрит на "сизую Анну", которая, скрестив руки на фартуке, степенная и

суровая, стоит в ногах кроватки.

 - Все оттого, - изрекает она многозначительно и строго, поджимая нижнюю

губу, - что в ребенке женские чувства заговорили.,.

 - Попридержите свой язык, - сердито отвечает Корнелиус. Хорошо хоть,

что Лорхен не отталкивает,- не прогоняет его, как тогда в гостиной, а

беспомощно льнет к нему, неразумно упрямо твердя только одно: "Пусть Макс

будет мой брат..." - и, жалобно всхлипывая, просится обратно в гостиную:

пусть Макс еще потанцует с ней! Но Макс танцует с Пляйхингер, дебелой

особой, имеющей все права на него, Лорхен же никогда еще не казалась

терзаемому жалостью профессору таким малым воробышком, как сейчас, когда

она, вся дрожа, жмется к нему, не понимая, что случилось с ее бедным

маленьким сердечком. Где ей понять, что она страдает из-за дебелой,

взрослой Пляйхингер, которая может до упаду танцевать в гостиной с Максом,

тогда как Лорхен это было дозволено один только раз, и то в шутку, хотя

она куда милее. Но молодой Гергезель здесь ведь ни при чем, безумием было

бы поставить ему это в вину. Страдания Лорхен - противозаконны и

бесправны, значит, необходимо их скрывать. Но ее чувство безрассудно, а

потому и безудержно. Вот в чем беда! "Сизая Анна" и Ксавер, правда, не

видят этой беды, но, верно, по глупости или в силу душевной черствости.

Отцовское же сердце истерзано стыдом и страхом перед этим и

противозаконным бесправным чувством.

 Тщетно внушают бедной Лорхен, что у нее и без того есть отличный

маленький братик - беспробудно спящий рядом Ба-йсер. Сквозь слезы она

пренебрежительно смотрит на сбседнюю кроватку и требует Макса. Не

действуют на нее ни обещание профессора, что завтра они, "пятеро господ",

будут гулять по столовой хоть до самого вечера, ни интереснейшие

подробности, которые он собирается, еще до обеда, внести в игру с подушкой.

 Ничего она об этом знать не хочет и также не хочет положить голову на

подушку и уснуть.

 Но вдруг оба они - Абель и Лорхен - начинают прислушиваться: что ж это

совершается там? Шаги... двое шагают по коридору... и вот чудо свершилось,

оно уже на пороге детской...

 Ну разумеется, тут расстарался Ксавер!

 Ксавер Клейнсгютль не только торчал у двери, глумясь над изгнанными из

детской дамами. Он пораскинул мозгами и решил кое-что предпринять.

Спустился в гостиную, потянул за рукав господина Гергезеля, шлепая

толстыми губами, что-то рассказал ему и о чем-то попросил. И вот они оба

здесь. Сделав свое дело, Ксавер опять стоит у двери, но Макс Гергезель, в

смокинге, с чуть приметными бачками на щеках, улыбающийся, черноглазый,

идет через комнату прямо к кроватке Лорхен - идет в горделивом сознании

своей роли принца, дарящего счастье, рыцаря Лоэнгрина, с уст которого

вот-вот сорвутся слова: "Я здесь, а значит, нет ни бед, ни горя".

 Корнелиус потрясен почти так же, как и сама Лорхен.

 - Смотри-ка, - говорит он едва слышно, - кто к нам пришел! Как это

любезно со стороны господина Гергезеля!

 - Уверяю вас, господин профессор, никакой любезности здесь нет, -

отвечает Макс. - Вполне понятно, что мне захотелось еще разок взглянуть на

даму, с которой я танцевал, и пожелать ей спокойной ночи.

 И он подходит к онемевшей Лорхен в зарешеченной кроватке. Она блаженно

улыбается сквозь слезы. Высокий, звенящий звук, сладостный вздох счастья

слетает с ее губ, затем она молча поднимает на рыцаря Лоэнгрина свои

золотистые глаза, чуть распухшие и покрасневшие, но насколько же они

красивей глаз дебелой Пляйхингер. Лорхен не простирает рук, не пытается

обвить ими шею Макса. Ни счастья, ни горя своего она не понимает, - но она

этого не делает. Прелестные маленькие руки попрежнему тихо лежат на

одеяле, а Маке опирается локтями на решетку кроватки, как на перила

балкона.

 - "Кто в жизни целыми ночами на ложе, плача, не сидел!" - И он

исподтишка взглядывает на профессора, ожидая одобрения своей эрудиции. -

Ха-ха-ха, "утешься, милое дитя"! Ты так мила. Я уже вижу тебя взрослой!

Смотри только, не подурней! Оставайся такой, как есть! Ха-хаха! В ее-то

годы! Ну, а теперь баиньки! Не будешь больше плакать, раз я пришел к тебе,

маленькая Лорелея, да?

 Лорхен просветлела и глядит на него. Худое, как у воробышка, плечо

оголилось, профессор старается натянуть на него рукавчик, обшитый

кружевом. На ум ему невольно приходит сентиментальная история о ребенке,

который, умирая, все просил, чтобы к нему привели клоуна из цирка, однажды

только виденного, но не забытого. В костюме, расшитом серебряными

мотыльками, клоун явился к ребенку в его смертный час - и дитя почило в

мире. Макс Гергезель не расшит мотыльками. Лорхен, слава богу, не при

смерти, на нее только "накатило", в остальном же, право, эта история - в

том же духе. И чувство профессора к Юному Гергезелю, который стоит,

небрежно прислонясь к кроватке, и без удержу болтает - впрочем, больше для

отца, чем для ребенка, - Лорхен об этом, конечно, и не подозревает, -

являет собой диковинное сплетение признательности, замешательства,

ненависти и восхищения.

 - Доброй ночи, маленькая Лорелея! - говорит Гергезель, протягивая ей

поверх сетки руку.

 Крошечная, красивая, белая ручка исчезает в большой, сильной,

красноватой руке.

 - Спи спокойно, и пусть тебе приснятся сладостные сны! Только, боже

упаси, не я! Ха-ха-ха, в ее-то годы!

 На этом завершается посещение сказочного клоуна, Корнелиус провожает

его до дверей.

 - Не стоит благодарности! Помилуйте, за что же меня благодарить! -

великодушно и учтиво обороняется Макс. Он уходит, и Ксавер за ним - внизу

уже пора подавать итальянский салат.

 Но доктор Корнелиус возвращается к Лорхен; теперь она улеглась,

склонила свою головку на плоскую маленькую подушку.

 - Вот видишь, как хорошо все вышло, - говорит он, с нежностью оправляя

на нбй одеяльце, она кивает ему и всхлипывает напоследок. Еще добрых

четверть часа сидит он у сетки и смотрит, как она погружается в дремоту,

следуя примеру Байсера, который давным-давно спит сном праведника.

Шелковистые каштановые волосы Лорхен, как обычно во сне, свиваются в

красивые, кольца, за сомкнутыми ресницами прячутся глаза, выплакавшие

столько горя, ангельский рот с изогнутой, припухлой верхней губкой

приоткрыт в сладостном умиротворении, и запоздалое всхлипывание только

изредка прерывает тихое и мерное дыхание.

 И как спокойно лежат ее ручки - бело-розовые ручки-лепестки, одна на

голубом стеганом одеяле, другая под щекой на подушке. Сердце доктора

Корнелиуса полнится нежностью.

 Какое счастье, думает он, что с каждым вздохом Лорхен Лета струит

дремотное забвенье в ее маленькое сердце, что в детстве такая ночь ложится

непроходимой пропастью между сегодня и завтра. Наутро молодой Гергезель,

конечно же, станет лишь бледной тенью, бессильной причинить ей какое бы то

ни было горе, и веселость - еще.не подвластная воспоминаниям - обяжет

Лорхен вернуться к увлекательной игре в подушку, к прогулке "пятерых

господ", вместе с "Абелем" и Байсером.

 Так возблагодарим же небо!

 1926

 Томас Манн.

 Смерть в Венеции

 1911

 Перевод Наталии Ман

 OCR: Сергей Лебедев

 Густав Ашенбах, или фон Ашенбах, как он официально именовался со дня

своего пятидесятилетия, в теплый весенний вечер 19... года -- года, который

в течение столь долгих месяцев грозным оком взирал на наш континент, --

вышел из своей мюнхенской квартиры на Принцрегентштрассе и в одиночестве

отправился на дальнюю прогулку. Возбужденный дневным трудом (тяжким, опасным

и как раз теперь потребовавшим от него максимальной тщательности,

осмотрительности, проникновения и точности воли), писатель и после обеда не

в силах был приостановить в себе работу продуцирующего механизма, того

"totus animi continuus"[1], в котором, по словам Цицерона,

заключается сущность красноречия; спасительный дневной сон, остро

необходимый при все возраставшем упадке его сил, не шел к нему. Итак, после

чая он отправился погулять, в надежде, что воздух и движение его приободрят,

подарят плодотворным вечером.

 [1] Беспрерывное движение души (лат.).

 Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось

жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой,

было душно, как в августе, и в той части, что прилегала к городу, --

полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели все

более тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минуту-другую поглядел на

оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и

извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный

путь, но уже не через парк, а полем, почувствовав усталость. К тому же над

Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай,

который прямиком доставит его в город.

 По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души.

Ни на Унгарерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в

направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного

экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где

предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали

как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив в отблесках уходящего дня

безмолвствовало византийское строение часовни. На его фасаде, украшенном

греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых

тонах, были еще симметрически расположены надписи, выведенные золотыми

буквами, -- речения, касающиеся загробной жизни, вроде: "Внидут в обитель

господа" или: "Да светит им свет вечный". В ожидании трамвая Ашенбах

развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их

прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике,

повыше двух апокалиптических зверей, охранявших лестницу, человека, чья

необычная наружность дала его мыслям совсем иное направление.

 Вышел ли он из бронзовых дверей часовни, или неприметно приблизился и

поднялся к ней с улицы, осталось невыясненным. Особенно не углубляясь в этот

вопрос, Ашенбах скорее склонялся к первому предположению. Среднего роста,

тощий, безбородый и очень курносый, этот человек принадлежал к рыжеволосому

типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него

было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовал шляпа, покрывавшая его

голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев. Этому

впечатлению, правда, противоречили рюкзак за плечами -- как у заправского

баварца -- и желтая грубошерстная куртка; с левой руки, которою он

подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать, дождевой плащ, в

правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно

уперев ее в пол, скрестив ноги и бедром опираясь на ее рукоятку. Задрав

голову, так что на его худой шее, торчавшей из отложных воротничков

спортивной рубашки, отчетливо и резко обозначился кадык, он смотрел вдаль

своими белесыми, с красными ресницами глазами, меж которых, в странном

соответствии со вздернутым носом, залегали две вертикальные энергические

складки. В позе его -- возможно, этому способствовало возвышенное и

возвышающее местонахождение -- было что-то высокомерно созерцательное,

смелое, дикое даже. И то ли он состроил гримасу, ослепленный заходящим

солнцем, то ли его лицу вообще была свойственна некая странность, только

губы его казались слишком короткими, оттянутые кверху и книзу до такой

степени, что обнажали десны, из которых торчали белые длинные зубы.

 Возможно, что Ашенбах, рассеянно, хотя и пытливо, разглядывая

незнакомца, был недостаточно деликатен, но вдруг он увидел, что тот отвечает

на его взгляд и притом так воинственно, так в упор, так очевидно желая его

принудить отвести глаза, что неприятно задетый, он отвернулся и зашагал

вдоль заборов, решив больше не обращать внимания на этого человека. И

мгновенно забыл о нем. Но либо потому, что незнакомец походил на странника,

либо в силу какого-нибудь иного психического или физического воздействия,

Ашенбах, к своему удивлению, внезапно ощутил, как неимоверно расширилась его

душа; необъяснимое томление овладело им, юноше-, екая жажда перемены мест,

чувство, столь живое, столь новое, или, вернее, столь давно не испытанное и

позабытое, что он., заложив руки за спину и взглядом уставившись в землю,

замер на месте, стараясь разобраться в сути и смысле того, что произошло с

ним.

 Это было желанье странствовать, вот и все, но оно налетело на него как

приступ лихорадки, обернулось туманящей разум страстью. Он жаждал видеть,

его фантазия, еще не умиротворившаяся после долгих часов работы, воплощала в

единый образ все чудеса и все ужасы пестрой нашей земли, ибо стремилась их

представить себе все зараз. Он видел: видел ландшафт, под небом, тучным от

испарений, тропические болота, невероятные, сырые, изобильные, подобие

дебрей первозданного мира, с островами, топями, с несущими ил водными

протоками; видел, как из густых зарослей папоротников, из земли, покрытой

сочными, налитыми, диковинно цветущими растениями, близкие и далекие,

вздымались волосатые стволы пальм; видел причудливо безобразные деревья, что

по воздуху забрасывали свои корни в почву, в застойные, зеленым светом

мерцающие воды, где меж плавучими цветами, молочно-белыми, похожими на

огромные чаши, на отмелях, нахохлившись, стояли неведомые птицы с уродливыми

клювами и, не шевелясь, смотрели куда-то вбок; видел среди узловатых стволов

бамбука искрящиеся огоньки -- глаза притаившегося тигра, -- и сердце его

билось от ужаса и непостижимого влечения. Затем виденье погасло, и Ашенбах,

покачав головой, вновь зашагал вдоль заборов каменотесных мастерских.

 Давно уже, во всяком случае с тех пор как средства стали позволять ему

ездить по всему миру когда вздумается, он смотрел на путешествия как на

некую гигиеническую меру, и знал, что ее надо осуществлять время от времени,

даже вопреки желаниям и склонностям. Слишком занятый задачами, которые

ставили перед ним европейская душа и его собственное я, не в меру

обремененный обязанностями творчества, бежавший рассеяния и потому

неспособный любить шумный и пестрый мир, он безоговорочно довольствовался

созерцанием того, что лежит на поверхности нашей земли и для чего ему нет

надобности выходить за пределы своего привычного круга, --и никогда не

чувствовал искушения уехать из Европы. С той поры, как жизнь его начала

клониться к закату и ему уже нельзя было словно от пустой причуды

отмахнуться от присущего художнику страха не успеть, от тревоги, что часы

остановятся, прежде чем он совершит ему назначенное и отдаст всего себя,

внешнее его бытие едва ли не всецело ограничилось прекрасным городом,

ставшим его родиной, да незатейливым жильем, которое он себе выстроил в

горах и где проводил все дождливое лето.

 И то, что сейчас так поздно и так внезапно нашло на него, вскоре было

обуздано разумом, упорядочено смолоду усвоенной самодисциплиной. Он решил

довести свое творение, для которого жил, до определенной точки, прежде чем

переехать в горы, и мысль о шатанье по свету и, следовательно, о перерыве в

работе на долгие месяцы показалась ему очень беспутной и разрушительной;

всерьез об этом нечего было и думать. Тем не менее он слишком хорошо знал,

на какой почве взросло это нежданное искушение. Порывом к бегству, говорил

он себе, была эта тоска по дальним краям, по новизне, эта жажда

освободиться, сбросить с себя бремя, забыться -- он бежит прочь от своей

работы, от будней неизменного, постылого и страстного служения. Правда, он

любил его, едва ли не любил даже изматывающую, ежедневно обновляющуюся

борьбу между своей гордой, упорной, прошедшей сквозь многие испытания волей

и этой все растущей усталостью, о которой никто не должен был знать, которая

ни малейшим признаком упрощения, вялости не должна была сказаться на его

творении. И все же неблагоразумно слишком натягивать тетиву, упрямо

подавлять в себе столь живое и настойчивое желание. Он стал думать о своей

работе, о том месте, на котором застрял сегодня, так же как и вчера, ибо оно

равно противилось и терпеливой обработке, и внезапному натиску. Он пытался

прорваться через препятствие или убрать его с дороги, но всякий раз отступал

с гневом и содроганием. Не то чтобы здесь возникли какие-нибудь особенные

трудности, нет, ему мешала мнительная нерешительность, оборачивающаяся уже

постоянной неудовлетворенностью собой. Правда, в юные годы эту

неудовлетворенность он считал сущностью и природой таланта, во имя ее он

отступал, обуздывал чувство, зная, что оно склонно довольствоваться

беспечной приблизительностью и половинчатой завершенностью. Так неужто же

порабощенные чувства теперь мстят за себя, отказываясь впредь окрылять и

живить его искусство? Неужто они унесли с собою всю радость, все восторги,

даруемые формой и выражением? Нельзя сказать, что он писал плохо;

преимуществом его возраста было по крайней мере то, что с годами в нем

укрепилась спокойная уверенность в своем мастерстве. Но, хотя вся немецкая

нация превозносила это мастерство, сам он ему не радовался; писателю

казалось, что его творению недостает того пламенного и легкого духа,

порождаемого радостью, который больше, чем глубокое содержание (достоинство,

конечно, немаловажное), составляет счастье и радость читающего мира. Он

страшился лета, страшился быть одиноким в маленьком доме, с кухаркой,

которая стряпает ему, и слугою, который подает на стол эту стряпню;

страшился привычного вида горных вершин и отвесных скал, когда думал, что

они снова обступят его, вечно недовольного, вялого. Значит, необходимы

перемены, толика бродячей жизни, даром потраченные дни, чужой воздух и

приток новой крови, чтобы лето не было тягостно и бесплодно. Итак, в дорогу

-- будь что будет! Не в слишком дальнюю, до тигров он не доедет. Ночь в

спальном вагоне и две-три недели отдыха в каком-нибудь всемирно известном

уголке на ласковом юге...

 Так он думал, когда с Унгарерштрассе, грохоча, подкатил трамвай, а

встав на подножку, окончательно решил посвятить сегодняшний вечер изучению

карты и железнодорожных маршрутов. На площадке он вспомнил о человеке в

бастовой шляпе, сотоварище своего пребывания здесь, отнюдь не

беспоследственного пребывания, и огляделся по сторонам. Куда исчез этот

человек, он так и не понял, но ни на прежнем месте, ни возле остановки, ни в

вагоне трамвая его не было.

 Творец могучей и точной прозаической эпопеи о жизни Фридриха Прусского,

терпеливый художник, долго, с великим тщанием вплетавший в ковер своего

романа "Майя" множество образов, множество различных человеческих судеб,

соединившихся под сенью одной идеи; автор интересного и сильного рассказа,

названного им "Ничтожный", который целому поколению благодарной молодежи

явил пример моральной решительности, основанной на глубочайшем знании;

наконец (и этим исчерпываются основные произведения его зрелой поры),

создатель страстного трактата "Дух и искусство", конструктивную силу и

диалектическое красноречие которого самые требовательные критики ставили

вровень с Шиллеровым рассуждением о наивной и сентиментальной поэзии,--

Густав Ашенбах родился в Л. -- окружном городе Силезской провинции, в семье

видного судейского чиновника. Предки его, офицеры, судьи и чиновники, служа

королю и государству, вели размеренную, пристойно-скудную жизнь. Дух более

пылкий воплотился у них в личности некоего проповедника; более быструю и

чувственную кровь в прошлом поколении привнесла в семью мать писателя, дочка

чешского капельмейстера. От нее шли и признаки чуждой расы в его внешности.

Сочетание трезвой, чиновничьей добросовестности с темными и пламенными

импульсами породило художника, именно этого художника.

 Поелику Ашенбах всем своим существом стремился к славе, он, отнюдь не

отличаясь особой скороспелостью, сумел благодаря характерному, очень

индивидуальному чекану своего письма рано занять видное общественное

положение. Имя себе он составил еще будучи гимназистом, а через десять лет

научился представительствовать, не отходя от письменного стола, и в

нескольких ответных строчках, всегда кратких (ибо многие взывают к тому, кто

преуспел и заслужил доверие), управлять своей славой. В сорок лет, усталый

от тягот и превратностей своей прямой работы, он должен был ежедневно

просматривать груды писем, снабженных марками всех стран нашей планеты.

 Равно далекий от пошлости и эксцентрических вычур, его талант был

словно создан для того, чтобы внушать доверие широкой публике и в то же

время вызывать восхищенное, поощрительное участие знатоков. Итак, еще

юношей, со всех сторон призываемый к подвигу -- и к какому подвигу! -- он не

знал досуга и беспечной молодости. Когда на тридцать пятом году жизни он

захворал в Вене, один тонкий знаток человеческих душ заметил в большой

компании: "Ашенбах смолоду жил вот так, -- он сжал левую руку в кулак, -- и

никогда не позволял себе жить этак", -- он разжал кулак и небрежно уронил

руку с подлокотника кресел. Этот господин попал в точку. Моральная отвага

здесь в том и заключалась, что по природе своей отнюдь не здоровяк, он был

только призван к постоянным усилиям, а не рожден для них.

 Врачи запретили мальчику посещать школу, и он вынужден был учиться

дома. Выросший в одиночестве, без товарищей, Ашенбах все же сумел вовремя

понять, что принадлежит к поколению, в котором редкость отнюдь не талант, а

физическая основа, необходимая для того, чтобы талант созрел, -- к

поколению, рано отдающему все, что есть у него за душой, и к старости обычно

уже бесплодному. Но его любимым словом было "продержаться", -- и в своем

романе о Фридрихе Прусском он видел прежде всего апофеоз этого

слова-приказа, олицетворявшего, по его мнению, суть и смысл героического

стоицизма. К тому же он страстно хотел дожить до старости, так как всегда

считал, что истинно великим, всеобъемлющим и по праву почитаемым может быть

только то искусство, которому дано было плодотворно и своеобразно проявить

себя на всех ступенях человеческого бытия.

 Поскольку задачи, которые нагружал на него талант, ему приходилось

нести на слабых плечах, а идти он хотел далеко, то прежде всего он нуждался

в самодисциплине, -- к счастью, это качество было его наследственным уделом

с отцовской стороны. В сорок, в пятьдесят лет, в том возрасте, когда другие

растрачивают время, предаются сумасбродствам, бездумно откладывают

выполнение заветных планов, он начинал день с того, что подставлял грудь и

спину под струи холодной воды, и затем, установив в серебряных подсвечниках

по обе стороны рукописи две высокие восковые свечи, в продолжение нескольких

часов честно и ревностно приносил в жертву искусству накопленные во сне

силы. И было не только простительно, но знаменовало его моральную победу то,

что непосвященные ошибочно принимали весь мир "Майи" и эпический фон, на

котором развертывалась героическая жизнь Фридриха, за создание собранной

силы, единого дыхания, тогда как в действительности его творчество было

плодом ежедневного кропотливого труда, напластовавшего в единый

величественный массив сотни отдельных озарений, и если хорош был весь роман,

вплоть до мельчайших деталей, то лишь оттого, что его творец с неотступным

упорством, подобным тому, что некогда заставило пасть его родную провинцию,

годами выдерживал напряжение работы над одною и той же вещью, отдавая этой

работе только свои самые лучшие, самые плодотворные часы.

 Для того чтобы значительное произведение тотчас же оказывало свое

воздействие вглубь и вширь, должно существовать тайное сродство, более того,

сходство между личной судьбой автора и судьбой его поколения. Людям

неведомо, почему они венчают славой произведение искусства. Отнюдь не будучи

знатоками, они воображают, что открыли в нем сотни достоинств, лишь бы

подвести основу под жгучую свою заинтересованность; но истинная причина их

восторга это нечто невесомое -- симпатия. Ашенбах как-то обмолвился в одном

из проходных мест романа, что почти все великое утверждает себя как некое

"вопреки" -- вопреки горю и муке, вопреки бедности, заброшенности, телесным

немощам, страсти и тысячам препятствий. Но это было больше, чем ненароком

брошенное замечание; это было знание, формула его жизни и славы, ключ к его

творению. И не удивительно, что эта формула легла в основу характеров и

поступков его наиболее оригинальных персонажей.

 Относительно нового, многократно повторенного и всякий раз сугубо

индивидуального типа героя, излюбленного этим писателем, один очень неглупый

литературный анатом давно уже написал, что он "концепция интеллектуальной и

юношеской мужественности", которая-де "в горделивой стыдливости стискивает

зубы и стоит не шевелясь, когда мечи и копья пронзают ей тело". Это было

сказано остроумно и точно, несмотря на известную пассивность формулировки.

Ведь стойкость перед лицом рока, благообразие в муках означают не только

страстотерпие; это активное действие, позитивный триумф, и святой Себастиан

-- прекраснейший символ если не искусства в целом, то уж, конечно, того

искусства, о котором мы говорим. Стоит заглянуть в этот мир, воссозданный в

рассказе, и мы увидим: изящное самообладание, до последнего вздоха

скрывающее от людских глаз свою внутреннюю опустошенность, свой

биологический распад; физически ущербленное желтое уродство, что умеет свой

тлеющий жар раздуть в чистое пламя и взнестись до полновластия в царстве

красоты; бледную немочь, почерпнувшую свою силу в пылающих недрах духа и

способную повергнуть целый кичливый народ к подножию креста, к своему

подножию; приятную манеру при пустом, но строгом служении форме; фальшивую,

полную опасностей жизнь, разрушительную тоску и искусство прирожденного

обманщика.

 У того, кто вгляделся в эти и в им подобные судьбы, невольно возникало

сомнение, есть ли на свете иной героизм, кроме героизма слабых. И что же

может быть современнее этого? Густав Ашенбах был поэтом тех, кто работает на

грани изнеможения, перегруженных, уже износившихся, но еще не рухнувших под

бременем, всех этих моралистов действия, недоростков со скудными средствами,

которые благодаря сосредоточенной воле и мудрому хозяйствованию умеют, пусть

на время, обрядиться в величие. Их много, и они герои эпохи. Все они узнали

себя в его творении; в нем они были утверждены, возвышены, воспеты; и они

умели быть благодарными и прославлять его имя.

 Он был молод и неотесан, как его время, дававшее ему дурные советы, он

спотыкался, впадал в ошибки, перед всеми обнаруживал свои слабые стороны,

словом и делом погрешал против такта и благоразумия. Но. он выработал в себе

чувство собственного достоинства, к которому, по его утверждению, всегда

стремится большой талант, более того, можно сказать, что все его развитие

было восхождением к достоинству, сознательным и упорным, сметающим со своего

пути все препоны сомнений и иронии.

 Живая, духовно незначительная общедоступность воплощения приводит в

восторг буржуазное большинство, но молодежь, страстную и непосредственную,

захватывает только проблематическое. Ашенбах ставил проблемы и был

непосредствен, как юноша. Он был оброчным духа, хищнически разрабатывал

залежи, перемалывал зерно, предназначенное для посева, выбалтывал тайны,

брал под подозрение талант, предавал искусство, и покуда его творения

услаждали, живили и возвышали благоговеющих почитателей, он, еще молодой

художник, ошеломлял зеленых юнцов циническими рассуждениями о сомнительной

сущности искусства и служения ему.

 Но, видимо, ничто не пресыщает благородный и сильный дух больше и

окончательнее, чем пряная и горькая прелесть познания. И, конечно,

тяжелодумная, добросовестнейшая основательность юноши поверхностна по

сравнению с многоопытной решимостью зрелого мужа и мастера -- отрицать

знание, бежать его, с высоко поднятой головой чрез него переступать, коль

скоро оно способно умерить, ослабить, обесчестить волю. И разве нашумевший

рассказ "Ничтожный" не был взрывом острой неприязни к непристойному

психологизированию века, который воплощен здесь в образе мягкотелого и

вздорного мерзавца, из бессилия, порочности и этической неполноценности

толкающего свою жену в объятия безбородого юнца, полагая при этом, что

глубина чувств служит оправданием его низости. Могучее слово, презрением

клеймившее презренное, возвещало здесь отход от нравственной

двусмысленности, от всякого сочувствия падению; оно зачеркивало дряблую

сострадательность пресловутого речения "все понять -- значит все простить",

и то, что здесь готовилось, нет, что здесь уже свершилось, было тем "чудом

возрожденного простодушия", о котором немного позднее решительно, хотя и не

без некоей таинственной завуалированности, говорилось в диалоге того же

автора. Странное стечение обстоятельств! А может быть, именно следствием

этого "возрождения", этого нового достоинства и строгости, и стало почти

невероятно обостренное чувство красоты, благородной ясности, простоты и

ровности формы, которое проявилось именно в ту пору и навсегда сообщило его

произведениям не только высокое мастерство, но и классическую стать? Но

нравственная целеустремленность по ту сторону знания, по ту сторону

разрешающего и сдерживающего постижения -- разве она в свою очередь не ведет

к нравственному упрощению мира и души человеческой, а посему к усилению тяги

к злому, подзапретному, нравственно недопустимому? И разве у формы не два

лика? Ведь она одновременно нравственна и безнравственна -- нравственна как

результат и выражение самодисциплины, безнравственна же, более того,

антинравственна, поскольку, в силу самой ее природы, в ней заключено

моральное безразличие, и она всеми способами стремится склонить моральное

начало под свой гордый самодержавный скипетр.

 Как бы там ни было! Развитие равнозначно участи, и если его

сопровождает доверие масс, широкая известность, может ли оно протекать как

другое, лишенное блеска и не ведающее требований славы? Только безнадежная

богема скучает и чувствует потребность посмеяться над большим талантом,

когда он, прорвав кокон ребяческого беспутства, постигает достоинство духа,

усваивает строгий чин одиночества, поначалу исполненного жестоких мук и

борений, но потом возымевшего почетную власть над людскими сердцами. Сколько

игры, упорства и упоения включает в себя самовыращивание таланта! Нечто

официозно-воспитательное проявилось и в писаниях Густава Ашенбаха в зрелые

годы; в его стиле не было уже ни молодой отваги, ни тонкой игры светотеней,

он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незыблемым,

даже формальным и формулообразным, так что невольно вспоминалась легенда о

Людовике XIV, под конец жизни будто бы изгнавшем из своей речи все пошлые

слова. В то время ведомство народного просвещения включило избранные

страницы Ашенбаха в школьные хрестоматии. Ему было по сердцу, и он не

ответил отказом, когда некий немецкий государь, только что взошедший на

престол, пожаловал певцу "Фридриха" в день его пятидесятилетия личное

дворянство.

 После нескольких беспокойных лет и нескольких попыток где-нибудь

обосноваться он поселился в Мюнхене и с тех пор жил там в почете и уважении,

лишь в редких случаях становящихся уделом духа. Брак, в который он вступил

еще почти юношей с девушкой из профессорской семьи, был расторгнут ее

смертью. У него осталась дочь, теперь уже замужняя. Сына же никогда не было.

 Густав Ашенбах был чуть пониже среднего роста, брюнет с бритым лицом.

Голова его казалась слишком большой по отношению к почти субтильному телу.

Его зачесанные назад волосы, поредевшие на темени и на висках уже совсем

седые, обрамляли высокий, словно рубцами изборожденный лоб. Дужка золотых

очков с неоправленными стеклами врезалась в переносицу крупного, благородно

очерченного носа. Рот у него был большой, то дряблый, то вдруг подтянутый и

узкий; щеки худые, в морщинах; изящно изваянный подбородок переделяла мягкая

черточка.. Большие испытания, казалось, пронеслись над этой часто

страдальчески склоненной набок головой; и все же эти черты были высечены

резцом искусства, а не тяжелой и тревожной жизни. За этим лбом родилась

сверкающая, как молния, реплика в разговоре Вольтера и короля о войне. Эти

усталые глаза с пронизывающим взглядом за стеклами очков видели кровавый ад

лазаретов Семилетней войны. Искусство и там, где речь идет об отдельном

художнике, означает повышенную жизнь. Оно счастливит глубже, пожирает

быстрее. На лице того, кто ему служит, оно оставляет следы воображаемых или

духовных авантюр; даже при внешне монастырской жизни оно порождает такую

избалованность, переутонченность, усталость, нервозное любопытство, какие

едва ли гложет породить жизнь, самая бурная, полная страстей и наслаждений.

 Множество дел, светских и литературных, почти две недели после той

прогулки продержали в Мюнхене объятого жаждой странствий Ашенбаха. Наконец

он велел привести в порядок загородный дом к своему приезду через месяц и во

второй половине мая отбыл с ночным поездом в Триест, где остановился на

сутки, чтобы следующим утром сесть на пароход, идущий в Полу.

 Так как он искал чуждого, несхожего с обычным его окружением, и

вдобавок, чтоб до него было рукой подать, то избрал для своего временного

жительства остров в Адриатическом море, неподалеку от берегов Истрии,

который в последние годы стал пользоваться широкой известностью; остров с

красиво изрезанной линией скал в открытом море и с населением, одетым в

живописные лохмотья и изъясняющимся на языке, странно чуждом нашему слуху.

Однако дожди, тяжелый влажный воздух и провинциальное, состоящее из одних

австрийцев общество в отеле, равно как и невозможность тихого душевного

общения с морем, даруемого только ласковым песчаным берегом, раздражали его.

Вскоре он убедился, что сделал неправильный выбор. Куда его тянет, он точно

не знал, и вопрос "так где же?" для него оставался открытым. Он принялся

изучать рейсы пароходных линий, ищущим взором вглядывался в дали, как вдруг

нежданно и непреложно перед ним возникла цель путешествия. Если за одну ночь

хочешь достичь сказочно небывалого, несравнимого, куда направиться? О, это

ясно! Зачем он здесь? Конечно же он ошибся. Туда и надо ехать сразу. Больше

он уже не будет медлить с отъездом со злополучного острова. Через полторы

недели после прибытия быстрая моторка в тумане раннего утра уже увозила

Ашенбаха и его багаж к Военной гавани, где он ступил на землю лишь затем,

чтобы тотчас же подняться по трапу на мокрую палубу парохода, уже

разводившего пары для отплытия в Венецию.

 Это было видавшее виды итальянское судно, допотопной конструкции, все в

копоти, мрачное. В похожей на пещеру искусственно освещенной каюте, куда

тотчас же провел Ашенбаха учтиво скаливший зубы горбатый, неопрятный матрос,

за столом, в шапке набекрень и с огрызком сигары в зубах, сидел человек с

физиономией старомодного директора цирка, украшенной козлиной бородкой, и,

не переставая ухмыляться, деловито записывал фамилии пассажиров, пункт

назначения и выдавал билеты. "В Венецию", -- повторил он за Ашенбахом и,

вытянув руку, обмакнул перо в кашеобразные остатки чернил на дне наклонно

стоящей чернильницы. "В Венецию, первый класс! Прошу!" Он нацарапал

несколько размашистых каракуль, посыпал написанное голубым песком, подождал,

покуда он сбежит в глиняную чашку, сложил бумагу желтыми костлявыми пальцами

и снова принялся писать. "Отлично выбранная цель путешествия, -- болтал он

при этом. -- Ах, Венеция! Что за город! Город неотразимого очарования для

человека образованного -- в силу своей истории, да и нынешней прелести

тоже!" В округлой быстроте его движений и пустой болтовне, ее

сопровождавшей, было что-то одурманивающее и отвлекающее; он словно бы

старался поколебать решение пассажира ехать в Венецию. Деньги он принял

торопливо и с ловкостью крупье выбросил сдачу на суконную, всю в пятнах

обивку стола. "Приятно развлекаться, сударь, -- присовокупил он с

театральным поклоном. -- Считаю за честь вам в этом способствовать... Прошу,

господа!.." -- тут же крикнул он, взмахнув рукою, словно от пассажиров отбою

не было, хотя никто, кроме Ашенбаха, уже не брал билетов. Ашенбах вернулся

на палубу.

 Облокотившись одною рукой о поручни, он глядел на праздную толпу,

собравшуюся на набережной посмотреть, как отваливает пароход, и на

пассажиров, уже взошедших на борт. Те, кто ехал во втором классе -- мужчины

и женщины, -- скопились на нижней палубе, используя в качестве сидений свои

узлы и чемоданы. На верхней стояли кучкой молодые люди, по-видимому

приказчики из Полы, весьма возбужденные предстоявшей им поездкой в Италию.:

Явно гордясь собою и предстоявшим плаванием, они болтали, смеялись и,

перегнувшись через перила, кричали насмешливые словечки товарищам, которые с

портфелями под мышкой спешили по набережной в свои конторы, грозя

тросточками счастливчикам на борту. Один из них, в светло-желтом, чересчур

модном костюме, с красным галстуком и лихо отогнутыми полями шляпы,

выделялся из всей компании своим каркающим голосом и непомерной

возбужденностью. Но, попристальнее в него вглядевшись, Ашенбах с ужасом

понял: юноша-то был поддельный. О его старости явно свидетельствовали

морщины вокруг рта и глаз и тощая жилистая шея. Матовая розовость щек

оказалась гримом, русые волосы под соломенной шляпой с пестрой ленточкой --

париком, желтые, ровные зубы, которые он скалил в улыбке, -- дешевым

изделием дантиста. Лихо закрученные усики и эспаньолка были подчернены. И

руки его с перстнями-печатками на обоих указательных пальцах тоже были

руками старика. Ашенбах, содрогаясь, смотрел на него и на то, как он ведет

себя в компании приятелей. Неужто они не знают, не видят, что он старик, что

не по праву оделся в их щегольское пестрое платье, не по праву строит из

себя такого, как они? Нет, видимо, им это было невдомек, они привыкли

терпеть его в своей компании и беззлобно отвечали на его игривые пинки в

бок. Как могло это случиться? Ашенбах прикрыл рукою лоб и сомкнул веки,

горячие от почти бессонной ночи. Ему казалось, что все на свете свернуло со

своего пути, что вокруг него, как в дурном сне, начинает уродливо и странно

искажаться мир, и для того, чтобы остановить этот процесс, надо закрыть лицо

руками, а потом отнять их и снова осмотреться. Но в этот миг какое-то новое

ощущение поразило его -- в бессмысленном испуге он открыл глаза и увидел,

что тяжелый и темный корпус корабля отделяется от стенки причала. Под стук

машины, дававшей то передний, то задний ход, дюйм за дюймом ширилась полоса

грязной, радужно мерцающей воды между набережной и бортом парохода, который,

проделав ряд неуклюжих маневров, повернул наконец свой бугшприт в сторону

открытого моря. Ашенбах перешел на штирборт, где горбун уже раскинул для

него шезлонг, и стюард в засаленном фраке осведомился, что ему угодно будет

заказать.

 Небо было серое, ветер влажный. Гавань и острова остались позади; за

туманной дымкой из поля зрения быстро исчезли берега. Пропитанные влагой

хлопья сажи ложились на вымытую палубу, которой никак не удавалось

просохнуть. Через какой-нибудь час над нею растянули тент: зарядил дождь.

 Закутавшись в пальто, с книгой на коленях, путешественник отдыхал, и

часы текли для него неприметно. Дождь перестал, парусиновый тент убрали.

Нигде на горизонте ни полоски земли. Под хмурым куполом неба лежал

неимоверно огромный диск открытого моря. Но в пустом, нерасчлененном

пространстве наши чувства теряют меру времени и мы влачимся в неизмеримом.

Призрачно странные фигуры, старый фат, козлиная бородка, продавшая ему

билет, с расплывчатыми жестами, с нелепыми речами затеснились в мозгу

Ашенбаха, и он уснул.

 В полдень его повели завтракать в кают-компанию, похожую на коридор,

так как в нее выходили двери кают, там в конце длинного стола, во главе

которого стоял его прибор, приказчики и старик среди них уже с десяти часов

пировали с весельчаком-капитаном. Завтрак был скудный, и Ашенбах быстро

покончил с ним. Его тянуло наверх, снова взглянуть на небо: не собирается ли

оно просветлеть над Венецией.

 Он почти не сомневался, что так оно и будет, ибо этот город всегда

встречал его сиянием.

 Но небо и море оставались хмуро свинцовыми, время от времени моросил

дождь, и Ашенбах смирился с тем, что по водной дороге прибудет в иную

Венецию, чем та, к которой он приближался по сухому пути. Он стоял у

фок-мачты, вперив взор в морские дали, и ждал земли. Ему вспоминался

задумчивый восторженный поэт в миг, когда перед его глазами всплыли из этих

вод купола и колокольни его мечты, и он бормотал про себя отдельные строфы

величественной песни, что сложили тогда его благоговение, счастье и печаль.

Поневоле растроганный этим уже отлитым в форму чувством, он спрашивал свое

строгое и усталое сердце, суждены ли новый восторг, новое смятение,

запоздалая авантюра чувства ему, досужему скитальцу?

 Но вот справа вынырнул плоский берег, рыбачьи лодки уже сновали по

морю, возник Остров купальщиков; пароход, оставив его слева, на тихом ходу

проскользнул в узкий порт, названный по имени этого острова, и остановился в

лагуне перед скопищем пестрых лачуг на берегу в ожидании баркаса санитарной

службы.

 Его дожидались целый час. Пассажиры как бы прибыли и не прибыли; никто

не спешил, и каждый был охвачен нетерпением. Молодые жители Полы,

подстегиваемые патриотизмом, а может быть, и сигналами военных рожков,

которые доносились по воде со стороны общественных садов, высыпали на палубу

и, разгоряченные выпитым асти, стали кричать "ура!" марширующим вдоль берега

берсальерам. Но поистине омерзительно было смотреть на то, в какое состояние

привело фатоватого старика незаконное панибратство с молодежью. Старая его

голова уже не могла противостоять хмелю, как молодые и крепкие головы его

приятелей; он был пьян самым жалким образом. С осоловелым взором, зажав

сигарету в трясущихся пальцах, он всеми силами старался сохранить

равновесие, хотя хмель раскачивал его из стороны в сторону, и не двигался с

места, чувствуя, что упадет при первом же шаге, и при всем этом выказывал

жалкую резвость, хватая за пуговицу любого, кто к нему приближался, нес

какой-то вздор, подмигивал, хихикал, по-дурацки над кем-нибудь подшучивая,

водил перед его носом, морщинистым указательным пальцем с кольцом-печаткой и

с гнусным лукавством облизывал губы кончиком языка. Ашенбах смотрел на него,

нахмурившись, и опять им овладевало смутное чувство, что мир, несомненно,

выказывал пусть чуть заметное, но уже неостановимое намерение преобразиться

в нелепицу, в карикатуру; хорошо еще, что обстоятельства не позволили

Ашенбаху долго носиться с этим чувством: машина заработала, застучала,

пароход, остановленный так близко от цели, снова двинулся вперед по каналу

Св. Марка.

 Итак, он опять видит это чудо, этот из моря встающий город,

ослепительную вязь фантастических строений, которую республика воздвигла на

удивление приближающимся мореходам, воздушное великолепие . дворца и Мост

Вздохов, колонну со львом и святого Марка на берегу, далеко вперед

выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проеме моста

над каналом; любуясь, он думал, что приезжать в Венецию сухим путем, с

вокзала, все равно, что с черного хода входить во дворец, и что только так,

как сейчас, на корабле, из далей открытого моря, и должно прибывать в этот

город, самый диковинный из всех городов.

 Машина застопорила, гондолы, теснясь, понеслись к пароходу, по

спущенным сходням на борт поднялись таможенные чиновники и немедля

приступили к исполнению своих обязанностей. Наконец пассажиры получили право

покинуть пароход. Ашенбах объяснил, что ему нужна гондола доехать и довести

багаж до пристани, где стоят катера, курсирующие между городом и Лидо: он

хочет поселиться у моря. Его намерение одобряют, через борт сообщают о нем

гондольерам, которые препираются между собой на местном диалекте. Но сойти

на землю ему не удается: загородил дорогу его собственный сундук, который с

трудом тащат и волочат по шаткой лесенке. Поэтому минуту-другую он не может

противостоять назойливости мерзкого старика, спьяну решившего любезно

напутствовать чужеземца. "Желаем хорошо провести время, -- блеет он,

расшаркиваясь. -- Не поминайте лихом! Au revoir, excusez et bon

jour[1], ваше превосходительство!" Его рот увлажняется, он

закрывает глаза, облизывает уголки рта, под дряблой старческой губой

топорщится крашеная эспаньолка, "Примите мои комплименты, душечка, милочка,

красотка..."-- лопочет он, посылая воздушный поцелуй. И тут у него вставная

верхняя челюсть соскакивает на нижнюю губу. Ашенбах, улучив момент,

удаляется. "Милочке, милочке моей", -- слышатся за его спиной воркующие,

глухие, с трудом выдавливаемые звуки, когда, держась за веревочные поручни,

он спускается по трапу.

 [1]До свидания, извините и добрый день (франц.).

 Кто не испытывал мгновенного трепета, тайной робости и душевного

стеснения, впервые или после долгого перерыва садясь в венецианскую гондолу?

Удивительное суденышко, без малейших изменений перешедшее к нам из

баснословных времен, и такое черное, каким из всех вещей на свете бывают

только гробы, -- оно напоминает нам о неслышных и преступных похождениях в

тихо плещущей ночи, но еще больше о смерти, о дрогах, заупокойной службе и

последнем безмолвном странствии. И кто мысленно не отмечал, что сиденье этой

лодки, гробово-черное, лакированное и черным же обитое кресло, -- самое

мягкое, самое роскошное и нежащее сиденье на свете? Когда Ашенбах на него

опустился у ног гондольера, напротив своего багажа, заботливо сложенного на

носу, он опять отчетливо это почувствовал. Гребцы продолжали переругиваться,

угрожающе жестикулируя, сердито и непонятно. Но особая тишина города на

воде, казалось, неприметно впитывала в себя эти голоса, делала их

бесплотными и рассеивала над водами. В гавани было тепло. Парное легкое

дуновение сирокко временами касалось усталого путешественника. Погруженный в

податливую стихию подушек, он закрыл глаза, наслаждаясь столь же

непривычной, сколь и сладостной расслабленностью. "Путь наш короток, --

думал он, -- а я бы хотел, чтоб он длился вечно!" Мерное покачивание уносило

его от сутолоки и шума голосов.

 Тихо, все тише становилось вокруг него. Уже слышны только всплески

весла, глухие удары волны о нос гондолы, который словно парит над водою, --

острый, черный, на самом конце вооруженный подобием алебарды, -- да еще

нечто третье -- бормотанье гондольера, отрывочное, сквозь зубы, в ритм

взмахам весла. Ашенбах открыл глаза и удивился -- лагуна сделалась шире, и

они двигались по направлению к открытому морю. Нельзя, видно, так уж

предаваться безмятежности, надо было требовать выполнения своего приказа.

 -- Значит, к пристани, -- полуобернувшись, сказал он.

 Бормотанье смолкло. Ответа не последовало.

 -- Значит, к пристани, -- повторил он и повернулся, чтобы посмотреть в

лицо гондольеру, который, стоя во весь рост позади него, четко обрисовывался

на фоне бледного неба. Это был человек с неприятной, даже свирепой

физиономией, одетый в синюю матросскую робу, подпоясанную желтым шарфом, в

соломенной шляпе, местами расплетшейся и давно потерявшей форму, но лихо

заломленной набекрень. Весь склад его лица, так же как светлые курчавые усы

под коротким курносым носом, безусловно не имели в себе ничего итальянского.

Несмотря на худобу, казалось бы делающую его непригодным для ремесла

гондольера, он весьма энергично орудовал веслом, при каждом взмахе

напружинивая все тело. Раза два при большом усилии он поджимал губы, обнажая

два ряда белых зубов. Нахмурив рыжеватые брови и глядя поверх головы

приезжего, он вдруг сказал решительно, даже грубовато:

 -- Вы едете на Лидо.

 Ашенбах отвечал:

 -- Конечно. Но я нанял гондолу только затем, чтобы доехать до площади

Святого Марка. Там я пересяду на вапоретто.

 -- На вапоретто, сударь, вам ехать нельзя.

 -- Почему, собственно?

 -- Потому что вапоретто не перевозят багажа.

 Ашенбах вспомнил, что это действительно так, и промолчал. Но резкий,

наглый и столь непринятый здесь в отношении иностранца тон показался ему

непозволительным. Он сказал:

 -- Это уж мое дело. Может быть, я собираюсь сдать свой багаж на

хранение. Вам придется повернуть.

 Тишина была полная. Только весло всплескивало да волна глухо ударялась

о нос гондолы. Затем опять послышалось невнятное бормотанье: гондольер

беседовал сквозь зубы сам с собой.

 Что было делать? Один в лодке со странно неприветливым и угрюмо

решительным человеком, разве мог бы наш путешественник настоять на своем? Но

как мягко было бы ему покоиться на подушках, не вздумай он возмущаться!

Разве не желал он, чтобы этот путь длился долго, вечно? Самое разумное

предоставить вещам идти, как они идут, а главное -- самое приятное. Какие-то

расслабляющие чары исходили от его сиденья, от этого низкого кресла, обитого

черным, так сладостно покачивавшегося при ударах весла своенравного

гондольера за его спиной.

 Смутное чувство, что он попал в руки преступника, на мгновенье

шевельнулось в Ашенбахе, но не пробудило в нем мысли об энергичной

самозащите. Еще досаднее, думал он, если все сведется к простому

вымогательству. Некое подобие чувства долга или гордости, как бы

воспоминание, что надо предупредить беду, заставило его еще раз собраться.

Он осведомился:

 -- Сколько вы хотите за работу?

 И, глядя поверх его головы, гондольер ответил:

 -- Вы заплатите.

 Было совершенно очевидно, что надо на это сказать. Ашенбах почти

машинально произнес:

 -- Я ничего, ровно ничего вам не заплачу, если вы меня завезете не

туда, куда мне надо.

 -- Вы хотите на Лидо.

 -- Но не с вами.

 -- Я хорошо вас везу.

 "Это правда, -- подумал Ашенбах и опять размяк. -- Правда, ты хорошо

меня везешь! Даже если ты заришься на мой бумажник и ударом весла в спину

отправишь меня в Аид, это будет значить, что ты вез меня хорошо".

 Однако ничего подобного не произошло. Напротив, неподалеку появилась

лодка с бродячими музыкантами, мужчинами и женщинами, которые пели под

аккомпанемент гитар и мандолин; назойливо догоняя гондолу, они едва не

касались ее борта и оглашали тишину над водой корыстными звуками итальянских

песен для иностранцев. Ашенбах бросил монету в протянутую с лодки шляпу. И

опять стало слышно бормотание гондольера, отрывочно беседовавшего с самим

собой.

 Покачиваясь на кильватерной волне идущего в город парохода, они наконец

прибыли на место. Двое муниципальных чиновников, заложив руки за спину и не

сводя глаз с лагуны, прохаживались по берегу. Ашенбах вышел из гондолы и

ступил на мостки, поддерживаемый одним из тех вооруженных багром стариков,

что непременно стоят на всех пристанях Венеции; и так как у него не нашлось

мелочи, он направился в расположенный около мола отель, чтобы разменять

деньги и по собственному усмотрению рассчитаться с гондольером. В вестибюле

ему выдают мелкие купюры, он возвращается, его чемоданы 1уже сложены на

тачку, а гондола и гондольер исчезли.

 -- Удрал, -- говорит старик с багром. -- Дурной человек, сударь,

человек без патента! Один только у нас и есть такой. Другие позвонили сюда

по телефону. Он заметил, что его ждут, И улизнул.

 Ашенбах пожал плечами.

 -- Господин проехал задаром, -- сказал старик и протянул шляпу. Ашенбах

бросил в нее монету. Он велел везти свой багаж в отель и пошел следом за

тачкой по аллее; по белым цветом цветущей аллее с тавернами, лавками и

пансионами по обе стороны, что, пересекая остров, спускалась к морю.

 В обширный отель Ашенбах вошел не с главного хода, а через садовую

террасу и, не задерживаясь в вестибюле и в следовавшем за ним огромном

холле, направился прямо в контору. Так как он заранее дал знать о своем

прибытии, его встретили с услужливым почтением. Администратор, маленький,

тихий, льстиво-предупредительный человечек с черными усами, одетый в сюртук

французского покроя, поднялся с ним в лифте на второй этаж и указал ему его

комнату, очень приятно выглядевшую, с мебелью вишневого дерева, множеством

очень пахучих цветов и высокими окнами, из которых открывался вид на море.

После того как администратор удалился, Ашенбах подошел к одному из них, --

служитель в это время вносил и размещал в номере его чемоданы, -- и стал

смотреть на пляж, почти безлюдный в эти часы, и на пасмурное море, которое,

как всегда во время прилива, посылало на берег невысокие, длинные, покойно и

равномерно набегавшие волны.

 Чувства того, кто предается созерцанию одиноко и молчаливо,

расплывчатее и в то же время глубже, чем если б он находился на людях, его

мысли весомее, прихотливее, и на них неизменно лежит налет печали. Картина

мира, ощущения, которые легко можно было бы потушить единым взглядом,

смешком, обменом мнений, его занимают больше чем следует; в молчании они

углубляются, становятся значительным событием, авантюрой чувств,

неизгладимым впечатлением. Одиночество порождает оригинальное, смелое,

пугающе прекрасное -- поэзию. Но оно порождает и несуразицу,

непозволительный абсурд. Так, дорожные перипетии, гнусный старый франт с его

лопотаньем о красотке и отверженный гондольер, не получивший своих

заработанных грошей, и сейчас еще тревожили душу путешественника. Нимало не

затрудняя разум, не давая, собственно, даже материала для размышлений, все

это тем не менее по самой своей сути представлялось ему необычно странным и

в странности своей тревожным. Меж тем он глазами приветствовал море и

радовался, что так близка теперь, так достижима Венеция. Наконец он отошел

от окна, освежил лицо водою, отдал дополнительные распоряжения горничной,

ибо хотел быть как можно более удобно устроенным, и велел лифтеру в зеленой

ливрее отвезти себя вниз.

 Он выпил чаю на террасе, выходившей на море, затем спустился на

прибрежный бульвар и прошел изрядный кусок в направлении отеля Эксцельсиор,

Когда он возвратился, уже было время переодеваться к ужину. Он проделал это

неторопливо и обстоятельно, так как привык работать, одеваясь, и все же

спустился в зал слишком рано. Там, впрочем, уже находилось немало гостей,

между собой незнакомых и притворно друг другом не интересующихся, но с

одинаковым нетерпением ожидавших ужина. Взяв со стола газету, он опустился в

кожаное кресло и стал наблюдать за собравшимися. Общество приятно отличалось

от того, которое он встретил на острове в начале своего путешествия.

 Перед ним открывался горизонт, терпимо обнимавший все и вся. Слышалась

приглушенная разноголосица языков. Вечерний костюм, этот мундир

благопристойности, как бы сливал воедино человеческие особи разных рас и

сословий. Был здесь сухопарый американец с длинным лицом, многочисленная

русская семья, немецкие дети с французскими боннами. Явно преобладал

славянский элемент. Рядом с Ашенбахом говорили по-польски.

 За бамбуковым столиком под надзором гувернантки сидела компания

подростков, совсем еще зеленая молодежь. Три молоденькие девушки, лет,

видимо, от пятнадцати до семнадцати, и мальчик с длинными волосами, на вид

лет четырнадцати. Ашенбах с изумлением отметил про себя его безупречную

красоту. Это лицо, бледное, изящно очерченное, в рамке золотисто-медвяных

волос, с прямой линией носа, с очаровательным ртом и выражением прелестной

божественной серьезности, напоминало собою греческую скульптуру лучших

времен и, при чистейшем совершенстве формы, было так неповторимо и

своеобразно обаятельно, что Ашенбах вдруг понял: нигде, ни в природе, ни в

пластическом искусстве, не встречалось ему что-либо более счастливо

сотворенное. Далее ему бросилось в глаза явное различие меж воспитательными

принципами, применяемыми к мальчику и его сестрам, что сказывалось даже в

одежде. Наряд молодых девиц, -- старшая из них уже могла сойти за взрослую,

-- был так незатейлив и целомудрен, что не только не красил их, но скорее

даже уродовал. Из-за строгого монастырского платья, аспидно-серого цвета,

полудлинного, скучного, нарочито мешковатого покроя, с белыми отложными

воротничками в качестве единственного украшения, фигуры их казались

приземистыми и лишенными грации. Приглаженные и туго стянутые волосы

сообщали лицам молодых девиц монашески пустое, ничего не говорящее

выражение. Здесь, несомненно, сказывалась власть матери, и не подумавшей

распространить на мальчика педагогическую суровость, необходимую, по ее

мнению, в воспитании девочек. Его жизнь, видимо, протекала под знаком

нежного потворства. Никто не решался прикоснуться ножницами к его чудесным

волосам; как у "Мальчика, вытаскивающего занозу", они кудрями спадали ему на

лоб, на уши, спускались с затылка на шею. Английский матросский костюм с

широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его еще

совсем детских, но узких рук, со всеми своими выпушками, шнурами и

петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и

богатства. Он сидел вполоборота к Ашенбаху, за ним наблюдавшему, выставив

вперед правую ногу в черном лакированном туфле, подперевшись кулачком, в

небрежно изящной позе, не имевшей в себе ничего от почти приниженной

чопорности его сестер. Не болен ли он? Ведь золотистая тьма волос так резко

оттеняет бледность его кожи цвета слоновой кости. Или он просто забалованный

любимчик, привыкший к потачкам и задабриванию? Ашенбаху это показалось

наиболее вероятным. Артистические натуры нередко обладают предательской

склонностью воздавать хвалу несправедливости, создающей красоту, и принимать

сторону аристократической предпочтенности.

 В холле уже появился официант и по-английски объявил: "Кушать подано!"

Собравшиеся мало-помалу скрывались за стеклянной дверью ресторана. Хлопали

двери лифтов, опоздавшие торопливо проходили мимо Ашенбаха. За дверью

приступили к трапезе, но юные поляки все еще сидели за бамбуковым столиком,

и Ашенбах, уютно устроившись в мягком кресле, ждал вместе с ними: ведь глаза

его созерцали красоту.

 Наконец гувернантка, маленькая тучная особа с багровым румянцем, подала

своим питомцам знак подняться. Высоко вздернув брови, она отодвинула стул и

поклонилась высокой женщине, одетой в серое с белым, единственным украшением

которой служили великолепные жемчуга.

 Осанка этой женщины, холодная и величавая, то, как были зачесаны ее

чуть припудренные волосы, покрой ее платья, все было исполнено той простоты,

которая равнозначна хорошему вкусу повсюду, где благочестие неотъемлемо от

аристократизма. Она могла бы быть женой немецкого сановника. Нечто сказочно

пышное сообщали ее облику только украшения, поистине бесценные, -- серьги с

подвесками и тройная, очень длинная нить крупных, как вишни, матово

мерцающих жемчужин.

 Дети поспешно вскочили и склонились, целуя руку матери, которая со

сдержанной улыбкой на холеном, хотя и несколько усталом, остроносом лице,

смотря поверх их голов, говорила что-то гувернантке по-французски. Затем она

прошла к застекленной двери. Дети последовали за ней: девочки по

старшинству, за ними гувернантка, мальчик замыкал шествие. По какой-то

причине он оглянулся, прежде чем скрыться за дверью, и его необычные,

сумеречно-серые глаза встретились со взглядом Ашенбаха. Погруженный в

созерцание, уронив газету на колени, он смотрел вслед удалявшемуся

семейству.

 В том, что он видел, не было, собственно, ничего удивительного. Дети

дожидались матери, чтобы идти к столу, почтительно ее приветствовали и, -

входя в зал, вели себя, как принято в свете. Однако все это проделывалось

так четко, с такой подчеркнутой благовоспитанностью, с таким чувством долга

и самоуважения, что Ашенбаха это странным образом взволновало. Он еще

немного помедлил и затем направился в зал, где метрдотель указал ему столик

очень далекий, как он отметил с мимолетным сожалением, от того, за которым

расположилось польское семейство.

 Усталый, но в то же время возбужденный, он развлекал себя во время

скучной трапезы абстрактными, более того, трансцендентными размышлениями;

думал о том, что закономерное должно вступить в таинственную связь с

индивидуальным, дабы возникла человеческая красота, отсюда он перешел к

общим проблемам формы и искусства и решил наконец, что его мысли и находки

напоминают смутные и счастливые озарения во сне, наяву оказывающиеся

пустейшими и ни на что не пригодными. Выйдя из ресторана, он покурил,

посидел, прошелся по парку, напоенному вечерними ароматами, рано улегся в

постель и крепким, непробудным сном, несмотря на пестрые сновидения, проспал

всю ночь.

 Назавтра погода не стала лучше. Дул береговой ветер. Под небом,

затянутым белесой пеленой, в тупом спокойствии простиралось море, с

прозаически близким горизонтом и так далеко откатившееся от берегов, что

рядами обнажились песчаные отмели. Ашенбаху, когда он открыл окно,

почудилось, что он слышит гнилостный запах лагуны.

 На душе у него стало тяжко. Он сразу же подумал об отъезде. Давно уже,

много лет назад, после радостных весенних дней его застигла здесь такая же

погода, и, удрученный, расстроенный, он бежал из Венеции. А сейчас разве не

охватил его тот же приступ тоски, разве опять не стучит у него в висках, не

тяжелеют веки? Снова менять местопребывание слишком хлопотно, но если ветер

не переменится, нечего и думать о том, чтобы здесь оставаться. Для верности

он решил не распаковывать всех своих вещей. В девять часов он позавтракал в

буфете -- небольшом помещении между холлом и залом ресторана.

 Здесь царила торжественная тишина -- гордость больших отелей. Официанты

неслышно ступали в своих мягких туфлях. Стук чайных ложек о чашки,

полушепотом сказанное слово -- вот и все, что слышалось здесь. В углу,

наискосок от двери и через два столика от него, Ашенбах заметил польских

девиц с гувернанткой. В тугих синих холщовых платьях с белыми отложными

воротничками и белыми же манжетами, с затянутыми пепельными волосами и еще

красноватыми веками, они сидели очень прямо, любезно передавая друг другу

вазочку с вареньем. Завтракать они уже кончали. Мальчика с ними не было.

 Ашенбах улыбнулся. "Ах ты, маленький феак! -- подумал он. -- Тебе, не в

пример сестрам, дано преимущество спать сколько угодно". И, внезапно

развеселившись, мысленно процитировал: "Частая смена одежд, и покой, и

нагретые ванны..."

 Он не спеша позавтракал, принял почту от портье, который вошел, держа в

руках свою расшитую галунами фуражку, и, не выпуская изо рта папиросы,

распечатал несколько конвертов. Потому-то он еще и оказался здесь при

появлении сонливца, которого дожидались за столиком в углу.

 Мальчик вошел в застекленную дверь и среди полной тишины наискось

пересек залу, направляясь к своим. Походка его, по тому как он держал

корпус, как двигались его колени, как ступали обутые в белое ноги, была

неизъяснимо обаятельна, легкая, робкая и в то же время горделивая, еще более

прелестная от того ребяческого смущения, с которым он дважды поднял и

опустил веки, вполоборота оглядываясь на незнакомых людей за столиками.

Улыбаясь и что-то говоря на своем мягком, расплывающемся языке, он опустился

на стул, и Ашенбах, увидев его четкий профиль, вновь изумился и даже

испугался богоподобной красоты этого отрока. Сегодня на нем была легкая

белая блуза в голубую полоску с красным шелковым бантом, завязанным под

белым стоячим воротничком. Но из этого воротничка, не очень даже подходящего

ко всему костюму, в несравненной красоте вырастал цветок его головы --

головы Эрота в желтоватом мерцании паросского мрамора, -- с тонкими суровыми

бровями, с прозрачной тенью на висках, с ушами, закрытыми мягкими волнами

спадающих под прямым углом кудрей.

 "Как красив!" -- думал Ашенбах с тем профессионально холодным

одобрением, в которое художник перед лицом совершенного творения рядит

иногда свою взволнованность, свой восторг. Мысли его текли дальше: "Право

же, если бы море и песок не манили меня, я бы остался, покуда ты остаешься

здесь!" Итак, он поднялся, прошел, почтительно приветствуемый служащими

отеля, через холл, спустился с большой террасы и по деревянным мосткам

зашагал к огороженному пляжу для постояльцев отеля. Там он попросил

босоногого старика в полотняных штанах, в матросской тельняшке и соломенной

шляпе, исправляющего должность сторожа, показать оставленную для него

кабинку, велел вынести стол и кресло наружу, на деревянную засыпанную песком

площадку, и удобно расположился в шезлонге, который подтащил поближе к морю,

где песок был золотисто-желтый, как воск.

 Вид пляжа, культуры, беспечно и чувственно наслаждающейся на краю

стихии, занимал и радовал его больше, чем когда-либо. Серое и плоское море

ужо ожило, расцветилось детьми, шлепающими по воде, пловцами, пестрыми

фигурами, которые, заложив руки за голову, лежали на песчаных отмелях.

Другие орудовали веслами, сидя в маленьких бескилевых лодочках, раскрашенных

синим и красным, и громко хохотали, когда суденышко опрокидывалось. Перед

далеко вытянувшимся рядом кабин, на деревянных площадках которых люди

сидели, как на верандах, равноправно царили беспечный задор игры и лениво

простершийся покой, обмен визитами, болтовня, продуманная элегантность

утренних туалетов и нагота, непринужденно и невозмутимо пользующаяся

вольностями приморского уголка. У самой кромки моря на влажном и твердом

песке бродили купальщики в белых халатах или просторных и ярких пляжных

костюмах. Справа высилась замысловатая песчаная крепость, возведенная детьми

и утыканная флажками всех стран. Продавцы раковин, сластей и фруктов,

опустившись на колени, раскладывали свой товар. Слева, перед одной из

кабинок, стоявших поперек к остальным и к морю и с этой стороны замыкавших

пляж, расположилось русское семейство: бородатые мужчины с крупными зубами,

вялые и рыхлые женщины, девица из прибалтийских провинций, которая, сидя у

мольберта, с возгласами отчаяния писала море, двое добродушно некрасивых

детей, старая нянька, повязанная платком, с угодливыми повадками рабыни. Они

благодарно наслаждались жизнью, без устали окликали непослушных,

заигравшихся детей, - шутили, благо в запасе у них имелось несколько

итальянских слов, с комичным стариком, у которого покупали сласти, целовали

друг друга в щеки, нимало не заботясь о наблюдающих эту интимность.

 "Итак, я остаюсь, -- думал Ашенбах. -- Лучшего мне не найти!" И,

скрестив руки на коленях, он стал смотреть в морскую даль, которая

ускользала от его взгляда, стушевывалась, укрываясь от него за однотонной

туманной дымкой. Ашенбах любил море по причинам достаточно глубоким: из

потребности в покое, присущей самоотверженно работающему художнику, который

всегда стремится прильнуть к груди простого, стихийного, спасаясь от

настойчивой многосложности явлений; из запретного, прямо противоположного

сути его работы и потому тем более соблазнительного тяготения к

нераздельному, безмерному, вечному, к тому, что зовется Ничто. Отдохнуть

после совершенного -- мечта того, кто радеет о хорошем, а разве Ничто не

одна из форм совершенства? И вот, когда он так углубился в созерцание

пустоты, горизонтальную линию береговой кромки вдруг перерезала человеческая

фигура. И когда Ашенбах отвел взор от бесконечного и с усилием

сосредоточился, он увидел, что это все тот же красивый мальчик прошел слева

от него по песку. Он шел босиком, видно, собираясь поплескаться в воде; его

стройные ноги были обнажены до колен, шел неторопливо, но так легко и гордо,

словно весь свой век не знал обуви, шел и оглядывался на поперечные кабинки.

Но едва он заметил русскую семью, которая усердно там благодушествовала, как

на лицо его набежала туча гневного презрения. Лоб его омрачился, губы

вздернулись кверху, и с них на левую сторону лица распространилось горькое

дрожанье, как бы разрезавшее щеку; брови его так нахмурились, что глаза

глубоко запали и из-под сени бровей заговорили темным языком ненависти. Он

потупился, потом еще раз обернулся, словно угрожая, передернул плечом,

отмахиваясь, отстраняясь, и оставил врагов в тылу.

 Какое-то неуловимое чувство, может быть испуг или нечто сродни уважению

и стыду, заставило Ашенбаха отвернуться, сделать вид, что он ничего не

заметил. Случайному соглядатаю страсти недостойно воспользоваться увиденным,

даже для своих потайных размышлений. Но он был обрадован и потрясен в то же

время, иначе говоря -- счастлив. Эта вспышка детского национального

фанатизма, вызванная благодушнейшей обывательской идиллией, перенесла

божественно-пустое в сферу человеческих отношений, и прекрасное творение

природы, казалось бы созданное только для услады глаз, сделалось достойным

более глубокого участия. И это неожиданно сообщило и без того

примечательному своей красотою образу подростка масштаб, заставляющий

относиться к нему не по годам серьезно.

 Не оборачиваясь, Ашенбах прислушивался к звонкому и немного слабому

голосу мальчика, еще издалека окликавшему новых приятелей, которые возились

у крепости. Ему отвечали, несколько раз выкрикнув его имя, видимо,

уменьшительное; Ашенбах пытался его уловить, но сумел разобрать лишь два

мелодических слога --- что-то вроде "Адзьо" или, вернее, "Адзьу" с призывным

и протяжным "у". Благозвучие этого имени обрадовало Ашенбаха, показалось ему

как нельзя более подходящим его носителю. Он несколько раз неслышно его

произнес и, успокоенный, занялся своей корреспонденцией.

 Раскрыв на коленях маленький дорожный бювар и вооружившись вечным

пером, он стал отвечать на некоторые из полученных сегодня писем. Но уже

через четверть часа ему показалось обидным отрешаться в мыслях от возможного

и высокого наслаждения, подменять его безразличным занятием. Он отбросил

перо и бумагу. Он вернулся обратно к морю и очень скоро перестал смотреть на

него, отвлеченный голосами подростков, суетившихся у песчаной крепости.

Поудобнее устроившись в шезлонге, он стал смотреть вправо, что там делает

прелестный Адзио.

 Отыскал он его с первого же взгляда: красный бант издали бросался в

глаза. Вместе с другими детьми он был занят сооружением из старой доски

моста через мокрый ров песчаной крепости и при этом кивал головой,

распоряжался, давал какие-то указания. Всех ребят было человек десять,

мальчиков и девочек, его лет и младше, наперебой болтавших по-польски,

по-французски, а также на балканских наречиях. Его имя произносилось чаще

других. Видимо, все домогались его дружбы, он был предметом восхищения и

восторга. Один из мальчиков, тоже поляк, которого называли странным именем

"Яшу", приземистый, с черными напомаженными волосами, в полотняной куртке с

кушаком, был, казалось, самым верным его вассалом и другом. Когда работа над

песчаным строением была закончена, они в обнимку пошли вдоль пляжа и тот,

которого называли "Яшу", поцеловал красавца.

 Ашенбаху захотелось погрозить ему пальцем. "Тебе же советую, Критобул,

-- подумал он и улыбнулся, -- отправляйся на год в странствие! Ибо не меньше

времени надо тебе, чтобы выздороветь". Потом он позавтракал крупной, спелой

земляникой, которую тут же купил у торговца. Стало очень тепло, хотя солнцу

так и не удалось пробиться сквозь мглистую дымку, закрывшую небо. Вялость

сковала его дух, чувства же в упоении внимали говору хмельной неимоверной

тишины моря. Отгадать, выискать, что же это за имя, которое звучит как

"Адзио", казалось этому серьезному человеку достойной задачей, наиважнейшим

делом. Наконец с помощью кое-каких польских воспоминаний он установил, что

это, вероятно, Тадзио, уменьшительное от Тадеуш.

 Тадзио купался, Ашенбах, потерявший было его из виду, заметил вдруг

далеко в море его голову и руки, которые он, плавая, поочередно выбрасывал

вперед. Море, вероятно, и там было мелкое, но на берегу уже встревожились,

из кабинок стали раздаваться женские голоса, выкрикивавшие его имя, и оно

заполонило все взморье мягкими своими согласными с протяжным "у" на конце,

имя, сладостное и дикое в то же время: "Тадзиу! Тадзиу!" Он вернулся, он

бежал с закинутой назад головой, вспенивая ногами сопротивлявшуюся воду, и

видеть, как это живое создание в своей строгой предмужественной прелести, со

спутанными мокрыми кудрями, внезапно появившееся из глубин моря и неба,

выходит из водной стихии, бежит от нее, значило проникнуться мифическими

представлениями. Словно то была поэтическая весть об изначальных временах, о

возникновении формы, о рождении богов. Ашенбах с закрытыми глазами внимал

этой песне, зазвучавшей внутри его, и снова думал, что здесь хорошо и что он

здесь останется.

 Потом Тадзио отдыхал от купанья, лежал на песке, завернувшись в белую

простыню, спущенную с правого плеча, и склонив голову на обнаженную руку. И

даже когда Ашенбах не смотрел на него, а прочитывал страницу-другую из

взятой с собою книги, он все время помнил, что тот лежит поблизости, --

стоит только слегка повернуть голову вправо, и тебе откроется нечто чудно

прекрасное. Временами Ашенбаху даже чудилось, что он сидит здесь как страж

его покоя, пусть занятый своими делами, но бдительно охраняющий благородное

дитя человеческое, там справа, совсем неподалеку. И отеческое

благорасположение, растроганная нежность того, кто, ежечасно жертвуя собой,

духом своим творит красоту, к тому, кто одарен красотой, заполнила и

захватила его сердце.

 В полдень он ушел с пляжа, вернулся в отель и на лифте поднялся в свою

комнату. Там он долго стоял перед зеркалом, рассматривая свои седые волосы,

свое усталое лицо с заострившимися чертами, В эти мгновения он думал о своей

славе и о том, что на улицах многие узнают его и благоговейно разглядывают и

что этим он обязан своему точно бьющему в цель обаятельному слову. Он

вызывал в памяти все, какие только вспомнились, внешние успехи своего

таланта, даже дворянскую грамоту, затем спустился ко второму завтраку и в

одиночестве сел за свой столик. Когда, быстро покончив с едой, он входил в

лифт, целая компания подростков, тоже возвращавшихся с завтрака, ворвалась

вслед за ним в эту взмывавшую кверху каморку. Среди них был и Тадзио. Он

оказался совсем близко от Ашенбаха, впервые так близко, что тот видел и

узнавал его не на расстоянии, как смотрят картину, а почти вплотную, со

всеми характерными деталями человеческого облика. Кто-то обратился к Тадзио,

он ответил с неописуемо обворожительной улыбкой и, попятившись, с опущенными

глазами, тут же вышел на втором этаже. "Красота стыдлива", -- решил Ашенбах

и стал думать, почему бы, собственно. Меж тем он успел заметить, что зубы у

мальчика не совсем хороши, немного неровные, бледные, без белого блеска

здоровья, а хрупкие и прозрачные, как при малокровии. "Он слабый и

болезненный, -- думал Ашенбах, -- верно, не доживет до старости". И

предпочел не вникать в то чувство удовлетворения и спокойствия, которое

охватило его.

 Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по

лагуне, пахнувшей гнилью, в Венецию. На площади Св. Марка он выпил чаю и,

верный здешнему своему обыкновению, отправился бродить по улицам. Но на сей

раз прогулка принесла с собою полную перемену настроения и планов на

ближайшее будущее.

 Удушливая, нестерпимая жара стояла на улицах, воздух был так плотен,

что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака

духов и так далее клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел

неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тесных

тротуарах раздражала, а не развлекала Ашенбаха. Чем дальше он шел, тем

назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь

морской воздух и сирокко, -- возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий

пот выступил у него на теле, глаза отказывались видеть, грудь стеснило, его

бросало то в жар, то в холод, кровь стучала в висках. Спасаясь от сутолоки

деловых уличек, он уходил по мостам в кварталы бедноты. Там его одолели

нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов, На тихой маленькой

площади, в одном из тех забытых и зачарованных уголков, которых еще много в

недрах Венеции, он присел на край фонтана, отер пот со лба и понял: надо

уезжать.

 Во второй раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город при

такой погоде приносит ему только вред. Упорствовать и оставаться здесь было

бы неразумно, надеяться на перемену ветра -- бессмысленно. Надо быстро

принимать решение. Тотчас же возвратиться домой нельзя. Ни летний дом, ни

зимняя квартира не приготовлены к его приезду. Но ведь не только здесь есть

море и пляж, найдутся и в другом месте, без этой гнусной лагуны с ее

лихорадочными испарениями. Он вспомнил, что ему очень хвалили маленький

морской курорт возле Триеста, Почему бы не отправиться туда? И уж конечно

без промедления, а то и не приживешься на новом месте. Он счел, что решение

принято, и поднялся, на ближайшей стоянке сел в гондолу и по сумрачному

лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами со львами, огибая

скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными вывесками на

фасадах, отражения которых колебались в зеркале вод, поплыл к площади Св.

Марка. Нелегко дался ему этот путь, гондольер, радевший об интересах

стеклодувных мастерских и кружевных фабрик, то и дело пытался подвигнуть его

на осмотр или покупку, и .если прихотливая красота Венеции уже снова его

заворожила, то корыстный торгашеский дух этой падшей царицы отрезвлял и

сердил его.

 Вернувшись в отель, он еще до обеда заявил администрации, что по

непредвиденным обстоятельствам должен завтра утром уехать. Ему выразили

сожаления и выписали счет. Он пообедал и провел душный вечер за чтением

журналов, сидя в качалке на террасе, выходившей в сад. Прежде чем лечь

спать, он упаковал все свои вещи.

 Спалось ему неважно, так как вновь предстоящий отъезд его тревожил.

Когда он утром открыл окно, небо было по-прежнему пасмурно, но воздух

казался свежее; и -- тут-то пришло раскаяние. Конечно, его заявление

администрации отеля было слишком поспешным и опрометчивым, поступком,

совершенным в состоянии невменяемости и болезненного раздражения. Если бы он

немного повременил, не действовал бы так круто, а попытался приспособиться к

венецианскому воздуху или выждать улучшения погоды, вместо суеты и спешки

ему бы теперь предстояло утро на пляже, такое же, как вчера. Но поздно!

Сейчас он должен ехать, хотеть того, что хотел вчера. Он оделся и в восемь

часов спустился к завтраку.

 В небольшом зале буфета еще никого не было. Кое-кто, правда, подошел,

покуда он сидел и дожидался заказанного. И уже поднося чашку ко рту, он

увидел, что входят польские девицы в неизменном сопровождении гувернантки.

Чинные, по-утреннему свежие, с покрасневшими веками, они прошли к своему

столику в углу у окна. Тотчас же вслед за ними появился портье, держа в руке

фуражку, и напомнил ему, что пора ехать. Автомобиль уже ждет, чтобы отвести

его и других отъезжающих в отель Эксцельсиор, откуда катер по частному

каналу компании доставит их на вокзал. Времени уже в обрез. Ашенбах же

полагал, что спешить не приходится. До отхода поезда целый час. Он досадовал

на обычай всех отелей раньше времени выпроваживать уезжающих гостей и

внушительно заметил портье, что хотел бы спокойно позавтракать. Тот нехотя

ретировался, чтобы через пять минут появиться снова. Машина больше не может

ждать. Тогда пусть едет и забирает его сундук, раздраженно отвечал Ашенбах.

Сам он в положенное время приедет на рейсовом катере и вообще просит заботу

об его отъезде предоставить ему самому. Портье поклонился. Ашенбах, радуясь,

что избавился от докучных напоминаний, неторопливо закончил свой завтрак и

даже спросил газету у официанта. Времени уже и в самом деле оставалось в

обрез, когда он наконец поднялся. Случилось, что в это мгновенье вошел

Тадзио.

 Направляясь к своему столику, он едва не столкнулся с Ашенбахом,

скромно потупился перед седовласым высоколобым человеком, тотчас же по

милому своему обыкновению мягким взором посмотрел ему прямо в глаза и прошел

мимо. "Прощай, Тадзио! Недолго я тебя видел!" -- подумал Ашенбах. Как ни

странно, он даже проговорил эти слова, неслышно шевеля губами, добавил:

"Будь благословен!" -- и стал собираться в дорогу. Он роздал чаевые,

простился с тихим маленьким администратором во французском сюртуке и, как

пришел пешком, так и ушел из отеля, сопровождаемый коридорным, который нес

его чемоданы, ушел по белым цветом цветущей аллее, пересекающей остров,

которая привела его прямо к пароходной пристани. Он купил билет, сел на

место -- и то, что за сим последовало, был крестный путь, горестное

странствие по глубинам раскаяния.

 Пароходик бежал по знакомой дороге через лагуну, мимо площади Св.

Марка, вверх по Канале Гранде. Ашенбах сидел на круглой скамейке на носу

парохода, опершись о поручни и рукой защищая глаза от света. Общественные

сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта в своей царственной прелести

и тут же скрылась из глаз, потянулся долгий ряд дворцов, а когда водная

дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и

стремительная. Ашенбах смотрел, и сердце его разрывалось. Атмосферу города,

отдававший гнилью, запах моря и болота, который гнал его отсюда, он теперь

вдыхал медленно, с нежностью и болью. Возможно ли, что он не знал, не думал

о том, как близко все это его сердцу? То, что сегодня утром было легким

сожалением, известной неуверенностью в том, что он поступает правильно,

теперь обернулось унынием, подлинной болью, такой душевной тоской, что слезы

набегали у него на глаза и он все корил себя за то, что никак этой тоски не

предвидел.. Тяжкой, минутами просто непереносимой, казалась ему мысль, что

он никогда больше не увидит Венеции, что это прощание навеки. Вот уже второй

раз этот город делает его больным, второй раз он вынужден очертя голову

бежать из него и, значит, впредь должен будет к нему относиться как к

чему-то запретному, недозволенному и непосильному, о чем даже и мечтать не

стоит. Более того, он чувствовал, что, если уедет теперь, стыд и упрямство

уже не позволят ему возвратиться в любимый город, перед которым он дважды

оказался физически несостоятельным, и этот разрыв между душевным влечением и

телесной возможностью вдруг показался стареющему человеку таким тяжким и

важным, а физическое поражение столь постыдным и недопустимым, что он никак

не мог понять легкомысленного безволия, которое вчера помогло ему без

серьезной борьбы принять и признать это поражение.

 И вот уже пароходик приближается к вокзалу, боль и растерянность

возрастают до душевного смятения. Отъезд кажется истерзавшемуся Ашенбаху

немыслимым, возвращение -- тем паче. Вконец измученный, он входит в здание

вокзала. Уже очень поздно, нельзя терять ни минуты, если хочешь поспеть на

поезд. Он хочет и не хочет. Но время теснит его и гонит вперед; он торопится

купить билет и среди вокзальной сутолоки ищет дежурного рассыльного из

отеля. Тот подходит и сообщает, что сундук уже сдан в багаж. Уже сдан? Да,

сдан на Комо. На Комо? Из торопливых сердитых вопросов, из смущенных ответов

выясняется, что экспедиция отеля Эксцельсиор вместе с другим чужим багажом

отправила его сундук в совершенно неверном направлении.

 Ашенбах с трудом сохранил на лице соответствующее обстоятельствам

выражение. Безудержная радость, необыкновенная веселость потрясали изнутри

его грудь. Рассыльный убежал, надеясь еще задержать сундук, и, как и

следовало ожидать, вернулся ни с чем. Ашенбах заявил, что никуда без багажа

не поедет, а возвратится назад и будет ждать, покуда ему не пришлют его

сундук. Не ушел ли еще катер? Рассыльный заверил, что он стоит у выхода.

Затем, быстро-быстро что-то лопоча, заставил кассира взять обратно билет и

поклялся приложить все усилия к тому, чтобы вызволить багаж. Так вот и

свершилось удивительное событие -- отъезжающий через двадцать минут после

своего прибытия на вокзал уже возвращался по Канале Гранде на Лидо.

 Странно неправдоподобное, постыдное, смешное и нелепое приключение.

Из-за пустой превратности судьбы через какие-нибудь полчаса вновь увидеть

места, с которыми ты в глубочайшей тоске прощался навеки. Вспенивая воду,

проворно и смешно лавируя между гондол и пароходов, быстрое маленькое

суденышко мчалось к своей цели, а единственный его пассажир прятал под

личиной досадливых сожалений боязливое и радостное возбуждение сбежавшего

мальчугана. Время от времени он все еще смеялся над этой неудачей, которая,

как он говорил себе, польстила бы и самому -удачливому. Теперь предстояло

давать объяснения, видеть удивленные лица, но зато потом, утешал он себя,

все опять будет хорошо, несчастья-то ведь он избежал, страшную ошибку

исправил, то, что должно было остаться позади, сейчас вновь ему открывается,

и он будет этим наслаждаться столько, сколько захочет... Что это? Обманывает

его быстрое движение или ко всему еще и ветер наконец задул с моря?

 Волны бились о бетонированные стенки узкого канала, прорытого через

весь остров к отелю Эксцельсиор. Автобус дожидался там незадачливого

путешественника и -- вдоль покрытого барашками моря -- повез его в отель.

Маленький усатый администратор в сюртуке спустился ему навстречу по широкой

лестнице.

 В деликатно льстивых словах высказав сожаление по поводу прискорбного

происшествия, весьма прискорбного для него лично и для их заведения, он

решительно одобрил намерение Ашенбаха дождаться здесь своего багажа. Правда,

его комната уже занята, но ему может быть тотчас же предоставлена другая,

ничуть не хуже. "Pas de chance, monsieur"[1], с улыбкой заметил

швейцарец-лифтер, когда кабина скользнула вверх. Итак, наш беглец снова

обосновался здесь, в комнате, по расположению и меблировке очень мало

отличавшейся от прежней.

 [1]Незадача, сударь (франц.).

 Усталый, оглушенный вихрем этого странного утра, он вынул вещи из

чемодана и опустился в кресло у окна. Море приняло зеленоватый оттенок,

воздух казался прозрачнее и чище, пляж пестрел множеством кабин и лодок,

хотя небо было по-прежнему хмуро. Ашенбах смотрел в окно, сложив руки на

коленях, довольный, что он опять здесь, и недовольный, даже огорченный своей

нерешительностью, незнанием самого себя. Так он просидел с добрый час,

отдыхая, предаваясь бездумным грезам. Около полудня он увидел Тадзио в

полосатом костюме с красным бантом, возвращавшегося с моря по длинным

деревянным мосткам. Ашенбах со своей вышки узнал его, собственно, даже

раньше, чем увидел, и собрался было подумать что-то вроде: "Эге, Тадзио, вот

и ты опять!" Но в ту же секунду почувствовал, что небрежный привет сник и

замолк перед правдой его сердца, -- почувствовал буйное волнение крови,

радость, душевную боль и понял, что отъезд был ему так труден из-за Тадзио.

 Он сидел, не шевелясь, никому не видимый со своего места и смотрел

внутрь себя. Черты его ожили, брови поднялись, внимательная любопытная и

одухотворенная улыбка тронула губы. Затем он поднял голову и, простерев

руки, безвольно свисавшие с подлокотников, сделал неторопливое вращательное

движение, словно открывал объятия, кого-то заключал в них. Это был

приветственный и умиротворенно приемлющий жест.

 Отныне нагой бог с пылающими ланитами день за днем гнал по небесным

просторам свою пышущую жаром квадригу, и его золотые кудри развевались на

ветру, задувшем с востока. Белый шелковистый глянец ложился на морские дали,

где лениво ворочались волны. Песок был раскален. Под серебристо-голубой

рябью эфира выделялась ржавого цвета парусина, натянутая перед кабинками, и

на резко очерченном теневом пятне, которое она отбрасывала, купальщики

проводили все утренние часы. Но чудесны были и вечера, когда цветы в парке

источали бальзамический аромат, светила вверху водили свой извечный хоровод

и бормотанье укрытого тьмою моря неназойливо, потихоньку проникало в души.

Эти вечера были радостным залогом новых солнечных дней, полных лишь слегка

упорядоченного досуга и украшенных бесчисленными, везде и всюду

разбросанными возможностями счастливого случая.

 Гость, которого здесь задержала услужливая неудача, был весьма далек от

того, чтобы в возвращении своего имущества видеть причину для нового

отъезда. Два дня он терпел кое-какие лишения и в ресторане вынужден был

появляться в дорожном костюме. Когда же заблудившийся сундук был наконец

водворен в его комнату, он тщательно все распаковал, набил шкаф и комод

своим добром, решившись пробыть здесь сколько бог на душу положит и радуясь,

что отныне в утренние часы будет носить свой шелковый пляжный костюм, к

обеду же появляться, как положено, в черном.

 В приятную размеренность этого существования он уже втянулся;

умиротворяющий, хотя и не лишенный блеска покой такого образа жизни скоро

его заворожил. Да и правда, какая же прелесть это сочетание благоустроенной

жизни у южного моря с близостью, с постоянной доступностью

таинственно-чудесного города! Ашенбах не любил наслаждаться. Праздновать,

покоить себя, искать беспечного времяпрепровождения было ему чуждо и

несвойственно. Даже в молодые годы он с тревогой и отвращением бежал досуга,

торопился обратно к высоким усилиям, к священно-разумному служению своих

будней. Только этот уголок земли его расслаблял и дарил счастьем. Лишь

изредка, по утрам, когда из-под тента своей кабинки он в мечтательной

рассеянности смотрел на синь южного моря, или в теплую ночь под крупно

вызвездившим небом, возвращаясь на Лидо в гондоле с площади Св. Марка, где

он вечно задерживался, когда пестрые огни и тающие в воздухе звуки серенад

как будто проплывали мимо него, он вспоминал свой деревенский дом в горах,

арену летних борений, где тучи тянулись низко над садом, страшные грозы по

вечерам задували свечи, и вороны, которых он кормил, раскачивали ветви на

соснах. В такие минуты ему казалось, что он сбежал в Элизиум, на самый край

земли, где людям суждена легчайшая жизнь, где нет зимы и снега, нет бурь и

ливней, где океан все кругом освежает прохладным своим дыханием и дни текут

в блаженном досуге, безмятежные, посвященные только солнцу и его

празднествам.

 Много, почти постоянно, видел Ашенбах мальчика Тадзио; ограниченное

пространство и общий для всех распорядок дня способствовали тому, что

всегда, разве что с короткими перерывами, прекрасный Тадзио был подле него.

Он видел, он встречал его повсюду: в нижних залах отеля, на приятно

освежающих водных прогулках в город и обратно из города, среди великолепия

площади и, когда случаю угодны были эти встречи, вообще на каждом шагу. Но

главным образом утро на пляже со счастливейшей регулярностью предоставляло

ему возможность долго и благоговейно изучать прекрасное создание. Да, эта

непременность счастья, эта ежедневно обновляющаяся милость обстоятельств

наполняли его сердце довольством, радостью, и сияющие солнечные дни долгой

чредой следовали друг за другом.

 Он вставал рано, что прежде делал лишь при жгучей потребности в работе,

и раньше других приходил на пляж, когда солнце еще было ласково и море, сияя

белизной, покоилось в утренней неге. Ашенбах дружески приветствовал сторожа

у загородки, как со старым знакомцем раскланивался с босоногим и белобородым

старцем, который уже убирал его кабинку, натягивал коричневый тент и выносил

кресло на площадку. Он усаживался, теперь ему принадлежали три или четыре

часа. За это время солнце, достигнув зенита, обретало непомерную мощь, море

становилось все синее и синее и он мог смотреть на Тадзио.

 Ашенбах видел, как он приближался слева, вдоль края воды, как выходил

из-за ряда кабинок, или вдруг не без радостного испуга обнаруживал, что не

заметил его прихода, что он уже здесь в своем неизменном синем с белым

пляжном костюме и в песке, на солнцепеке, затеял обычную возню, вновь

предался тому мило-никчемному, досужему времяпрепровождению, которое было

одновременно игрой и покоем, хождением взад и вперед, шлепаньем по воде,

беготней, лежаньем и плаваньем. Женщины следили за ним с площадки перед

кабиной и то и дело звонкими голосами окликали его: "Тадзиу, Тадзиу", а он

подбегал к ним, чтобы, оживленно жестикулируя, рассказать о том, что сейчас

видел, выложить перед ними то, что нашел, изловил: это были раковины,

морские коньки, медузы и боком пятящиеся рачки. Ашенбах ни слова не понимал

из того, что говорил мальчик, и если он и произносил самые обыденные слова,

для Ашенбаха они сливались в некое туманное благозвучие. Так чужеземная речь

мальчика превращалась в музыку, задорное солнце щедро заливало его своим

блеском, а возвышенная бездонность моря служила зыбким фоном его красоте.

 Вскоре Ашенбах знал каждую линию, каждый поворот этого прекрасного,

ничем не стесненного тела, всякий раз наново приветствовал он уже знакомую

черту красоты, и не было конца его восхищению, радостной взволнованности

чувств. Дамы звали мальчика поздороваться с гостем, подошедшим к кабинке, он

выскакивал из воды и мокрый бежал, на ходу встряхивая кудрями, и когда,

подавая руку, он всей тяжестью тела опирался на одну ногу, другою едва

касаясь земли, в изгибе, в изящном повороте его тела было столько

очарования, столько сосредоточенности, обаятельной, целомудренной

внимательности к ближнему и аристократической обязательности. Он лежал,

вытянувшись во весь рост, по грудь закутанный в купальную простыню, точеной

рукой опершись оземь и подбородком уткнувшись в кулачок. Тот, которого звали

"Яшу", прикорнул возле, всячески его обхаживал, и, казалось, не было на

свете ничего обольстительнее той улыбки, которая мелькала на губах и в

глазах этого любимца богов, когда он взглядывал на своего вассала. Он стоял

у самой воды, один, в стороне от своих близких, совсем подле Ашенбаха, стоял

прямо, заложив руки за голову, медленно раскачиваясь, и мечтал, заглядевшись

на синеву, а мелкие волны, набегая, брызгали пеной в его ступни. Медвяные

волосы мальчика кольцами вились на висках и на затылке, солнце подсвечивало

чуть приметный пушок между лопаток, изящный абрис ребер и гармоническая

линия груди проступали сквозь ткань простыни; под мышками у него была

гладкая впадинка, как у статуи, кожа под коленями блестела, и голубоватые

жилки, казалось, говорили о том, что это тело сотворено из необычно

прозрачного вещества. Какой отбор кровей, какая точность мысли были

воплощены в этом юношески совершенном теле! Но разве суровая и чистая воля,

которая сотворила во мраке и затем явила свету это божественное создание, не

была знакома, присуща ему, художнику? Разве не действовала она и в нем,

когда, зажегшийся разумной страстью, он высвобождал из мраморной глыбы языка

стройную форму, которую провидел духом и являл миру как образ и отражение

духовной красоты человека?

 Образ и отражение! Его глаза видели благородную фигуру у кромки синевы,

и он в восторженном упоении думал, что постигает взором самое красоту, форму

как божественную мысль, единственное и чистое совершенство, обитающее мир

духа и здесь представшее ему в образе и подобии человеческом, дабы прелестью

своей побудить его к благоговейному поклонению. Это был хмельной восторг, и

стареющий художник бездумно, с алчностью предался ему. Дух его волновался,

всколыхнулось все узнанное и прожитое, память вдруг вынесла на свет

старые-престарые мысли, традиционно усвоенные смолоду и доселе не согретые

собственным огнем. Разве не читал он где-то, что солнце отвлекает наше

внимание от интеллектуального и нацеливает его на чувственное? Оно так

дурманит и завораживает, еще говорилось там, наш разум и память, что душа в

упоении забывает о себе, взгляд ее прикован к прекраснейшему из освещенных

солнцем предметов, более того: лишь с помощью тела может она тогда подняться

до истинно высокого созерцания. Амур, право же, уподобляется математикам,

которые учат малоспособных детей, показывая им осязаемые изображения чистых

форм, -- так и этот бог, чтобы сделать для нас духовное зримым, охотно

использует образ и цвет человеческой юности, которую он делает орудием

памяти и украшает всеми отблесками красоты, так что при виде ее боль и

надежда загораются в нас.

 Так думал, так чувствовал восторженный Ашенбах. И вот из рокота моря и

солнечного блеска соткалась для него чарующая картина. Старый платан под

стенами Афин, -- та священная сень, напоенная ароматами, которую украшают

изваяния и набожные приношения афинян в честь нимф и Ахелоя. Прозрачный

ручей спадает к подножию ветвистого дерева и бежит по мелкой округлой

гальке, стрекочут цикады. На лужку, чуть покатом, так что у лежащего голова

покоилась словно на подушке, лежат двое, укрывшись от знойного солнца; один

уже в летах, другой еще юноша, один урод,; другой красавец, -- мудрый рядом

с тем, кто создан, чтобы внушать любовь. Вперемежку с любезными словами, с

остроумными, поощрительными шутками Сократ поучал Федра тоске по

совершенству и добродетели. Он толковал ему о горячей волне испуга,

захлестывающей того, кто способен чувствовать, когда его взору открывается

подобие вечной красоты; говорил о вожделениях дурного, лишенного благодати

человека, который не может вообразить себе красоту, глядя на ее отображение,

и не знает благоговейного чувства; еще говорил о священном страхе,

нападающем на чистого сердцем при лицезрении богоподобного лица и

совершенного тела, -- о волнении, которое его охватывает до полной потери

самообладания, он едва смеет поднять глаза и преклоняет колени перед тем,

кто одарен красотой и готов был бы приносить ему жертвы как изваянию

божества, если бы не боялся, что люди ославят его безумцем. Ибо только

красота, мой Федр, достойна любви и в то же время зрима; она, запомни это,

единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и

благодаря чувству -- стерпеть. Подумай, что сталось бы с нами, если б все

божественное, если бы разум, истина и добродетель являлись нам в чувственном

обличье? Разве мы не изошли бы, не сгорели бы от любви, как некогда Семела

перед Зевсом? Итак, красота -- путь чувственности к духу, -- только путь,

только средство, мой маленький Федр... И тут, лукавый ухаживатель, он

высказал острую мысль: любящий-де ближе к божеству, чем любимый, ибо из этих

двоих только в нем живет бог, -- претонкую мысль, самую насмешливую из всех

когда-либо приходивших на ум чело-: веку, мысль, от которой взялось начало

всего лукавства, всего тайного сладострастия, любовной тоски.

 Счастье писателя -- мысль, способная вся перейти в чувство, целиком

переходящее в мысль. Эта пульсирующая мысль, это точное чувство в те дни

было подвластно и покорно одинокому Ашенбаху, мысль о том, что природу

бросает в дрожь от блаженства, когда дух в священном трепете склоняется

перед красотой. Внезапно ему захотелось писать. Правда, говорят, что Эрот

любит праздность, для нее только и создан. Но в этой точке кризиса

возбуждение раненного его стрелой обернулось творчеством. Повод, собственно

говоря, безразличен. Потребность открыто и весомо высказаться о

значительной, жгучей проблеме культуры и вкуса завладела его интеллектом,

так сказать, догнала беглеца. Предмет был ему знаком, был составной частью

его бытия; желание, чтобы он заблистал в свете его слова, сделалось вдруг

непреодолимым. К нему присоединилось второе -- работать в присутствии

Тадзио, взять за образец облик мальчика, принудить свой стиль следовать за

линиями этого тела, представлявшегося ему богоподобным, и вознести его

красоту в мир духа, как некогда орел вознес в эфир троянского пастуха.

Блаженство слова никогда не было ему сладостнее, никогда он так ясно не

ощущал, что Эрот присутствует в слове, как в эти опасно драгоценные часы,

когда он, под тентом, за некрашеным столом, видя перед собой своего идола,

слыша музыку его голоса, формировал по образцу красоты Тадзио свою прозу, --

эти изысканные полторы странички, прозрачность которых, благородство и

вдохновенная напряженность чувств, вскоре должны были вызвать восхищение

многих. Хорошо, конечно, что мир знает только прекрасное произведение, но не

его истоки, не то, как оно возникло; ибо знание истоков, вспоивших

вдохновение художника, нередко могло бы смутить людей, напугать их и тем

самым уничтожить воздействие прекрасного произведения. Странные часы!

Странно изматывающие усилия! На редкость плодотворное общение духа и тела!

Когда Ашенбах сложил листки и собрался уходить с пляжа, он почувствовал себя

обессиленным, опустошенным, его даже мучила совесть, как после

недозволенного беспутства.

 На следующее утро, выходя из отеля, он еще с лестницы увидел Тадзио,

который направлялся к морю совсем один и уже подходил к ограде пляжа.

Желание, простая мысль воспользоваться случаем и свести веселое,

непринужденное знакомство с тем, кто, сам того не зная, одарил его таким

возвышенным волнением, заговорить с ним, порадоваться его ответу, его

взгляду, напрашивалась сама собой. Красивый мальчик шел не торопясь, догнать

его ничего не стоило, и Ашенбах ускорил шаги. Он настигает его на мостках за

кабинками, хочет положить руку ему на плечо, дотронуться до его головы,

какие-то слова, приветливая французская фраза, уже вертятся у него на языке,

-- и тут он чувствует, что его сердце, возможно, от быстрой ходьбы, стучит

как молоток, дыханье его затруднено и заговорить он может разве что

сдавленным, дрожащим голосом; он колеблется, хочет овладеть собой, ему вдруг

становится страшно, слишком долго он идет за ним, тот может заметить,

обернуться и вопросительно взглянуть на него; он снова рвется вперед,

замирает, ставит крест на своем намерении и, опустив голову, проходит мимо.

 "Слишком поздно! -- подумал он. -- Слишком поздно!" Но поздно ли? Ведь

этот шаг, которого он не сделал, мог бы привести к доброму, радостному и

легкому -- к целительному отрезвлению. Но он, стареющий человек, верно и не

стремился к нему, слишком дорожил хмельным своим состоянием. Кто разгадает

суть и стать жизни в искусстве? Кто поймет, как прочно сплавились в ней

самообуздание и необузданность? Ибо не желать целительного отрезвления --

необузданность. Ашенбах более не был расположен к самокритике: вкус,

духовный склад его времени, уважение к себе, зрелость и поздно пришедшая к

нему простота сделали его несклонным расчленять побудительные причины и

решать, совесть или нерадивость и слабость помешали ему выполнить свое

намерение. Он был сбит с толку, боялся, что кто-нибудь, пусть даже сторож,

заметит его бег, его поражение, боялся показаться смешным. В то же время он

сам подсмеивался над своим священно-комическим страхом. "Оробел, -- думал

он, -- оробел и как петух трусливо опустил крылья в разгаре боя. Нет, право

же, это бог заставляет нас при виде любимого терять мужество, пригибает к

земле наш гордый дух..." Он забавлялся, грезил, он был слишком высокомерен,

чтобы страшиться чувства.

 Он больше не заботился о сроке каникул, которые сам себе устроил, мысль

о возвращении домой уже не приходила ему на ум. Он выписал себе большую

сумму денег. Единственное, что его тревожило, это возможный отъезд польского

семейства. Впрочем, он исподтишка выпытал у парикмахера в отеле, что поляки

прибыли совсем незадолго до него. Солнце покрыло загаром его лицо и руки,

соленое дыханье ветра закалило его для любви, и если раньше всякий приток

сил, дарованный ему сном, пищей или природой, он спешил отдать своей работе,

то теперь все, чем подкрепляли его солнце, досуг и воздух, он великодушно и

бесхозяйственно растрачивал на опьянение чувством.

 Сон его был недолог; прекрасно однообразные дни разделялись короткими

ночами, исполненными счастливых тревог. Правда, он рано поднимался к себе,

так как уже в девять часов, едва только исчезал Тадзио, день казался ему

прожитым. Но только начинало светать, как его уже будил пронизывающий

сладкий испуг, воспоминание о сердечном приключении. Он не в силах был

оставаться в постели, -- вставал, спасаясь от утренней дрожи, накидывал на

плечи халат и садился у открытого окна дожидаться восхода солнца. Душа его,

освященная сном, благоговела перед этим дивным событием. Небо, земля и море

еще покоились в белесоватой дымке раннего утра; еще плыла в беспредельности

угасающая звезда. Но вот пронеслось легкое дуновение, крылатая весть из

неприступных обителей о том, что Эос поднялась с брачного ложа, и уже

первая, чуть приметная нежная злость в дальней дали окрашивает небо и море,

знак того, что мир начинает пробуждаться. Приближается богиня,

похитительница юношей, это она украла Клейта и Кефала, это она, на зависть

всем олимпийцам, наслаждалась любовью прекрасного Ориона. Кто-то сыплет

розами на краю света, несказанно нежное свечение и цветение, малютки облака,

просветленные изнутри, прозрачные, точно амуры-прислужники парят в розовом,

в голубоватом благоухании; пурпур пал на море, и оно неспешно понесло его

вперед, к берегу; золотые копья метнулись снизу в небесную высь, блеск стал

пожаром, беззвучно, с божественной, нездешней мощью растекся зной, огонь;

языки пламени лизнули небо, и священные кони брата, потрясая гривами,

взнеслись над землею.

 Недреманным оком смотрел одинокий человек на это божественное

великолепие, потом он закрыл глаза, подставляя веки поцелуям извечного чуда,

Прежние чувства, ранние, бесценные порывы сердца, угасшие в непрерывном

суровом служении и теперь вернувшиеся в столь странном обличий, -- он

узнавал их и приветствовал смущенной, растерянной улыбкой. Он думал, грезил,

губы его неторопливо слагали чье-то имя; и, все еще улыбаясь, все еще подняв

к небу лицо и уронив руки на колени, он снова задремал в своем кресле.

 Но день, начавшийся так пламенно и празднично,; весь оставался

приподнятым, мифически преображенным. Откуда бралось это веяние, мимолетное

и полное значения, что как нездешний шепот касалось висков и уха? Белые

перистые облачка толпились в высоте, словно стада Олимпа на пастбище. Ветер

усилился, и кони Посейдона помчались, теснясь, вставая на дыбы, или то были

быки синекудрого, что с ревом сшибались рогами? Меж валунов в отдаленной

части берега волны прыгали и резвились, как козочки. Священно преображенный

мир, полный трепета жизни, обнимал зачарованного, и сердцу его грезились

прелестные сказки. Много раз, когда за Венецией заходило солнце, он сидел на

скамье в парке, чтобы наблюдать за Тадзио в белом костюме с цветным кушаком,

забавлявшимся игрою в мяч на утрамбованной площадке, и ему думалось, что он

видит перед собой Гиацинта, который должен умереть, ибо его любят два бога.

Он даже мучился острой завистью Зефира к сопернику, позабывшему оракула, лук

и кифару для игры с прекрасным юношей; он видел диск, который беспощадная

ревность метнула в прекрасную голову, и подхватывал, даже бледнел при этом,

поникшее тело, и на цветке, возросшем из сладостной крови, была начертана

его бесконечная жалоба...

 Нет отношений страннее и щекотливее, чем отношения людей, знающих друг

друга только зрительно, -- они встречаются ежедневно и ежечасно, друг за

другом наблюдают, вынужденные, в силу общепринятых правил или собственного

каприза, сохранять внешнее безразличие -- ни поклона, ни слова.

Беспокойство, чрезмерное любопытство витают между ними, истерия

неудовлетворенной, противоестественно подавленной потребности в общении, во

взаимопознании, но прежде всего нечто вроде взволнованного уважения. Ибо

человек любит и уважает другого, покуда не может судить о нем, и любовная

тоска -- следствие недостаточного знания.

 Какие-то отношения, какая-то связь неизбежно должны были установиться

между Ашенбахом и юным Тадзио, и старший из них с острой радостью заметил,

что его участие, его внимание остаются не вовсе без ответа. Что, например,

побуждало Тадзио идти утром на пляж не по мосткам позади кабинок, а по

песку, мимо кабинки Ашенбаха, иногда без всякой нужды, чуть ли не задевая

его стол, его кресло? Или это притяжение, гипноз более сильного чувства так

действовал на незрелый, бездумный объект? Ашенбах всякий день дожидался

появления Тадзио и, случалось, притворялся, что занят и не видит его. Но

иногда он поднимал глаза, и их взгляды встречались. Оба они в этот миг были

глубоко серьезны. Умное достойное лицо старшего ничем не выдавало

внутреннего волнения; но в глазах Тадзио была пытливость, задумчивый вопрос,

его походка становилась нерешительной, он смотрел в землю, потом снова

подымал глаза, и когда уже удалялся, казалось, что только воспитанность не

позволяет ему оглянуться.

 Но однажды вечером случилось по-другому. Польских детей и гувернантки

за обедом в большом зале не оказалось, что с тревогой отметил Ашенбах. Встав

из-за стола, он, как был, в вечернем костюме и соломенной шляпе, начал

беспокойно прохаживаться вдоль террасы отеля, как вдруг похожие на монашек

сестры с гувернанткой и Тадзио, на несколько шагов отставший от них,

возникли в свете дуговых фонарей. Видимо, они пообедали в городе и теперь

возвращались с пароходной пристани. На воде вечерами бывало прохладно;

Тадзио был одет в синий матросский бушлат с золотыми пуговицами и матросскую

же шапочку. Солнце и морской воздух не тронули загаром его кожи, она

оставалась такой же мраморной с чуть желтоватым налетом, как вначале. Но

сегодня он казался бледнее обыкновенного, то ли от холода, то ли от лунного

света фонарей. Его ровные брови прочерчивались резче, глаза темнели глубже.

Он был несказанно красив, и Ашенбах снова с болью почувствовал, что слово

способно лишь воспеть чувственную красоту, но не воссоздать ее.

 Он не был подготовлен к милой его сердцу встрече, все произошло

внезапно, у него не достало времени закрепить на своем лице выражение

спокойного достоинства. Радость, счастливый испуг, восхищение -- вот что оно

выражало, когда встретились их взгляды, и в эту секунду Тадзио улыбнулся:

губы его медленно раскрылись, и он улыбнулся доверчивой, говорящей,

пленительной и откровенной улыбкой. Это была улыбка Нарцисса, склоненного

над прозрачной гладью воды, та от глубины души идущая зачарованная,

трепетная улыбка, с какой он протягивает руки к отображению собственной

красоты, -- чуть-чуть горькая из-за безнадежности желания поцеловать манящие

губы своей тени, кокетливая, любопытная, немножко вымученная, завороженная и

завораживающая.

 Тот, кому она предназначалась, унес ее с собою как дар, судящий беду.

Ашенбах был так потрясен, что бежал от света террасы и сада в темноту, в

дальний угол парка. Странные слова, укоры, гневные и нежные, срывались с его

губ: "Ты не должен так улыбаться! Пойми же, никому нельзя так улыбаться!" Он

бросился на скамейку и, вне себя от возбуждения, вдыхал ночные запахи

цветов. Откинувшись назад, безвольно свесив руки, подавленный -- мороз то и

дело пробегал у него по коже, -- он шептал извечную формулу желания,

презренную, немыслимую здесь, абсурдную, смешную и все же священную и

вопреки всему достойную: "Я люблю тебя!"

 На четвертой неделе своего пребывания здесь Густав фон Ашенбах

почувствовал какие-то изменения во внешнем мире. Во-первых, число

постояльцев отеля, несмотря на то что сезон был в разгаре, не возрастало, а

явно уменьшалось, и странным образом вокруг Ашенбаха иссякала, замирала

немецкая речь, так что за столом и на пляже его слуха касались уже только

чуждые звуки. Далее, он уловил в разговоре с парикмахером, к которому теперь

стал часто наведываться, одно слово, его поразившее. Тот упомянул о некоей

немецкой семье, уехавшей отсюда после очень краткого пребывания, и льстиво

добавил: "Вы-то, сударь, остаетесь, вас эта беда не пугает". Ашенбах

взглянул на него. "Беда?" -- повторил он. Болтун прикусил язык, засуетился,

сделал вид, что не слышит вопроса. А когда клиент стал настаивать, объявил,

что решительно ничего не знает, и усиленной болтливостью попытался отвлечь

его от разговора.

 Это было в полдень. Несколько часов спустя Ашенбах при палящем зное и

полном безветрии поехал в Венецию; его гнала маниакальная потребность всюду

следовать за польскими детьми, которые, он это видел, под предводительством

гувернантки пошли к пристани. На площади Св. Марка его любимца не было. Но

когда Ашенбах пил чай за круглым железным столиком на теневой стороне, в

воздухе вдруг потянуло странно неприятным запахом, и Ашенбаху почудилось,

что он уже много дней, только безотчетно и бессознательно, слышит его, этот

сладковато-аптечный запах, напоминающий о несчастии, о ранах и

подозрительной чистоте. Втянув воздух ноздрями, он убедился, что это так,

допил чай и ушел с соборной площади. В тесноте переулков запах усилился. На

всех углах плакаты от имени отцов города призывали венецианцев ввиду

возможности распространения известных заболеваний гастрической системы,

неизбежно вызываемых такой погодой, отказаться от употребления в пищу устриц

и раковин, а также не пить воды из каналов. Было ясно, что это оповещение

изрядно приукрашивает истину. Народ толпился на мостах и площадях; и меж них

стоял он, чужой в этом городе, стоял, прислушиваясь и раздумывая.

 Потом он спросил лавочника, стоявшего в дверях своего заведения среди

связок кораллов и ожерелий из поддельных аметистов, что значит этот роковой

запах. Тот бросил на него печальный взгляд, но поспешил приободриться.

"Предупредительные меры, сударь, -- отвечал он, жестикулируя. --

Распоряжение полиции, которое нельзя не одобрить. Эта погода угнетает

человека, ничего нет вреднее сирокко. Одним словом, осторожность, может быть

и излишняя, но сами понимаете..." Ашенбах поблагодарил его и пошел дальше.

На пароходике, отвозившем его обратно на Лидо, тоже стоял этот запах

дезинфекции.

 Вернувшись в отель, он тотчас же прошел в читальню и стал просматривать

газеты. Из иноязычных он никаких сведений не почерпнул. Немецкие приводили

какие-то слухи, перепечатывали официальные опровержения и ставили под

сомнение их правдивость. Так вот чем объяснялось исчезновение австрийцев и

немцев! Представители других наций, видимо, просто ничего не знали, ни о чем

не подозревали, а следовательно, и не тревожились. "Надо молчать, --

взволнованно подумал Ашенбах, кладя газеты на стол. -- Об этом надо

молчать!" Но в то же время катастрофа, надвигавшаяся на внешний мир,

преисполнила его сердце удовлетворением. Страсти, как и преступлению,

нестерпима благополучная упорядоченность будней, она не может не радоваться

всем признакам распада узаконенного порядка, любому отклонению от нормы, ибо

смутно надеется извлечь выгоду из смятения окружающего мира. Так и Ашенбах

испытывал безотчетное удовлетворение от событий на грязных уличках Венеции,

которые так тщательно замалчивались, от этой недоброй тайны, сливавшейся с

его собственной сокровенной тайной, -- отчего ему и было так важно блюсти

ее. Влюбленный, он беспокоился лишь об одном, как бы не уехал Тадзио, и,

ужаснувшись, понял, что не знает, как будет жить дальше, если это случится.

 Встречи с Тадзио благодаря общему для всех распорядку дня и счастливой

случайности теперь уже не удовлетворяли Ашенбаха; он преследовал, выслеживал

его. Так, например, по воскресеньям поляки никогда не бывали на пляже, -- и

он, догадавшись, что они посещают мессу в соборе св. Марка, тотчас же

ринулся туда и, войдя с пышущей жаром площади в золотистый сумрак храма,

сразу увидел того, кого так искал: Тадзио сидел за пюпитром, склонившись над

молитвенником. И Ашенбах стоял вдали, на растрескавшемся мозаичном полу,

среди коленопреклоненных людей, крестившихся и бормотавших молитвы,

подавленный громоздкой пышностью восточного храма. Впереди в тяжко

великолепном облачении расхаживал, кадил и пел священник, курился ладан,

туманя бессильные огоньки свечей у алтаря, и к тягучему сладковатому запаху

бескровного жертвоприношения слегка примешивался другой: запах заболевшего

города. Но сквозь чад и неровные огоньки свечей Ашенбах видел, как красивый

мальчик там, впереди, повернул голову, стал искать его глазами и нашел.

 Потом, когда толпа через открытые двери хлынула на залитую огнями

площадь, где так и кишели голуби, опьяненный любовью Ашенбах скрылся в

преддверии храма, притаился в засаде. Он видел, как поляки выходят из

церкви, как дети чинно прощаются с матерью, возвращавшейся домой, пересекая

площадь. Монашенки-сестры, Тадзио и гувернантка направились в правую сторону

и через ворота "башни с часами" вошли в "Мерчерию". Он дал им уйти вперед и

пошел за ними, незаметно сопровождая их в прогулке по Венеции. Ему

приходилось останавливаться, когда они замедляли шаг, скрываться в таверны

или прятаться в подворотнях, чтобы пропустить их, когда они неожиданно

поворачивали; он терял их из виду, разгоряченный, запыхавшийся, гнался за

ними по мостам, забирался в грязные тупики и бледнел от страха, когда они

внезапно попадались ему навстречу в узком переходе, из которого нельзя было

ускользнуть. И все же. было бы неправдой сказать, что он очень страдал. Мозг

и сердце его опьянели. Он шагал вперед, повинуясь указанию демона, который

не знает лучшей забавы, чем топтать ногами разум и достоинство человека.

 Потом гувернантка подозвала гондолу, и Ашенбах, в то время, как они

садились, прятавшийся за выступом здания или фонтаном, сделал то же самое,

едва дождавшись, чтобы они отчалили. Торопливым, приглушенным голосом он

посулил гондольеру щедрые чаевые, если он сумеет незаметно следовать за той

вон гондолой, которая сейчас завернула за угол; и мороз пробежал у него по

коже, когда гребец с хитрой услужливостью сводника тем же тоном заверил его,

что все будет в порядке, он уж постарается на совесть.

 Так, откинувшись на мягкие черные подушки, он скользил за другой черной

остроносой ладьей, к следу которой его приковывала страсть. Временами она

скрывалась из виду, и тогда тоска и тревога сжимали его сердце. Но

многоопытному гондольеру всякий раз удавалось ловким маневром, стремительным

броском вперед и умелым сокращением пути вернуть уходившую лодку в поле

зрения Ашенбаха. Неподвижный воздух был полон запахов, солнце томительно

пекло сквозь дымку испарений, окрашивавших небо в бурый цвет. Вода булькала,

ударяясь о дерево и камни. В ответ на крик гондольера, то ли приветственный,

то ли предостерегающий, из далей водного лабиринта, словно по таинственному

уговору, раздавался такой же крик. Из маленьких, высоко взгромоздившихся

садов на замшелые стены свисали гроздья белых и пурпурных цветов, источавших

аромат миндаля. Сквозь серую мглу там и сям обрисовывались окна в

мавританском орнаменте. Мраморные ступени какой-то церкви сбегали в воду;

старик нищий прикорнул на них и с жалобными причитаниями протягивал шляпу,

показывая белки глаз -- он-де слепой. Торговец стариной, стоя возле дыры, в

которой гнездилась его лавчонка, подобострастными жестами зазывал проезжего,

в надежде основательно его надуть. Это была Венеция, льстивая и

подозрительная красавица, -- не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в

гнилостном воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и

своих музыкантов она одарила нежащими, коварно убаюкивающими звуками.

Ашенбаху казалось, что глаза его впивают все это великолепие, что его слух

ловит эти лукавые мелодии; он думал о том, что Венеция больна и корыстно

скрывает свою болезнь, и уже без стеснения следил за скользящей впереди

гондолой.

 Одурманенный и сбитый с толку, он знал только одно, только одного и

хотел: неотступно преследовать того, кто зажег его кровь, мечтать о нем, и

когда его не было вблизи, по обычаю всех любящих нашептывал нежные слова его

тени. Одиночество, чужбина и счастье позднего и полного опьянения придавали

ему храбрости, заставляли без стыда и страха пускаться в самые странные

авантюры. Так, например, вернувшись поздно вечером из Венеции, он

остановился в коридоре, у комнаты, где жил Тадзио, вконец истомленный

страстью, прижался лбом к косяку и долго не в силах был сдвинуться с места,

забыв, что его могут увидеть, застать в этом безумном положении.

 И все же бывали мгновения, когда он, опомнившись, пытался держать себя

в руках. Как всякий человек, которому прирожденные заслуги внушают

аристократический интерес к своему происхождению, он привык при любых

событиях и жизненных успехах вспоминать своих предков, мысленно искать их

согласия и одобрения. Он и теперь думал о них, запутавшись в столь

неподобающем приключении, отдавшись столь экзотическому избытку чувств,

думал о суровой сдержанности, о пристойной мужественности их характеров и

уныло усмехался. Что бы они сказали? Впрочем, что могли бы они сказать обо

всей его жизни, так полярно отличающейся от той, которую вели они, об этой

жизни, заклятой искусством, которую он сам некогда, под видом юношеских

замет, высмеял совсем в буржуазном духе своих отцов, и которая, несмотря ни

на что, была сколком с их жизни! Он тоже отбывал службу, тоже был солдатом и

воином, подобно многим из них, -- потому что искусство -- война,

изнурительный бой. Долго вести его в наши дни невозможно. Жизнь, полная

самопреодоления, бесчисленных "вопреки", горькая, упорная, воздержанная

жизнь, которую он сделал символом хрупкого героизма, только и возможного в

наше время, -- ее по праву можно было считать мужественной, храброй, и ему

почему-то казалось, что Эрот, его поработивший, выбирает и отличает именно

такую жизнь. Разве храбрейшие народы не чтили его превыше других богов и

разве не процветал он в их городах, отмеченных храбростью? Немало древних

героев-воинов добровольно несли его иго, и рок, насланный этим богом, не

считался за унижение, поступки, которые клеймились бы как трусость, будь они

совершены с другою целью: коленопреклонение, клятвы, нескончаемые мольбы и

рабская покорность, -- не только не позорили любящего, но, напротив,

считались достойными похвалы.

 Такие мысли проносились в его одурманенном мозгу, так пытался он

обрести почву под ногами, сохранить свое достоинство. И в то же время он

настороженно и неотступно вел наблюдение за нечистыми событиями на улицах

Венеции, за бедой во внешнем мире, таинственно сливавшейся с бедою его

сердца, и вскармливал свою страсть неопределенными беззаконными надеждами.

Одержимый желанием узнать новое и достоверное о состоянии и развитии мора,

он торопливо пробегал глазами немецкие газеты в кофейнях, так как они уже

несколько дней назад исчезли из читальни отеля. Число заболеваний и смертных

случаев равнялось будто бы двадцати, сорока, наконец дошло уже до сотни и

более, но тут же вслед за цифрами об эпидемии говорилось лишь как об

отдельных случаях заражения, инфекция объявлялась завезенной извне. И все

это перемежалось протестами и предостережениями против опасной игры

итальянских властей. Словом, доискаться истины было невозможно.

 Ашенбах в своем одиночестве считал знание этой тайны за подобающую ему

привилегию и, хоть и был здесь совсем сторонним человеком, находил

непонятное удовлетворение в том, чтобы с помощью коварных вопросов вынуждать

людей осведомленных, но обязанных молчать, к прямой лжи. Так однажды за

завтраком в большом зале он заговорил с администратором, маленьким тихим

человечком во французской визитке, который, раскланиваясь на все стороны и

неусыпно следя за происходящим, остановился возле столика Ашенбаха,

намереваясь перекинуться с ним двумя-тремя словами. "Почему, собственно, --

как бы мимоходом полюбопытствовал Ашенбах, -- в последнее время Венецию

стали дезинфицировать? Что за странная идея?" -- "Полицейское мероприятие,

-- отвечал тихий человечек, -- имеющее целью охрану общественного здоровья,

которое всегда подвергается некоторой опасности в такую знойную и ветреную

погоду".

 -- Похвальная предусмотрительность, -- заметил Ашенбах.

 Они обменялись еще несколькими соображениями метеорологического

характера, и администратор откланялся.

 Вечером того же дня, уже после обеда, маленькая труппа бродячих певцов

из города давала представление в саду перед отелем. Двое мужчин и две

женщины стояли, прислонясь к железному столбу фонаря и обратив белые от

яркого света лица к террасе; курортные гости, сидевшие там за кофе и

прохладительными напитками, снисходительно принимали это народное зрелище.

Персонал отеля, лифтеры, официанты и конторские служащие выглядывали из

дверей. Русское семейство, охочее до зрелищ и умеющее наслаждаться,

полукругом расположилось в саду, поближе к актерам, на принесенных с террасы

соломенных стульях. За господами, в закрученном как тюрбан платке, стояла их

старая рабыня.

 Мандолина, гитара, гармонь и пискливая скрипка не умолкали в руках

нищих виртуозов. Игра сменялась вокальными номерами. Та из женщин, что была

помоложе, пронзительным, скрипучим голосом исполнила любовный дуэт со

слащаво фальцетирующим тенором. Но подлинно талантливым актером и премьером

труппы выказал себя гитарист, обладатель так называемого комического

баритона; почти безголосый, он отличался удивительным мимическим даром и

большой экспрессией. Не выпуская из рук инструмента, он то и дело отрывался

от остальных и подбегал к рампе, чтобы в награду за свои веселые дурачества

услышать снисходительный смех. Больше всех этой южной живостью восторгались

русские в своем партере, хлопками и возгласами они поощряли его к еще более

задорным и смелым выходкам.

 Ашенбах сидел у балюстрады и время от времени потягивал смесь из

гранатового сока и содовой воды, рубинами сверкавшую в его бокале. Его нервы

упивались пошлыми звуками и вульгарно-томной мелодией, ибо страсть подавляет

чувство изящного и всерьез воспринимает те дразнящие, возбуждающие

впечатления, к которым в трезвом состоянии мы отнеслись бы юмористически или

попросту брезгливо их отвергли. От прыжков скомороха черты его застыли,

страдальческая улыбка уже искривила его рот. Он сидел непринужденно и

вольно, хотя внутренне был напряжен до крайности, ибо шагах в пяти от него

возле каменной балюстрады стоял Тадзио.

 На нем был тот белый костюм с кушаком, который он иногда надевал к

обеду. С неотъемлемой от него врожденной грацией он опирался левой ладонью о

перила, правой рукой -- в бедро и, скрестив ноги, не то чтобы с улыбкой, а с

какой-то тенью любопытства и с учтивой внимательностью смотрел вниз на

бродячих певцов. Время от времени он выпрямлялся и, расправив грудь красивым

жестом обеих рук, заправлял под кушак свою белую куртку. Но иногда,

стареющий Ашенбах с торжеством отмечал это, он оборачивался через левое

плечо нерешительно, с опаской, или же вдруг внезапно и быстро, словно хотел

застать врасплох того, кто его любил. Он не встречался с ним глазами, потому

что позорное опасение заставляло Ашенбаха потуплять свой взор. В глубине

террасы сидели женщины, опекавшие Тадзио, и дело зашло так далеко, что

влюбленный Ашенбах боялся, как бы они его не разоблачили, не заподозрили.

Цепенея от ужаса, он уже не раз замечал на пляже, в зале ресторана и на

площади Св. Марка, что они всякий раз отзывали Тадзио, если тот оказывался

вблизи от него, всячески старались держать его поодаль -- страшное

оскорбление, заставлявшее его гордость изнывать в неведомых доселе муках,

оскорбление, пренебречь которым ему не позволяла совесть.

 Между тем гитарист под собственный аккомпанемент начал исполнять

сольный номер, длинную площадную песню, распространенную в то время во всей

Италии; ее рефрен всякий раз подхватывался его партнерами, и надо отдать

справедливость певцу, он -умел внести в свое исполнение немалую долю

пластичности и трагизма. Тощий, с испитым, изможденным лицом, он стоял на

посыпанной гравием площадке в стороне от партнеров, сдвинув на затылок

потрепанную фетровую шляпу, так что из-под нее выбился целый сноп рыжих

волос, в позе задорной и дерзкой, и под струнный перебор выразительным

речитативом бросал свои шутки вверх, на террасу, так что от творческого

напряжения жилы вздувались у него на лбу. Совсем непохожий на венецианца, он

скорее смахивал на неаполитанского уличного актера -- полуграбитель,

полукомедиант, задорный, дерзкий, опасный и занимательный. Песня, которой по

содержанию была грош цена, в его устах благодаря выразительной мимике и

телодвижениям, манере лукаво подмигивать и кончиком языка быстро касаться

уголков рта становилась какой-то двусмысленной и предосудительной. Из

отложного воротничка спортивной рубашки, надетой под обычное городское

платье, торчала его тощая шея с большим, отталкивающе обнаженным кадыком.

Бледная, курносая и безбородая физиономия, не позволявшая определить его

возраст, вся была точно перепахана гримасами и пороком, а к ухмылке его

подвижного рта как нельзя лучше подходили две складки, упрямо, властно,

почти свирепо залегшие меж рыжих бровей. Но больше всего привлекло к

скомороху внимание тосковавшего Ашенбаха то, что его подозрительную фигуру

окружала, казалось, свойственная ему одному, столь же подозрительная

атмосфера. Дело в том, что всякий раз во время рефрена, когда певец,

кривляясь и приветствуя публику, начинал круговой обход, он оказывался в

непосредственной близости от Ашенбаха, и всякий раз от него так и несло

карболовым раствором.

 Закончив куплет, он стал собирать деньги. Начал он с русских, которые

щедро его вознаградили, и затем поднялся по ступенькам. Насколько дерзко он

держался во время пения, настолько же смиренно вел себя здесь, наверху.

Угодливо извиваясь, он ходил от столика к столику, обнажая в

раболепно-коварной усмешке свои крупные зубы, хотя две складки меж рыжих

бровей по-прежнему грозно прорезали его лоб. Это существо, собиравшее себе

на пропитание, все разглядывали с любопытством, не чуждым отвращения, и

кончиками пальцев бросали монеты в его протянутую шляпу, страшась к ней

прикоснуться. Снятие физической дистанции между комедиантом и "чистой

публикой", какое бы удовольствие он ей ни доставил, всегда порождает

известную неловкость. Он это чувствовал и старался искупить свою вину

сугубой приниженностью. Наконец он приблизился к Ашенбаху, и вместе с ним и

запах, которого другие, видимо, просто не замечали.

 -- Слушай-ка, -- приглушенным голосом, почти механически, сказал

Ашенбах. -- Венецию дезинфицируют? Почему, скажи на милость?

 Фигляр хрипло ответил:

 -- Из-за полиции! Полицейское предписание, ввиду жары и сирокко.

Сирокко -- давит. Нет вреднее для здоровья... -- Он говорил словно

удивляясь: есть о чем спрашивать, и ладонью показал, как давит сирокко.

 -- Значит, никакого бедствия в Венеции нет? -- тихо, сквозь зубы

спросил Ашенбах.

 Послушные черты скомороха исказились гримасой комического недоумения:

 -- Бедствия? Какого бедствия? Вы хотите сказать, что наша полиция

бедствие? Вы шутник, синьор! Еще чего! Предохранительное мероприятие,

поймите же наконец! Полицейский указ, необходимый при такой погоде... -- Он

стал энергично жестикулировать.

 -- Ладно, -- проговорил Ашенбах так же тихо, как раньше, и быстро

бросил в шляпу неподобающе крупную монету. Затем он глазами сделал ему знак:

"Уходи". Он повиновался, осклабившись и почтительно раскланиваясь. Тот не

успел дойти до лестницы, как на него набросились двое официантов и шепотом

повели перекрестный допрос. Он пожимал плечами, клялся, уверял, что ни

единым словом не обмолвился, и явно говорил правду. Его отпустили, он

вернулся в сад и, поговорив о чем-то со своими партнерами под фонарем,

выступил еще раз с прощальной песней.

 Ашенбах не припоминал, чтобы когда-нибудь слышал эту песенку, задорную,

на непонятном диалекте, с рефреном-гоготом, который добросовестно, во весь

голос, подхватывали все остальные. Слова и инструментальный аккомпанемент

здесь замолкали, весь рефрен сводился к ритмически кое-как организованному,

но весьма натурально воспроизводимому смеху, что лучше всего до полной

неотличимости получалось у одаренного солиста. Теперь, когда вновь

установилась дистанция между ним и "чистой публикой", к нему вернулись его

веселье и дерзость, и его искусственный смех, бесстыдно обращенный к

террасе, звучал поистине издевательским хохотом. Казалось, что в конце

каждой отчетливо артикулированной строфы его одолевает отчаянный приступ

смеха. Он всхлипывал, голос его срывался, плечи дергались, и в нужную

секунду из его глотки, как внезапный взрыв, с воем вырывался неудержимый

гогот, до того правдоподобный, что им заражались все кругом, и на террасе

вдруг воцарялась беспредметная, бессмысленная веселость. И это, казалось,

удваивало буйство певца. Колени у него подгибались, он хлопал себя по

ляжкам, хватался за бока. Он весь трясся, он уже не смеялся, он орал, тыкал

пальцем вверх, словно не было на свете ничего комичнее смеющихся господ,

там, наверху, и вскоре со смеху покатывались уже все в саду и на террасе,

вплоть до официантов и лифтеров.

 Ашенбах больше не сидел, покойно откинувшись на спинку стула, он

напрягся, словно готовясь к самообороне или бегству. Но хохот, доносившийся

снизу, больничный запах и близость любимого сплелись для него в туманившее

мозг неразрывное, неотвратимое очарование. Среди всеобщего оживления и

рассеяния он отважился взглянуть на Тадзио и, сделав это, заметил, что

любимый, ответив на его взгляд, остался серьезным, словно сообразуясь с его

поведением, его выражением лица; общее настроение не захватило его, потому

что и Ашенбах не был им захвачен. В этой детской настороженной доверчивости

было нечто до того обезоруживающее, покоряющее, что седовласый человек был

готов закрыть лицо руками. К тому же, когда Тадзио машинально выпрямился и

вдохнул воздух, Ашенбаху почудилось, что мальчик .испытывает стеснение в

груди. "Он слаб здоровьем и, верно, не доживет до старости", -- вновь

подумал Ашенбах с той четкостью представлений, которую странным образом

вызывает опьянение страстью; и заботливая тревога одновременно с неистовым

удовлетворением наполнила его сердце.

 Между тем венецианцы окончили представление и собрались уходить. Их

провожали аплодисментами, и гитарист не преминул еще потешить публику на

прощанье. А так как над его расшаркиваниями и воздушными поцелуями все опять

смеялись, то он старался вдвойне. Когда его партнеры уже вышли из сада, он

попятился, сделал вид, что налетел на фонарный столб, и, скорчившись, точно

от боли, проскользнул в ворота. Там он мигом сбросил с себя маску

комического неудачника, выпрямился, упруго скакнул вперед, показал язык

гостям на террасе и исчез в темноте. Зрители разошлись; Тадзио уже давно не

было у балюстрады. Но Ашенбах, на удивление официантам, еще долго и одиноко

сидел за столиком, потягивая свой гранатовый напиток. Ночь продвигалась

вперед, распадалось время. В его родительском доме, много лет назад, были

песочные часы, -- сейчас он снова видел перед собою этот маленький хрупкий и

столь много значащий сосудец. Беззвучной, тоненькой струйкой бежал песок,

подкрашенный в красновато-ржавый цвет, через узкую горловину, и когда в

верхней баночке он был уже на исходе, там образовывалась маленькая

крутящаяся воронка.

 Уже на следующий день, упорный человек, он сделал новое усилие узнать

правду о внешнем мире, и на этот раз с полным успехом. Он зашел в английское

бюро путешествий возле площади Св. Марка и, разменяв в кассе несколько

кредитных билетов, обратился к клерку со своим роковым вопросом. Это был

молодой англичанин в ворсистом костюме, с прямым пробором, близко

посаженными глазами, с той равнодушной степенностью в повадках, которая на

озорном юге производит такое странное, отчуждающее впечатление. "Никаких

оснований для беспокойства, -сэр, -- начал он. -- Мероприятие, ничего

особенно не означающее. Полиция здесь нередко отдает подобные приказы, чтобы

предупредить вредные воздействия жары и сирокко..." Но, подняв голубые

глаза, он встретил взгляд клиента, усталый, немного грустный взгляд, с

презрением устремленный на его губы. И англичанин покраснел. "Таково

официальное объяснение, -- продолжал он приглушенно и даже взволнованно, --

и здесь очень настаивают на том, чтобы его придерживаться. Но я вам скажу,

что за ним кроется еще нечто другое". И на своем честном выразительном языке

он сказал правду.

 Уже целый ряд лет азиатская холера выказывала упорное стремление

распространиться, перекинуться в далекие страны. Зародившись в теплых

болотах дельты Ганга, возросши под затхлым дыханием избыточно-никчемного

мира первозданных дебрей, которых бежит человек и где в зарослях бамбука

таится тигр, этот мор необычно долго свирепствовал в Индостане, перекинулся

на восток -- в Китай, на запад -- в Афганистан и Персию, и по главным

караванным путям во всем своем ужасе распространился до Астрахани, более

того -- до Москвы.

 Европа дрожала, что оттуда призрак будет держать свой въезд по суше, но

сирийские купцы привезли его водным путем. Он поднял голову одновременно во

многих средиземноморских гаванях, в Тулоне и в Малаге, явил свой страшный

лик в Палермо и Неаполе и, казалось, не желал больше покинуть Калабрию и

Апулию. Север полуострова не был затронут бедствием. Но в мае этого года в

Венеции в один и тот же день грозные вибрионы были обнаружены в иссохших

почернелых трупах портового рабочего и торговки зеленью. Об этих случаях

умолчали. Но через неделю их было уже десять, двадцать, тридцать, и к тому

же в различных кварталах. Некий уроженец австрийских провинций, для

собственного удовольствия проживший несколько дней в Венеции,; вернувшись в

родной городишко, умер при весьма недвусмысленных симптомах, и таким образом

пер-: вые слухи о неблагополучии в городе на лагуне просочились в немецкие

газеты. Венецианские власти ответили, что санитарные условия города в лучшем

состоянии, чем когда-либо, и приняли необходимые меры для борьбы с заразой.

Но инфекция, видимо, проникла в пищевые продукты, в овощи, мясо, молоко, и

скрываемая, замалчиваемая эпидемия стала косить людей на тесных венецианских

уличках, а преждевременная жара, нагревшая воду в каналах, как нельзя больше

ей благоприятствовала. Казалось даже, что она набралась новых сил, что

стойкость и плодовитость ее возбудителей удвоились. Случаи выздоровления

были редки, восемьдесят из ста заболевших умирали, и умирали лютой смертью,

так как болезнь развивалась яростно и нередко принимала ту опаснейшую форму,

которая называлась "сухой". Тело в этих случаях не в силах было извергнуть

воду, в изобилии выделявшуюся из кровеносных сосудов. В течение нескольких

часов больной, весь иссохнув-, задыхался от вязкой, как смола, крови и

погибал в страшных судорогах, испуская хриплые стоны. И хорошо еще (иногда

это бывало), если приступ случался после легкого недомогания и принимал

характер глубокого обморока, от которого больному не суждено было очнуться.

В начале июня втихомолку наполнились бараки Ospedale civico[1], в

обоих сиротских домах уже не хватало мест, и жуткое, почти непрерывное

движение установилось между набережной новых домов и Сан-Микеле,

кладбищенским островом. Но страх перед убытками, интересы недавно открытой

выставки картин в общественных садах, боязнь полного разорения, грозившая в

случае паники отелям, торговым предприятиям, всей разнообразной туристской

промышленности, оказались сильнее правдолюбия и честного соблюдения

международных договоров; этот страх заставил городские власти упорствовать в

политике замалчивания и отрицания. Начальник санитарной службы Венеции,

человек весьма заслуженный, в негодовании оставил свой пост, под шумок

переданный более покладистому чиновнику. Народ это знал. Коррупция верхов,

заодно с общей неуверенностью и тем исключительным состоянием, в которое

город был повергнут смертью, бродящей по его улицам, привели к известной

нравственной распущенности низшие слои, поощрили темные, антисоциальные

тенденции, сказавшиеся в невоздержанности, бесстыдстве, растущей

преступности. Против обыкновения, вечерами на улицах было много пьяных.

Поговаривали, что из-за злоумышленников в городе ночью стало небезопасно. Ко

всему этому добавились разбойные нападения и даже убийства. Так, уже два

раза выяснялось, что лиц, мнимо ставших жертвой заразы, на самом деле

родственники спровадили на тот свет с помощью яда, и профессиональный

разврат принял небывало наглые и разнузданные формы, прежде здесь незнакомые

и процветавшие разве что на юге страны и на Востоке.

 [1]Гражданский госпиталь (итал.).

 Вот что вкратце рассказал ему англичанин. "Лучше вам уехать сегодня,

чем завтра. Еще два-три дня, и карантин будет, конечно, объявлен". --

"Благодарю вас", -- сказал Ашенбах и вышел из бюро.

 Площадь была объята бессолнечным зноем. Ничего не подозревавшие

иностранцы сидели за столиками кафе или стояли с голубями на плечах и на

руках перед собором и смотрели, как эти птицы, теснясь, хлопая крыльями и

прогоняя друг друга, клюют с ладоней зерна маиса. Лихорадочно возбужденный,

торжествующий, что дознался наконец правды, и все же с привкусом отвращения

во рту и с ужасом в сердце, шагал Ашенбах взад и вперед по великолепным

плитам паперти.

 Он обдумывал поступок, очистительный и пристойный. Можно сегодня же

вечером подойти к даме в жемчугах и сказать ей, слова он уже заботливо

подобрал: "Хоть я и незнаком вам, сударыня, но дозвольте мне вас

предостеречь, подать вам совет, от которого корысти угодно было

воздержаться. Уезжайте немедля с Тадзио и дочерьми! Венеция заражена!" Тогда

ему будет дозволено в знак прощанья коснуться рукою головы того, кто стал

орудием насмешливого божка; затем он повернется и сбежит из этого болота. И

в то же время Ашенбах чувствовал, что он бесконечно далек от того, чтобы

всерьез желать такого исхода. Этот шаг повел бы его назад, вновь сделал бы

самим собою, а для того, кто вне себя, ничего нет страшнее, чем вернуться к

себе. Ему вспомнилось белое здание, украшенное рдевшими в лучах заката

надписями, в прозрачной мистике которых терялся его духовный взор, и

удивительная фигура странника, пробудившая в нем, стареющем человеке,

юношескую страсть к перемене мест; и мысль о возвращении домой, о

рассудочности, трезвости, о высоких усилиях и мастерстве стала ему до того

омерзительна, что его лицо исказила гримаса физического отвращения. "Надо

молчать!" -- настойчиво прошептал он. И еще: "Я буду молчать!" Сознание

своей сопричастности, своей совиновности опьянило его, как малая толика вина

опьяняет усталый мозг. Картина пораженного заразой опустевшего города,

возникшая перед его внутренним взором, зажгла в нем надежды непостижимые,

несообразные с человеческим разумом и сладостные до дрожи. Что значило хилое

счастье, на миг пригрезившееся ему, в сравнении с этими ожиданиями? Чего

стоило искусство и праведная жизнь в сравнении с благами хаоса? Он промолчал

и остался.

 В эту ночь было у него страшное сновидение -- если можно назвать

сновидением телесно-духовное событие, явившееся ему, правда, в глубоком сне,

но так, что вне его он уже не видел себя существующим в мире. Местом

действия была как будто самая его душа, а события ворвались извне, разом

сломив его сопротивление -- упорное сопротивление интеллекта, пронеслись над

ним и обратили его бытие, культуру его жизни в прах и пепел.

 Страх был началом, страх и вожделение и полное ужаса любопытство к

тому, что должно совершиться. Стояла ночь, и чувства его были насторожены,

ибо издалека близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие

раскаты, пронзительные вскрики и вой -- протяжное "у", -- все это

пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в

своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от

которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее

имя тому, что надвигалось: "Чуждый бог". Зной затлел, заклубился, и он

увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в

разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и замшелых камней, дробясь,

покатился обвал: люди, звери, стая, неистовая орда -- и наводнил поляну

телами, пламенем, суетой и бешеными плясками. Женщины, путаясь в длинных

одеждах из звериных шкур, которые свисали у них с пояса, со стоном вскидывая

головы, потрясали бубнами, размахивали факелами, с которых сыпались искры, и

обнаженными кинжалами, держали в руках извивающихся змей, перехватив их за

середину туловища, или с криками несли в обеих руках свои груди. Мужчины с

рогами на голове, со звериными шкурами на чреслах и мохнатой кожей, склонив

лбы, задирали ноги и руки, яростно били в медные тимпаны и литавры, в то

время как упитанные мальчики, цепляясь за рога козлов, подгоняли их увитыми

зеленью жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках. А вокруг стоял вой и

громкие клики -- сплошь из мягких согласных с протяжным "у" на конце,

сладостные, дикие, нигде и никогда не слыханные. Но здесь оно полнило собою

воздух, это протяжное "у" -- точно трубил олень, там и сям многоголосо

подхваченное, разгульно ликующее, подстрекающее к пляске, к дерганью руками

и ногами. Оно никогда не смолкало. Но все пронизывали, надо всем властвовали

низкие, влекущие звуки флейты. Не влекут ли они -- бесстыдно, настойчиво --

и его, сопротивляющегося и сопричастного празднеству, к безмерности высшей

жертвы? Велико было его омерзение, велик страх, честное стремление до

последнего вздоха защищать свое от этого чужого, враждебного достоинству и

твердости духа. Но гам, вой, повторенный горным эхо, нарастал, набухал до

необоримого безумия. Запахи мутили разум, едкий смрад козлов, пот трясущихся

тел, похожий на дыхание гнилой воды, и еще тянуло другим знакомым запахом:

ран и повальной болезни. В унисон с ударами литавр содрогалось его сердце,

голова шла кругом, ярость охватила его, ослепление, пьяное сладострастие, и

его душа возжелала примкнуть к хороводу бога. Непристойный символ,

гигантский, деревянный, был открыт и поднят кверху: еще разнузданнее заорали

вокруг, выкликая все тот же призыв. С пеной у рта они бесновались,

возбуждали друг друга любострастными жестами, елозили похотливыми руками, со

смехом, с кряхтеньем вонзали острые жезлы в тела близстоящих и слизывали

выступавшую кровь. Но, покорный власти чуждого бога, с ними и в них был

теперь тот, кому виделся сон. И больше того: они были он, когда,

рассвирепев, бросались на животных, убивали их, зубами рвали клочья

дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось повальное

совокупление -- жертва богу. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели.

 От этого сна Ашенбах очнулся разбитый, обессилевший, безвольно

подпавший демону. Он уже не страшился пристальных взглядов людей; их

подозрения больше его не заботили. Они ведь удирали, разъезжались. На пляже

пустовало множество кабинок, в ресторане становилось все больше и больше

незанятых столиков, в городе редко можно было встретить иностранца. Правда,

видимо, выплыла на свет, панику, несмотря на сговор заинтересованных лиц,

уже нельзя было предотвратить. Но дама в жемчугах со своим семейством

оставалась здесь, потому ли, что слухи не дошли до нее, потому ли, что она

была слишком горда и бесстрашна перед лицом опасности. И Тадзио оставался.

 Ашенбаху, объятому страстью, временами чудилось, что бегство и смерть

сметут вокруг него все живое, бывшее для него помехой, и он один с

прекрасным Тадзио останется на этом острове, -- и когда по утрам у моря его

взор, пристальный, мрачный, безответственный, устремлялся на вожделенного,

когда в сумерках он позорно преследовал его на уличках, где крадучись

бродила мерзостная гибель, немыслимое и чудовищное казалось ему мыслимым и

нравственный закон необязательным.

 Как всякий любящий, он хотел нравиться и терзался горестной боязнью,

что это невозможно. Он подбирал яркие, молодящие детали для своего костюма,

стал носить драгоценные камни и опрыскиваться духами, тратил, по нескольку

раз на дню, уйму времени на свой туалет и выходил к столу нарядный,

взволнованный и возбужденный. Перед лицом сладостной юности ему в этом

состоянии сделалось противно собственное стареющее тело; глядя на свои

седины, на свои заострившиеся черты, он чувствовал стыд и безнадежность. Его

тянуло к физическому освежению и обновлению, и он часто заходил в

парикмахерскую при отеле.

 В пудермантеле, откинувшись на спинку кресла под умелыми руками

говорливого цирюльника, он измученным взглядом смотрел на свое отражение в

зеркале.

 -- Седой, -- с перекошенным ртом проговорил он.

 -- Немножко, -- согласился тот, -- и, надо сказать, из-за некоторого

небрежения, безразличия к своей внешности, вполне понятного у значительного

человека, но тем менее похвального: кому-кому, а значительному человеку не

подобают предрассудки касательно естественного и искусственного. Если бы,

логически рассуждая, такая строгость нравов распространилась и на зубы,

право же, это многим показалось бы смешным. В конце концов мы не старше

того, что чувствует наш дух, наше сердце, и седые волосы иногда больше лгут,

чем небольшая поправка, которой почему-то принято пренебрегать. Вы, сударь,

безусловно имеете право на свой обычный цвет волос. Разрешите мне его вам

вернуть?

 -- Как это? -- спросил Ашенбах.

 Тогда этот красноречивый тип вымыл клиенту волосы в двух водах, в

светлой и в темной, и они стали черными, как в молодые годы. Затем, придав

им с помощью щипцов мягкую волнистость, он отошел в сторону и окинул

взглядом результаты своих трудов.

 -- Теперь, -- заявил он, -- остается только немножко освежить кожу.

 И, точно художник, который никак не может окончить портрет,

удовлетвориться своей работой, он с неутомимым усердием принялся проделывать

над клиентом одну манипуляцию за другой. Ашенбах, удобно расположившийся в

кресле, не только неспособный к сопротивлению, но скорее обнадеженный и

возбужденный всем происходившим, видел в зеркале, что изгиб бровей у него

стал энергичнее и ровнее, разрез глаз удлинился благодаря слегка подведенным

векам, к ним вернулся блеск, а ниже, где кожа была жесткой и коричневатой,

благодаря легкому прикосновению кармина вдруг расцвела нежная розовость, его

губы, еще только что малокровные, налились малиновым цветом, морщины на

щеках, вокруг рта, под глазами исчезли под влиянием крема и туалетной воды.

С бьющимся сердцем он увидел, что из зеркала на него смотрит юноша в цвете

лет. Цирюльник наконец угомонился и, по обычаю всех своих собратьев,

подобострастно поблагодарил того, кто сидел в его кресле.

 -- Пустячная помощь, -- сказал он, накладывая последний штрих на лицо

Ашенбаха. -- Теперь, сударь, вам можно влюбляться.

 И тот ушел, мечтательно счастливый, сбитый с толку, испуганный. Галстук

на нем был красный, тулью широкополой соломенной шляпы обвивала разноцветная

лента.

 С моря дул теплый штормовой ветер; изредка накрапывал дождь, но воздух

был пропитан влагой, тяжел, полон гнилостных миазмов. В ушах стоял гомон,

плеск и свист; лихорадящему под своим гримом Ашенбаху чудилось, что это духи

ветров ведут в пустоте свою недобрую игру, что мерзостные птицы моря

пожирают пищу осужденного, рвут ее на части, оскверняют своим пометом. Ибо

зной отбивал аппетит и откуда-то всплывало представление, что пища заражена

и отравлена.

 Однажды днем, по пятам преследуя красавца Тадзио, он углубился в

путаницу уличек и переулков больного города. Потеряв ориентацию, так как все

в этом лабиринте -- улицы, каналы, мосты, маленькие площади -- было схоже до

неузнаваемости, толком не понимая даже, где восток и где запад, озабоченный

лишь одним -- не потерять из виду преследуемого и любимого -- и вдобавок

принужденный к позорной осторожности, то прижимаясь к стене, то хоронясь за

спинами прохожих, он давно уже не замечал предельной усталости, в которую

ввергло его плоть и дух непрестанное напряжение чувства.

 Тадзио шел позади, в узких проходах он пропускал вперед гувернантку и

монашек-сестер и, поотстав от них, оборачивался, смотрел через плечо своими

странными, сумеречно-серыми глазами, идет ли за ним его верный поклонник. Он

его видел, и он его не выдавал. Хмельной от этого открытия, влекомый все

вперед и вперед этими глазами, попавшийся на удочку страсти, он гнался за

своей предосудительной надеждой, чтобы наконец все-таки потерять ее из виду.

Поляки перешли через круто изогнутый мостик, высокий изгиб которого скрыл их

из глаз преследователя, и когда он в свою очередь взобрался на него, их уже

не было видно. Он бежал за ними по трем направлениям -- вперед и в обе

стороны узкой и грязной набережной. Но все было тщетно! Слабость, полное

нервное истощение заставило его наконец поставить крест на этих поисках.

 Голова его пылала, кожа покрылась липким потом, все тело содрогалось,

нестерпимая жажда терзала его, он смотрел вокруг, ища, чем бы освежиться. В

какой-то зеленной лавчонке он купил земляники, переспелой, измятой, и стал

есть ее на ходу. Перед ним открылась маленькая площадь, пустынная, точно

заколдованная; это здесь две или три недели назад принял он неудавшийся план

бегства. Он присел посередине площади на ступеньки водоема и головой

прислонился к его каменной ограде. Вокруг стояла тишина, трава пробивалась

сквозь камни мостовой, повсюду валялся мусор. Меж обступивших площадь

посерелых от ветра домов разной высоты выделялся один, похожий на дворец. За

его стрельчатыми окнами обитала пустота, маленькие балконы были украшены

львами. В нижнем этаже другого дома помещалась аптека. Порывы теплого ветра

время от времени доносили запах карболки.

 Там он сидел, прославленный мастер, художник, обретший достоинство,

автор "Ничтожного", отливший в столь образцово чистые формы свое неприятие

богемы, мутных глубин бытия, тот, кто устоял перед соблазном бездны и

презрел презренное, кто возвысился до преодоления своего знания и перерос

иронию, кто привык к почтительному доверию масс, чья слава стала официозной,

чье имя украсилось дворянской приставкой, а стиль ставился в пример

гимназистам, -- он сидел там. Его веки были опущены, и лишь изредка из-под

них мелькал, чтобы тотчас же исчезнуть, насмешливый, смущенный взор, а его

вялые, чуть тронутые косметикой губы лепетали отдельные слова из тех, что со

своеобразной бредовой логикой проносились в его объятом дремотой мозгу:

 "Ибо красота, Федр, запомни это, только красота божественна и вместе с

тем зрима, а значит она путь чувственного, маленький Федр, путь художника к

духу. Но ведь ты не поверишь, мой милый, что тот, чей путь к духовному идет

через чувства, может когда-нибудь достигнуть мудрости и истинного мужского

достоинства. Или ты полагаешь (решение я предоставляю тебе), что этот

опасно-сладостный путь есть путь гибельный, грешный, который неизбежно ведет

в беспутье. Ибо ты должен знать, что мы, поэты, не можем идти путем красоты,

если Эрот не сопутствует нам, не становится дерзостно нашим водителем. Пусть

мы герои и храбрые воины, мы все равно подобны женщинам, ибо страсть

возвышает нас, а тоска наша должна оставаться любовью, -- в этом наша утеха

и наш позор. Понял ты теперь, что мы, поэты, не можем быть ни мудрыми, ни

достойными? Что мы неизбежно идем к беспутью, неизбежным и жалким образом

предаемся авантюре чувств. Наш мастерский стиль -- ложь и шутовство, наша

слава и почет, нам оказываемый, -- вздор, доверие, которым нас дарит толпа,

-- смешная нелепость, воспитание народа и юношества через искусство -- не в

меру дерзкая, зловредная затея. Где уж быть воспитателем, тому, кого с

младых ногтей влечет к себе бездна. Мы можем отрицать это влечение, можем

добиться достоинства, но как ни вертись, а бездна нас притягивает. Так мы

отрекаемся от расчленяющего познания, ибо познание, Федр, чуждо достоинства

и чуждо суровости, оно знает, ему все понятно, оно все прощает, не ведая о

прочности и форме: оно тянется к бездне, оно и есть бездна. Итак, мы

решительно отметаем его и отныне ищем только красоты, иными словами --

простого, величественного, новой суровости, вторичной непринужденности и

формы. Но форма и непринужденность, Федр, ведут к пьяному угару и вожделению

и могут толкнуть благородного на такое мерзостное осквернение чувства,

которое клянет его собственная суровость, они могут и должны привести его к

бездне. Нас, поэтов, говорю я тебе, ведут они к ней -- потому что мы не

можем взлететь, а можем лишь сбиться с пути. Теперь я уйду, ты же, Федр,

останься здесь; и лишь когда я скроюсь из глаз, иди и ты".

 Несколько дней спустя Густав фон Ашенбах, чувствуя себя нездоровым,

вышел из отеля в более поздний утренний час, чем обычно. Он пытался побороть

приступы дурноты, лишь отчасти носившие физический характер, которые

сопровождались непрерывно нараставшим страхом, ощущением безнадежности и

безысходности, распространявшимся и на внешний мир или ограничивавшимся им

самим, -- в этом он был не в состоянии разобраться. В холле он заметил целую

груду багажа, приготовленного к отправке, спросил у швейцара, кто это

уезжает, и в ответ услышал аристократическую польскую фамилию, втайне ему

уже давно знакомую. При этом известии черты его осунувшегося лица не

изменили своего выражения, он только на секунду поднял голову, словно

мимоходом узнав что-то, что не следует знать, да еще спросил: "Когда?" Ему

отвечали: "После второго завтрака". Он кивнул и отправился к морю.

 Неприветливо было там. По широкой плоской полосе воды, отделявшей пляж

от первой довольно протяженной отмели, отступая к морю, катились буруны.

Отпечаток чего-то осеннего, отжившего лежал на некогда столь пестро

расцвеченном пляже, где даже песок более не содержался в чистоте.

Фотографический аппарат, видимо покинутый своим хозяином, стоял на треножном

штативе у самой воды, и черное сукно, на него накинутое, хлопало и

трепыхалось на холодном ветру.

 Тадзио с несколькими оставшимися у него товарищами шел справа от своей

кабинки, и Ашенбах, укрыв колени одеялом и лежа в шезлонге, почти на равном

расстоянии от моря и кабинки, опять смотрел на него. На этот раз игра шла

без присмотра, так как женщины, вероятно, были заняты сборами, и закончилась

ссорой. Коренастый мальчик, в костюме с кушаком и с напомаженными волосами,

которого звали "Яшу", ослепленный и разозленный пригоршней песка, которую

ему бросили в лицо, вынудил Тадзио к борьбе, которая скоро кончилась тем,

что прекрасный, но слабый Тадзио упал на землю. Но угодливость низшего в

этот прощальный час, как видно, обернулась грубой беспощадностью. Стремясь

отомстить за долгое рабство, победитель не отпустил поверженного противника,

прижимая его спину коленом, он так настойчиво вдавливал лицо Тадзио в песок,

что тому, и без того запыхавшемуся от борьбы, грозила опасность задохнуться.

Его судорожные попытки сбросить с себя тяжеленного малого постепенно

прекратились и стали разве что легкими подергиваниями. В отчаянии Ашенбах

уже готов был ринуться на помощь, но тут силач смилостивился над своей

жертвой. Тадзио, очень бледный, приподнялся и несколько минут сидел

неподвижно, опершись рукой о песок, волосы его спутались, глаза были темны

от гнева. Затем он поднялся и медленно пошел прочь. Его окликнули сначала

задорно, потом испуганно и просительно: он не слушал. Чернявый, раскаиваясь

в своей выходке, догнал его, ища примирения. Тадзио движением плеча отвел

его попытки и пошел наискосок вниз, к воде. Он был босиком, в своем

всегдашнем полосатом костюме с красным бантом.

 Там он постоял, в задумчивости опустив глаза и выводя ногой на мокром

песке какие-то фигуры, затем вошел в разлившееся подле большого "маленькое

море", где и на самом глубоком месте вода не доходила ему до колен, и,

неторопливо ступая, добрался до песчаной отмели. Здесь он снова помедлил,

глядя в морскую даль, и побрел влево по длинной и узкой косе земли.

Отделенный от тверди водою и от товарищей своей гордой обидой, он --

существо обособленное, ни с чем и ни с кем не связанное -- бродил у моря,

перед лицом беспредельного, и волосы его развевались на ветру. Он опять

остановился, вглядываясь вдаль. И вдруг, словно вспомнив о чем-то или

повинуясь внезапному импульсу, он, рукою упершись в бедро и не меняя позы,

красивым движением повернул голову и торс к берегу. Тот, кто созерцал его,

сидел там, сидел так же, как в день, когда в ресторане этот сумеречно-серый

взгляд впервые встретился с его взглядом. Голова его, прислоненная к спинке

кресла, медленно обернулась, как бы повторяя движение того, вдалеке, потом

поднялась на" встречу его взгляду и упала на грудь; его глаза теперь

смотрели снизу, лицо же приняло вялое, обращенное внутрь выражение, как у

человека, погрузившегося в глубокую дремоту. Но ему чудилось, что бледный и

стройный психагог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра,

указует ею вдаль и уносится в роковое необозримое пространство. И, как

всегда, он собрался последовать за ним.,

 Прошло несколько минут, прежде чем какие-то люди бросились на помощь

Ашенбаху, соскользнувшему на бок в своем кресле. Его отнесли в комнату,

которую он занимал. И в тот же самый день потрясенный мир с благоговением

принял весть о его смерти.

 1911

 OCR и вычитка: С.Лебедев

ТОМАС МАНН

 ТОНИО КРЕГЕР

 Перевод Наталии Манн

 Зимнее солнце, стоявшее над тесным старым городом, за слоем облаков

казалось лишь молочно-белым, блеклым сиянием. В узеньких улочках меж домов

с островерхими крышами было сыро и ветрено; время от времени с неба

сыпалось нечто вроде мягкого града - не лед и не снег.

 В школе кончились занятия. На мощеный двор и через решетчатые ворота на

улицу ватагами выбегали освобожденные узники, чтоб тотчас же разбрестись

кто куда. Школьники постарше левой рукой степенно прижимали к плечу сумки

с книгами, а правой - выгребали против ветра, спеша к обеду. Мелкота

бежала веселой рысцою, так что снеговая каша брызгами разлеталась во все

стороны, а школьные пожитки тарахтели в ранцах из тюленьей кожи. Впрочем,

все мальчики, независимо от возраста, с почтением во взоре снимали фуражки

перед Вотановой шляпой и Юпитеровой бородой размеренно шагавшего старшего

учителя...

 - Ну, скоро ты, Ганс? - спросил заждавшийся на улице Токио Крёгер и,

улыбаясь, двинулся навстречу другу, который выходил из ворот и, увлеченный

разговором с товарищами, совсем уж было собрался уйти с ними...

 - А что? - спросил тот, взглянув на Тонио. - Ах да! Ну, ладно,

пройдемся немного.

 Тонио не отвечал, глаза его стали грустными. Неужто же Ганс позабыл и

только сейчас вспомнил, что они уговаривались сегодня часок-другой

погулять вдвоем? А он-то весь день радовался этому уговору!

 - Ну, прощайте, друзья! - сказал товарищам Ганс Гансен, - Мы с Крёгером

еще немного пройдемся.

 И они свернули налево, в то время как остальные пошли направо.

 Ганс и Тонио могли позволить себе эту прогулку после занятий, так как

Дома у того и. у другого обедали в четыре часа. Отцы их были крупными

негоциантами, занимали выборные должности и пользовались немалым влиянием

в городе. Ганссны из рода в род владели обширными лесными складами внизу у

реки, где мощные механические пилы с шипением и свистом обрабатывали

древесные стволы. Тонио был сыном консула Крёгера, того самого, чье

фирменное клеймо - широкое и черное - красовалось на больших мешках с

зерном, которые ломовики целыми днями развозили по улицам, и чей

поместительный старый дом, доставшийся ему от предков, слыл самым

барственным во всем городе... Друзьям то и дело приходилось снимать

фуражки при встрече со знакомыми, среди которых попадались и такие, что

первыми почтительно здоровались с четырнадцатилетними мальчуганами...

 У обоих были переброшены через плечо сумки с книгами, оба были хорошо и

тепло одеты: Гане - в бушлат, с выпущенным наружу синим воротником

матроски, Тонио - в серое пальто с кушаком. Ганс, по обыкновению, был в

датской матросской шапочке с короткими лентами, из-под которой выбивалась

прядь белокурых волос. Статный, широкоплечий, узкобедрый, с открытым и

ясным взглядом серо-голубых глаз, он был очень хорош собою. Под круглой

меховой шапкой Тонио виднелось смуглое, тонкое лицо южанина и глаза с

тяжелыми веками; оттененные чуть заметной голубизной, они мечтательно и

немного робко смотрели на мир...

 Рот и подбородок Тонио отличались необыкновенно мягкими очертаниями.

 Походка у него была небрежная и неровная, тогда как стройные ноги

Ганса, обтянутые черными чулками, ступали упруго и четко.

 Тонио не говорил ни слова. У него было тяжело на сердце. Нахмурив

разлетные брови, вытянув губы, как бы для того, чтобы свистнуть, и склонив

голову набок, он сурово смотрел вдаль. Этот наклон головы и хмурое

выражение лица были характерны для него.

 Внезапно Ганс взял Тонио под руку и слегка покосился на своего друга,

он ведь отлично знал, что с ним творится. И хотя Тонио еще некоторое время

хранил молчание, на душе у него сразу полегчало.

 - Не думай, что я позабыл, Тонио, - сказал Ганс, глядя себе под ноги, -

я просто считал, что сегодня у нас ничего не выйдет, очень уж холодно и

ветрено. Но я-то холода не боюсь, а ты молодец, что, несмотря ни на что,

дождался меня. Я решил, что ты ушел домой, и злился...

 Каждая жилка в Тонио радостно затрепетала от этих слов.

 - Давай-ка пойдем по валам, - растроганно отвечал он. - По Мельничному

и Голштинскому, таким образом я провожу тебя до дому... Не беда, что

обратно мне придется идти одному, - в следующий раз ты меня проводишь.

 Он, собственно, не очень-то верил Гансу, прекрасно понимая, что тот и

вполовину не придает такого значения этой прогулке. Но видел, что Ганс

раскаивается в своей забывчивости, ищет примирения, и отнюдь не хотел от

этого примирения уклоняться...

 Дело в том, что Тонио любил Ганса Ганеена и уже немало из-за него

выстрадал. А тот, кто сильнее любит, всегда внакладе и должен страдать, -

душа четырнадцатилетнего мальчика уже вынесла из жизни этот простой и

жестокий урок; по самой своей натуре он очень дорожил такими житейскими

наблюдениями, внутренне как бы брал их на заметку, даже радовался им, хотя

отнюдь ими не руководствовался и никаких практических выводов для себя из

них не делал. Так уж он был устроен, что эта наука казалась ему куда

важнее, куда интереснее знаний, которые ему навязывали в школе. Во время

уроков, в классе под готическими сводами, он главным образом размышлял над

этими истинами, стараясь как можно полнее продумать и прочувствовать их.

При этом он ощущал почти такую же радость, как в часы, когда расхаживал со

скрипкой по комнате (Тонио играл на скрипке), извлекая из нее самые нежные

звуки, которые сливались с плеском фонтана, в саду, под старым орешником,

посылавшего высоко в воздух свои резвые струи.

 Фонтан в саду под старым орешником, скрипка и морские дали, дали

Балтийского моря, чьи летние грезы ему удавалось подслушать во время

каникул, все это было тем, что он любил, чем старался окружать себя, среди

чего протекала его внутренняя жизнь. Все эти слова и образы непроизвольно

складывались в стихи, да и вправду нередко звучали в стихах, которые

случалось слагать Тонио Крёгеру.

 Тетрадь со стихами собственного сочинения! Слух об этой тетради,

распространившийся по его, Тонио, оплошности, изрядно повредил ему во

мнении одноклассников и учителей. Правда, сыну консула Крёгера казалось,

что глупо и подло порицать человека за писание стихов, и он презирал своих

товарищей и учителей, впрочем и без того внушавших ему отвращенье дурными

манерами и мелкими слабостями, которые он подмечал в них с удивительной

проницательностью. С другой стороны, он и сам, считая стихотворство чем-то

неуместным, даже неподрбающим, признавал правоту тех, что его осуждали. И

все-таки продолжал стихотворствовать...

 Поскольку дома он попусту растрачивал время, а в школе был мешкотен,

рассеян и на дурном счету, то и отметки приносил самые дурные, что очень

огорчало и сердило его отца, высокого, изящно одетого господина, с умными

голубыми глазами и неизменным полевым цветком в петлице.

 Зато матери Тонио, его черноволосой красавице матери, носившей имя

Консуэло и нисколько не похожей на всех остальных дам в городе, - отец

когда-то привез ее из далеких краев, расположенных в самом низу карты, -

его отметки были совершенно безразличны.

 Тонио любил свою смуглую пылку-ю мать, чудесно игравшую на рояле и на

мандолине, и радовался ее безразличию к тому, что все у него не так, как у

людей. Но в то же время он чувствовал, что гнев отца достойнее и

почтеннее; хотя тот на все лады и распекал сына, Тонио в глубине души

соглашался с ним, а веселую беспечность матери находил немного непутевой.

Временами он думал примерно так: "Ну пусть уж я такой, как есть,

нерадивый, упрямый, пусть я размышляю о вещах, которые нисколько не

интересуют других, пусть не хочу и не могу измениться. Но, конечно, за это

меня нужно бранить и наказывать, а не отделываться игрой на рояле и

поцелуями. Мы же не цыгане в таборе, а добропорядочные люди: консул

Крёгер, семейство Крёгеров..." Нередко он даже спрашивал себя: "Почему я

какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются,

а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики, - то,

что называется "золотой серединой". Учителя не кажутся им смешными, они не

пишут стихов и думают о том, о чем положено думать и что можно высказывать

вслух. Какими порядочными, со всеми согласными они ощущают себя, и как

это, наверно, им приятно... Кто же я такой и что со мной будет дальше?"

 Эта склонность Тони о рассматривать себя и свое отношение к жизни со

стороны играла большую роль в его любви к Гансу Гансену. Он любил его

прежде всего за красоту, но еще и за то, что Ганс решительно во всем был

его противоположностью. Ганс Гансом прекрасно учился, был.отличным

спортсменом, ездил верхом, занимался гимнастикой, плавал, как рыба, и

пользовался общей любовью.

 Учителя, можно сказать, души в нем но чаяли, звали его но имени"

 всячески поощрили, товарищи заискивали в нем, мужчины и дамы,

встречаясь с ним на улице, гладили белокурые пряди, выбивающиеся из-под

его датской матросской шапочки, и говорили:

 - Здравствуй, Ганс Гансом, что за славные у тебя кудри! Ну, как? Все

еще первый ученик? Молодчина! Кланяйся маме и папе, мой мальчик!

 Таков был Ганс Гансен, и Томно Крёгер, смотря на него, всякий раз

ощущал завистливую тоску. Она гнездилась где-то повыше груди и жгла его

сердце. "Ну у кого еще могут быть такие голубые глаза; кто, кроме тебя,

живот в таком счастливом единении со всем миром? - думал Тонно-.. - Ты

всегда находишь себе благопристойные, респектабельные занятия. Покончив с

приготовлением уроков, ты отправляешься в манеж или выпиливаешь из дерева

какие-нибудь вещички; даже во время каникул у моря ты по горло занят

греблей, катаньем под парусом или плаваньем, тогда как я праздно валяюсь

на песке, всматриваясь в таинственные "змеионня, что пробегают по лику

моря. Поэтому и ясны твои глаза. Быть таким, как ты..."

 Впрочем, он но делал попыток стать таким, как Ганс Гансом, а может

быть, и но хотел этого всерьез. Но, оставаясь самим собою, он мучительно

желал, чтобы Ганс любил его, и на свой лад домогался его любви: всей

душой, медлительно, самозабвенно, в печали и томлении - томлении, что

гложет и жжет больнее, чем буйная страсть, которую можно было бы пред-,

положить в нем, судя но его южному облику.

 И он домогался не напрасно. Ганс видел, что Тонио кое в чем его

превосходит, - например, в известной изощренности речи, позволявшей ему

высказывать необычные мысли; к тому же Ганс хорошо понимал, что столкнулся

здесь с чувством, необычайно сильным и нежным, и умел быть благодарным; он

доставлял Тонио немалую радость своим дружелюбием, по также и муки:

ревность, разочарование, горечь от безнадежных попыток установить наконец

духовную общность. Примечательно, что Тонио, завидовавший душевному складу

Ганса Гансона, все же постоянно пытался приобщить его к своим интересам,

но это ему удавалось разве что на мгновение, а скорей и вовсе не

удавалось...

 - Я прочитал одну изумительную, потрясающую вещь... - говорил он.

 Они шли и на ходу лакомились из кулечка леденцами, купленными за десять

пфеннигов у бакалейщика Иверсена на Мельничной улице.

 - Ты должен прочесть ее, Ганс, это "Дон Карлос" Шиллера... я тебе

принесу его, если хочешь...

 - Да мет уж, Тонио, куда мне! - отвечал Ганс Гансен. - Лучше я останусь

при своих книгах о лошадях. Иллюстрации там, доложу я тебе, первый сорт.

Приходи - посмотришь. Это моментальные снимки, на них видишь лошадей,

идущих рысью, галопом, берущих препятствия - в таких положениях, которые

обычно и не успеваешь заметить из-за быстроты...

 - Неужто во всех положениях? - учтиво откликался Тонио. - Здорово! Что

же касается "Дон Карлоеа", так это даже словами не скажешь. Там есть

места, вот увидишь, что ты прямо взвиваешься;, словно от удара кнутом.

 - Кнутом? - переспрашивает Ганс Гансен. - Как так?

 - Ну, например, место, где король плачет, оттого что маркиз обманул

его... А он обманул его ради принца, понимаешь, которому принес себя в

жертву. И вот из кабинета в приемную просачивается весть, что король

плакал. "Плакал? Король плакал?" Придворные в полном замешательстве, а

тебя прямо в дрожь бросает, потому что это страшно непреклонный, грозный

король. Но вполне понятно, отчего он плакал, и я лично жалею его куда

больше, чем принца и маркиза, вместе взятых. Он ведь так одинок всегда.

Никто его не любит. И вот ему показалось, что он наконец нашел человека, а

этот человек предал его...

 Ганс Гансен сбоку заглянул в лицо Тонио, и что-то в этом лице, видимо,

расположило его в пользу затронутой темы, ибо он опять просунул руку под

руку Тонио и спросил:

 - А каким же образом он его предал, Тонио?

 Тонио оживился.

 - Дело втом, - начал он, - что все письма в Брабант и во Фландрию...

 - А вон идет Эрвин Иммерталь, - сказал Ганс.

 Тонио умолк. "Чтоб ему провалиться, этому Иммерталю! - подумал он. -

Надо же было, чтобы именно он попался навстречу! Наверное, увяжется за

нами и всю дорогу будет говорить о манеже..."

 Эрвин Иммерталь тоже брал уроки верховой езды. Он был сыном директора

банка и жил за городскими воротами. Кривоногий, с раскосыми глазами и уже

без ранца, он шел им навстречу по аллее.

 - Здорово, Иммерталь! - крикнул Ганс. - Мы с Крёгером решили

прогуляться.

 - Мне надо кое-что купить в городе... Но я вас немного провожу... Что

это у вас? Леденцы? Спасибо, возьму две штучки. Завтра у нас урок, Ганс. -

Он имел в виду урок верховой езды.

 - Отлично! - сказал Ганс. - Теперь мне купят "ожаные гетры, в последний

раз я получил пятерку за езду...

 - Ты ведь не ходишь в манеж, Крёгер? - поинтересовался Иммерталь, и

глаза у него стали как две блестящие щелочки...

 - Нет, - как-то робко ответил Тонио.

 - А ты, Крёгер, попроси отца, чтобы он разрешил тебе присоединиться к

нам, - сказал Ганс Гансен.

 - Что ж, можно, - согласился Тонио торопливо и в то же время

равнодушно. На мгновенье у него сдавило горло оттого, что Ганс назвал его

по фамилии; Ганс это, видимо, почувствовал, так как незамедлительно

пояснил:

 - Я назвал тебя "Крёгер", потому что имя у тебя какое-то ненормальное;

ты уж прости, но я его терпеть не могу. Тонио... Да это вообще не имя.

 Но ты тут, конечно, ни при чем.

 - Тебя, наверно, потому так назвали, что это звучит по-иностранному и

очень необыкновенно, - с деланным сочувствием заметил Иммерталь.

 У Тонио задрожали губы. Но он взял себя в руки и сказал:

 - Да, имя дурацкое; и я бы, конечно, предпочел зваться Генрихом или

Вильгельмом. Меня окрестили так в честь маминого брата Антонио. Моя мать

ведь не здешняя...

 Он замолчал, предоставив своим спутникам рассуждать о лошадях и шорных

изделиях. Ганс взял под руку Иммерталя и говорил с таким оживлением и

интересом, какого в нем никогда бы не пробудил "Дон Карлос"... У Тонио

временами дрожал подбородок и щекотало в носу от желания заплакать; он

удержался от слез только усилием воли.

 Гансу не нравится его имя - что тут поделаешь? Его зовут Гансом,

Иммерталя - Эрвином, это общепринятые имена, ими никого не удивишь.

 А "Тонио" звучит по-иностранному и несколько экзотично. Да, хочет он

того или нет, а все с ним получается как-то необыкновенно, поэтому он

одинок и не похож на всех остальных людей, добропорядочных и обыкновенных,

хоть он и не цыган из табора, а сын консула Крёгера, из рода Крёгеров...

Но почему же Ганс называл его "Тонио", покуда они были одни, а как только

к ним присоединился третий, стал стыдиться своего друга? Временами они

близки с Гансом, - это несомненно. "Каким же образом он его предал,

Тонио?" - спросил Ганс и взял его под руку. Но не успел объявиться этот

Иммерталь, как он вздохнул с облегчением и оставил его, да еще ни за что

ни про что попрекнул иностранным именем. Как больно все это видеть и

понимать!.. Ганс Гансен совсем неплохо к нему относится с глазу на глаз,

он это знает. Но едва появится третий - и он уже его стыдится, жертвует им

для другого. И Тонио опять одинок. Он подумал о короле Филиппе. Король

плакал.

 - Что ж это я делаю! - воскликнул Эрвин Иммерталь. - Мне ведь давно

пора в город! До свиданья, друзья, спасибо за леденцы. - С этими словами

он вскочил на скамейку, с которой они поравнялись, пробежал по ней на

своих кривых ногах и рысцой затрусил по дороге.

 - Иммерталь мне нравится, - веско проговорил Ганс. У него была

самоуверенная манера всеобщего баловня объявлять о своих антипатиях и

симпатиях, точно он милостиво жаловал ими окружающих...

 Потом он опять заговорил о верховой езде, - раз напав на эту тему, он

не мог остановиться. До гансеновского дома было уже близко; дорога по

валам отнимала не так много времени. Они придерживали шапки и наклоняли

головы, защищая лица от сырого холодного ветра, стонавшего в голых

трескучих кронах деревьев. Ганс Гансен говорил без умолку, а Тонио лишь

изредка и довольно принужденно восклицал "ах" или "да", и то, что Ганс в

увлечении снова взял его под руку, уже его не радовало: ведь то была

только мнимая, ничего не значащая близость.

 Они спустились к вокзалу, посмотрели на поезд с неуклюжей торопливостью

громыхавший мимо них, от нечего делать пересчитали вагоны и помахали

человеку в шубе, восседавшему на задней площадке последнего. На

Линденплаце, перед домом Гансена, они остановились; Ганс наглядно и притом

весьма обстоятельно доказал, как интересно кататься на калитке, под

отчаянный визг петель. Затем они стали прощаться.

 - Ну, мне пора! До свиданья, Тонио. В следующий раз я непременно пойду

тебя провожать, будь уверен!

 - До свиданья, Ганс, - отвечал Тонио. - Я с удовольствием прогулялся. -

Они пожали друг другу руки, мокрые и вымазанные ржавчиной вследствие

упражнений с калиткой. Но когда Ганс посмотрел в глаза Тонио, на его

красивом лице изобразилось нечто вроде раскаяния.

 - На днях непременно прочту "Дон Карлоса", - быстро проговорил он. -

Должно быть, замечательная штука эта история с королем в кабинете, - Затем

он сунул под мышку сумку с книгами и побежал через палисадник. Но прежде

чем войти в дом, еще раз обернулся и кивнул головой.

 Тонпо Крёгер, счастливый и просветленный, отправился восвояси.

 Ветер дул ему в спину, но но только поэтому ему было теперь легко идти.

 Ганс прочитает "Дон Карлоса", и у них будет что-то такое, во что не

сунется ни Иммерталь, ни кто-либо еще! Как хорошо они понимают друг друга!

Чего доброго, со временем он и Ганса приохотит писать стихи. Ист, нет, это

уж лишнее! Ганс не должен быть похожим на него, пусть остается самим

собой, жизнерадостным и сильным, каким все любят его и больше всех он,

Тонио. А то, что Ганс прочтет "Дои Карлоса", ему но помешает!

 Тонио прошел под старинными приземистыми городскими воротами, миновал

гавань и стал круто подниматься по ветреной и мокрой улице к родительскому

дому. Сердце его в эти минуты жило: оно было переполнено тоской, грустной

завистью, легким презрением и невинным блаженством.

 Белокурая Инге, Ингеборг Хольм, дочь доктора Холь.ма, жившего на

Рыночной площади, посреди которой высился островерхий и затейливый

готический колодец, была та, кого Тонно Крёгер полюбил в шестнадцать лет.

 Как это случилось? Он сотни раз видел со и раньше. Но однажды вечером,

в необычном освещении, он увидел, как она, разговаривая с подругой,

задорно засмеялась, склонила голову набок, каким-то своим, особым жестом

поднесла к затылку руку, не очень узкую, по слишком изящную и совсем еще

детскую руку, и при этом белый кисейный рукав, соскользнув, открыл ее

локоть, услышал, как она со свойственной только ей интонацией проговорила

какое-то слово, обыкновенное, незначащее слово, но в голосе се послышались

теплые нотки - и его сердце в восхищении забилось куда более сильно, чем

некогда, когда он еще несмышленым мальчишкрй глядел на Ганса Гансена.

 В тот вечер он унес с собой ее образ: толстые белокурые косы,

миндалевидные, смеющиеся синие глаза, чуть заметная россыпь веснушек на

переносице. Он долго не спал, все ему слышались теплые потки в ее голосе;

он пытался воспроизвести интонацию, с какой она произнесла то незначащее

слово, и вздрогнул. Опыт подсказал ему, что это любовь. И хоти он знал,

что любовь принесет с собой много мук, горестей и унижений, что она

нарушит мир в его сердце, наводнит его мелодиями и он лишится покоя,

который нужен для всякого дела, для того, чтобы в тиши создать нечто

Целое, он все же радостно принял се, предался ей всем существом, стал ее

пестовать всеми силами души, ибо знал: любить это богатство и-это жизнь, а

он больше стремился быть богатым и жить, чем созидать в тиши.

 Итак, Тонио Крёгер влюбился в резвую Инге Хольм; случилось это в

гостиной консульши Хустеде, откуда в тот вечер была вынесена вся мебель,

так как у Хустеде происходил урок танцев; отпрыски лучших семейств города

обучались на этих уроках танцам и хорошим манерам. Они устраивались

поочередно то в одном, то в другом родительском доме. Для этой цели из

Гамбурга раз в неделю приезжал учитель танцев Кнаак.

 Франсуа Кнаак звали его. И что это был за человек!

 J'ai I'honneur de гае vous representer, - представлялся он, - топ nom

est Knaak... [Имею честь представиться, моя фамилия Кнаак... (франц.)] -

Это произносится не во время поклона, а когда ты уже выпрямишься, -

негромко, но явственно. Конечно, не каждый день случается

отрекомендовывать себя по-французски, но тот, кто умеет делать это искусно

и безупречно, на родном языке и подавно справится с такой задачей. Как

замечательно облегал черный шелковистый сюртук жирные бока господина

Кнаака! Брюки мягкими складками ниспадали на лакированные туфли,

отделанные широкими атласными бантами, а его карие глаза взирали на мир,

утомленные счастливым сознанием собственных неоспоримых совершенств...

 Господин Кнаак прямо-таки подавлял веех преизбытком уверенности и

благоприличия. Он направлялся к хозяйке, - ни у кого больше не было такой

походки: упругой, гибкой; плавной, победоносной, - склонялся перед ней и

ждал; пока ему протянут руку. Затем тихо благодарил, отступал, словно на

пружинах, поворачивался на левой ноге, оттянув к низу носок правой, щелкал

каблуками и удалялся, подрагивая бедрами.

 Уходя из гостиной, полагалось с поклонами пятиться к двери; подавай

стул, не хватать его за ножку, не волочить за собою, но нести, взявши за

спинку, и бесшумно опустить на пол. И уж конечно, никак нельзя было стоять

сложив руки на животе и высунув кончик языка; а если кто-нибудь все же

позволял себе это, господин Кнаак умел так зло воспроизвести его позу, что

у бедняги навек сохранялось к ней отвращение.

 Таковы были уроки изящных манер. А уж в танцах господин Кнаак

положительно не знал себе равных. В гостиной, откуда выносили всю мебель,

горела газовая люстра и свечи на камине. Пол посыпался тальком, и

безмолвные ученики стояли полукругом. В соседней комнате за раздвинутыми

портьерами располагались на плюшевых креслах мамаши и тетки и в лорнеты

наблюдали за тем, как господин Кнаак, изогнувшись и двумя пальцами

придерживая полы сюртука, упруго скачет, показывая ученикам отдельные

фигуры мазурки. Если же ему хотелось окончательно сразить публику, он

внезапно, без всякой видимой причины, отрывался от пола, с непостижимой

быстротою кружил ногою в воздухе, дробно бил ею о другую ногу и с

приглушенным, но тем не менее сокрушительным стуком возвращался на бренную

землю...

 "Ну и обезьяна", - думал Тонио Крёгер. Однако он отлично видел, что

Инге Хольм, резвая Инге, с самозабвенной улыбкой следит за движениями

господина Кнаака; и уже одно это вынуждало его платить известную дань

восхищения столь дивно управляемой плоти. Но до чего же спокойный и

невозмутимый взор у господина Кнаака! Его глаза не проникают,в глубь вещей

- там слишком много сложного и печального; они знают только одно, что они

карие и красивые! Поэтому-то он и держится так горделиво:

 Конечно, надо быть глупцом, чтобы выступать столь осанисто, но зато

таких людей любят, а значит, они достойны любви. Тонио прекрасно понимал,

почему Инге, прелестная белокурая Инге, не сводит глаз с господина Кнаака.

Неужели ни одна девушка никогда не будет так смотреть на него, Тонио?

 Нет, почему же, случалось и это. Вот, например, Магдалена Вермерен,

дочь адвоката Вермерена, с нежным ртом и серьезным задумчивым взглядом

больших темных блестящих глаз. Во время танцев она нередко падала; зато

когда приходил черед дамам выбирать кавалеров, неизменно выбирала его.

Магдалена знала, что он пишет стихи, раза два даже просила показать их и

часто, понурив голову, издали смотрела на него. Но что ему до этого?

 Ведь он любит Инге Хольм, веселую белокурую Инге, которая наверняка

презирает его за кропание стихов...

 Он смотрел на нее, смотрел на ее миндалевидные голубые глаза, полные

счастья и задора, и завистливая тоска и горечь сознания, что он отвергнут,

навеки чужд ей, теснила и жгла его грудь...

 - Первая пара en avant! [Вперед! (фр.)] - воскликнул господин Кнаак. И

нет слов описать, как великолепно этот человек говорил в нос. Однажды,

когда разучивали кадриль, Тонио Крёгер, к величайшему своему испугу,

оказался в одном каре с Инге Хольм. Он, сколько возможно, избегал ее и тем

не менее всякий раз оказывался рядом с ней; он запрещал своим глазам

смотреть на нее, и тем не менее его взор всякий раз к ней обращался... Вот

она об руку с рыжеволосым Матиссеном скользящими шагами подбежала,

откинула косу за плечи и, задыхавшись, остановилась перед ним; тапёр,

господин Хейнцельман, ударил своими костлявыми пальцами по Клавишам,

господин Кнаак начал дирижировать кадрилью.

 Инге мелькала перед ним справа и слева, то плавно выступая, то

стремительно кружась; временами до него доносилось благоухание, исходившее

от ее волос, а может быть - от легкой белой ткани платья, и взор его все

мрачнел и мрачнел. "Я люблю тебя, чудная, прелестная Инге", - мысленно

говорил он, вкладывая в эти слова всю свою боль, ибо, веселая, увлеченная

танцем, она, казалось, вовсе его не замечала. Прекрасное стихотворение

Шторма пришло ему на ум: "Хочу заснуть, а ты иди плясать".

 Его мучила эта унизительная нелепость: человек любит, а его принуждают

танцевать...

 - Первая пара en avant! - воскликнул господин Кнаак; сейчас должна была

начаться новая фигура, - Compliment! Moulinetdes dames!

 Tour de main! [Поклон! Дамы - накрест! За руки - кружиться! (фр.)]

Невозможно описать, с каким изяществом проглатывал он немое "е"

 в словечке "de".

 - Вторая пара en avant! - Это уже относилось к Тонио Крёгеру и его

даме. - Compliment! - И Тонио Крёгер поклонился. - Moulinet des dames! - И

Тонио Крёгер, опустив голову, нахмурив брови, кладет свою руку на руки

четырех дам, на руку Инге Хольм... и начинает танцевать "moulinet".

 Вокруг слышится хихиканье, смех: господин Кнаак принимает балетную

позу, изображающую стилизованный ужас.

 - Боже! - восклицает он. - Остановитесь! Остановитесь! Крёгер затесался

к дамам! En arriere [Назад (фр.)], фрейлейн Крёгер, назад, fi done! [Фи!

(фр.)] Все поняли, кроме вас. Живо! Прочь, прочь назад! - Он вытащил

желтый платок и, размахивая им, погнал Тонио Крёгера на место.

 Все покатывались со смеху, юноши, девушки, дамы за портьерой, -

господин Кнаак сумел так обыграть это маленькое происшествие, что зрители

веселились, как в театре. Только господин Хейнцельман с сухой и деловитой

миной дожидался, когда сможет снова приступить к своим обязанностям; на

него эффектные выходки господина Кнаака уже не действовали.

 Кадриль продолжалась. Затем был объявлен перерыв. Горничная внесла

поднос, на котором звенели стаканчики с винным желе, за ней в кильватере

шла кухарка с целой грудой кексов. Но Тонио Крёгер потихоньку ускользнул в

коридор и стал, заложив руки за спину, перед окном со спущенными жалюзи,

не сообразив, что сквозь жалюзи ничего нельзя увидеть, а потому смешно

стоять и притворяться, будто смотришь на улицу.

 Но он стоял и смотрел... в себя, в свою душу, изнывавшую от горести и

тоски. Зачем, зачем он здесь? Зачем он не сидит у окна в своей комнате за

чтением "Иммензее" Шторма, время от времени вглядываясь в сумеречный сад,

где тяжко потрескивает старый орешник. Там его место. Пусть другие танцуют

весело и ловко!.. Нет, нет, его место все-таки здесь, здесь он поблизости

от Инге - не важно, что он одиноко стоит в коридоре, пытаясь сквозь шум,

звон и смех, в зале различить ее голос, звенящий теплом и радостью жизни.

Какие у тебя миндалевидные голубые, смеющиеся глаза, белокурая Инге! Но

такой красивой и радостной, как ты, можно быть только не читая "Иммензее"

и не пытаясь создать нечто подобное; и до чего же это печально!..

 Почему она не идет? Почему не замечает, что он скрылся, не чувствует,

что с ним происходит, почему не разыщет его потихоньку - хотя бы из одного

лишь сострадания, не положит руку ему на плечо, не скажет: "Иди к нам,

развеселись, я люблю тебя"? Он прислушивался, не раздадутся ли шаги за его

спиной, с неразумно бьющимся сердцем ждал ее прихода. Но она и не подумала

прийти. В жизни так не бывает...

 Неужели и она смеялась над ним, как все остальные? Да, конечно,

смеялась, сколько бы он ни старался это опровергнуть - ради себя самого и

ради нее тоже. А ведь он спутался в "moulinet des dames" только потому,

что был всецело поглощен ею. Но не важно! Когда-нибудь они перестанут

смеяться! Ведь принял же недавно один журнал его стихотворение; правда,

оно так и не увидело света, но только потому, что журнал неожиданно

прогорел и закрылся. Настанет день, когда он сделается знаменитым, когда

будет печататься все, что он пишет, и тогда посмотрим, не произведет ли

это впечатление на Инге Хольм... Нет, не произведет! В том-то и беда. На

Магдалену Вермерен, которая вечно падает, на нее - бесспорно, но не на

Инге Хольм, не на голубоглазую, веселую Инге. Так, значит, все тщетно?..

 Сердце Тонио Крёгера болезненно сжалось при этой мысли. Больно

почувствовать, как бродят в тебе чудодейственные силы задора и печали, и

при этом знать, что те, к кому ты стремишься всей душой, замкнулись от

тебя в веселой неприступности. И хотя он отчужденно и одиноко стоял перед

опущенными жалюзи и в горести своей притворялся, будто через них можно

что-то видеть, он все же был счастлив. Сердце его в это время жило.

 Теплом и печалью билось оно для тебя, Ингеборг Хольм! Душа Тонио

Крёгера в блаженном самоотречении принимала в себя твою белокурую,

светлую, насмешливую и заурядную Маленькую особу.

 Не раз стоял он, разгоряченный, в каком-нибудь укромном уголке, куда

едва-едва доносились музыка, аромат цветов и звон бокалов, силясь в

отдаленном шуме праздника уловить твой звонкий голос, страдал из-за тебя и

все же был счастлив. Не раз мучился он тем, что с Магдаленой Вермерен,

которая вечно падала, ему было о чем говорить, и она его понимала,

отвечала серьезностью на серьезность и смеялась, если он был весел, тогда

как белокурая Инге, даже сидя рядом с ним, оставалась далекой и чужой, ибо

язык, на котором он говорил с ней, был ей непонятен. И все же он был

счастлив. Ведь счастье, уверял он себя, не в том, чтобы быть любимым; это

дает удовлетворение, смешанное с брезгливым чувством, разве что суетным

душам. Быть счастливым - значит любить, ловить мимолетные, быть может,

обманчивые мгновения близости к предмету своей любви. Он запечатлел в

памяти эту мысль, вник в нее, прочувствовал ее до конца.

 "Верность! - думал Тонио Крёгер. - Я буду верен тебе, буду любить тебя,

Ингеборг, покуда я жив!" Намерения у него были благие. Но какой-то

боязливый и печальный голос нашептывал ему, что ведь позабыл же он Ганса

Гансена, хотя и видел его ежедневно. А самое гадкое и постыдное

заключалось в том, что этот тихий и лукавый голос говорил правду: пришло

время, когда Тонио Крёгер уже не был готов в любую минуту безропотно

умереть за веселую Инге, ибо он чувствовал в себе потребность и силу

совершить в этой жизни - на свой лад, конечно, - немало значительного.

 Он кружил вокруг алтаря, на котором пылало пламя его любви, преклонял

перед ним колена, бережно поддерживал и питал это пламя, ибо хотел быть

верным. Но прошло еще немного времени,- и священный огонь, без вспышек и

треска, неприметно угас.

 А Тонио Крёгер продолжал стоять перед остывшим жертвенником, изумленный

и разочарованный тем, что верности на земле не бывает. Затем он пожал

плечами и пошел своей дорогой.

 Он шёл дорогой, которой ему суждено было идти, шел несколько

развинченным и неровным шагом и, потихоньку насвистывая, склонив голову

набок, вглядывался в даль, а если ему и случалось сбиваться с пути, то

лишь потому, что для многих вообще не существует пути прямого и верного.

Когда его спрашивали, кем он в конце концов намерен стать, он отвечал то

так, то этак, ибо любил говорить (и даже записал эту мысль), что в нем

заложены возможности для тысяч разных форм бытия, впро.чем, в глубине души

сознавая, что это не так...

 Нити, которыми он был привязан к родному, тесному городу, ослабли еще

до того, как он его покинул. Старинный род Крёгеров, мало-помалу

вырождавшийся, пришёл в полный упадок, и люди не без основания видели

подтверждение этому в образе жизни и повадках Тонио. Умерла его бабка по

отцу, старшая в роде, а вскоре за ней последовал и отец, высокий, изящно

одетый, задумчивый господин с полевым цветком в петлице. Большой

крёгеровский дом, заодно со своей долгой и почтенной историей, был

объявлен к продаже, фирма перестала существовать. А мать Тонио, его пылкая

красавица мать, так чудесно игравшая на рояле и на мандолине, которой все

на свете было безразлично, по истечении годичного траура снова вышла

замуж, на сей раз за музыканта с итальянской фамилией, и последовала за

ним в голубые дали. Тонио Крёгер считал, что это, пожалуй, взбалмошный

поступок; но разве он был вправе запрещать ей? Ведь он писал стихи и даже

не умел ответить на вопрос, кем же он все-таки станет в жизни...

 Он покинул родной город с его кривыми улочками, где над островерхими

крышами свистал сырой ветер, покинул фонтан и старый орешник в саду,

покинул друзей детства, море, которое так любил, и у него даже не защемило

сердце. Ибо он сделался умным и взрослым, понял, что происходит с ним, и

стал насмешливо относиться к тяжеловесному, низменному существованию, так

долго окружавшему его.

 Он всецело предался силе, казавшейся ему самой возвышенной на земле,

силе, к служению которой считал себя призванным и которая сулила ему

величие и почести, силе духа и слова, с улыбкой, господствующей над темной

и немой жизнью. С юношеской страстью служил он ей, и в награду она дала

ему то, что Могла дать, беспощадно взыскав с него все, что привыкла брать

взамен.

 Она обострила его зрение, позволила ему познать великие слова, которые

распирают грудь человека, она открыла ему души людей и его собственную

душу, сделала его ясновидцем и раскрыла перед ним сущность мира, то

сокровенное, что таится за словами и поступками. И он увидел только

смешное и убогое, убогое и смешное.

 И тогда вместе с мукой и высокомерием познания пришло одиночество, ибо

в кругу простодушных и веселых, но темных разумом его не терпели; клеймо

на его челе вселяло в них тревогу. Зато все более жгучим становилось для

него наслаждение словом и формой; он любил говорить (эту мысль он тоже для

себя отметил), что проникновение в душу человека неминуемо ввергло, бы нас

в ипохондрию, если бы радость выражения не сохраняла нам бодрость духа...

 Он жил в больших городах, чаще на юге, так как полагал, что под южным

солнцем пышнее взойдет его искусство. А может быть, это кровь матери

влекла его в те края... И так как его без любое сердце было мертво, то он

искал плотских утех, спускался в низины чувственности и нестерпимо мучился

жгучей своей виной. Впрочем, здесь, быть может, сказалось наследие отцаг

этого высокого, задумчивого, тщательно одетого человека с полевым цветком

в петлице; оно заставляло его страдать в низинах страсти и временами

пробуждало в нем неясное, тоскливое воспоминание об утехах души, некогда

столь доступных ему, а теперь от него ускользнувших.

 Его охватили отвращение и ненависть к чувственности. Он томился по

чистоте, по пристойной мирной жизни, а между тем вдыхал воздух искусства -

теплый, сладостный, напоенный ароматами воздух непреходящей весны, в

котором все движется, бродит и прорастает в тайном блаженстве созидания,

Так вот и получилось, что он, безудержно кидаясй из одной крайности в

другую, - от ледяных вершин духа к всепожирающему пламени низких страстей,

все же вел изнурительную жизнь, жизнь распутную, неумеренную и

беспорядочную, которая ему самому внушала отвращение.

 "Какой ложный путь! - думал он временами. - Как могло случиться, что я

пустился во все эти нелепые приключения? Я ведь не цыган из табора, а

сын..."

 Но в той же мере, в какой слабело его здоровье, изощрялось его

писательское мастерство; оно становилось все более изысканным,

привередливым, отшлифованным, тонким, нетерпимым к банальному и до

крайности чувствительным в вопросах такта и вкуса. На первое его

выступление в печати одобрительно и радостно отозвались те, кого искусство

затрагивало за живое, ибо это было отлично сработанное произведение,

полное юмора и проникновения в человеческие страдания. И в скором времени

его имя, которое так брезгливо выговаривали учителя, то самое, которым Ън

подписывал свои первые стихи, обращенные к орешнику, к фонтану, к морю, -

имя, в звуке которого сочетались Юг и Север, бюргерское имя, чуть тронутое

налетом экзотики, стало синонимом высокого подвига труда, ибо к

болезненной остроте впечатлений он сумел прибавить редкостное

долготерпение и честолюбивое усердие. Это усердие, боровшееся с

прихотливой изощренностью вкуса, помогало Тонио Крёгеру, пусть в

нестерпимых муках, создавать прекрасные произведения.

 Он работал не так, как работают люди, для того чтобы жить, - нет,

ничего, кроме работы, для него не существовало, ведь как человек он ни во

что себя не ставил и значение свое усматривал лишь в творчестве; в жизни

же бродил серый и невзрачный, точно актер, только что смывший грим, -

ничтожество вне театральных подмостков. Тонио Крёгер работал молча,

замкнуто, неприметно для чужого глаза, полный презрения к малым сим, для

которых талант не более как изящное украшение, кто независимо от того,

богат он или беден, ходит растрепанным и оборванным или щеголяет

немыслимым галстуком, думает только, как бы посчастливее, поприятнее,

"поартистичнее" устроить свою жизнь, не подозревая, что хорошие

произведения создаются лишь в борьбе с чрезвычайными трудностями, что тот,

кто живет, не работает и что, собственно, надо умереть, чтобы творить

великое искусство.

 - Я не помешаю? - спросил Тонио Крёгер с порога мастерской.

 Держа шляпу в руке, он стоял, почтительно склонившись, хотя Лизавета

Ивановна была его другом и у него от нее не было никаких тайн.

 - Домилуйте, Тонио Крёгер, зачем эти церемонии! - отвечала она с

характерной для нее отрывистой интонацией. - Кому не известно, что вы

получили хорошее воспитание и умеете вести себя в обществе! - С этими

словами она переложила кисть в левую руку, в которой держала палитру,

протянула ему правую и, покачав головой, со смехом взглянула ему прямо в

глаза.

 - Да, но вы работаете, - отвечал он. - Позвольте мне посмотреть.

 О, вы изрядно продвинулись! - И он стал попеременно рассматривать

эскизы в красках, прислоненные к спинкам стульев по обе стороны мольберта,

и большой расчерченный квадратными клетками холст, где на фоне путаного,

схематического наброска углем уже возникали первые красочные пятна.

 Это было в Мюнхене, на Шеллингштрассе. Мастерская помещалась в верхнем

этаже здания, стоявшего в глубине двора. За широким окном, глядевшим на

северо-запад, царила синева небес, птичий щебет; солнце; юное сладостное

дыхание весны, лившееся сквозь открытое окно, мешалось с запахом фиксатива

и масляных красок, наполнявшим обширную мастерскую. Золотистый вечерний

свет, не встречая преград, заливал нагие просторы мастерской, без

стеснения освещал выщербленный пол, загроможденный кистями, тюбиками с

краской и всевозможными бутылочками, некрашеный етол, этюды без рам на

неоклеенных стенах, обветшавшую шелковую ширму неподалеку 6т дверей, за

которой виднелся изящно меблированный уголок - спальня и одновременно

гостиная, начатую картину на мольберте и смотревших на нее художницу и

писателя.

 На вид ей, как и ее другу, было лет тридцать с небольшим. В темносинем,

перепачканном красками рабочем халате она сидела на низеньком стуле,

подперев кулачком подбородок. Ее каштановые, стянутые в тугой пучок и чуть

тронутые сединой волосы мягкими волнами ложились на виски, обрамляя

смуглое, бесконечно привлекательное лицо славянского типа, со вздернутым

носом, широкими скулами и маленькими черными сияющими глазами. Напряженно,

взволнованно и недоверчиво щурясь, она вглядывалась в свою работу.

 Тонио стоял подле нее; правой рукой он уперся в бок, а левой - быстро

теребил свой каштановый ус. Его разлетные брови хмуро и нервно двигались;

по обыкновению, он тихо что-то насвистывал. Одет он был чрезвычайно

тщательно и солидно в превосходно сшитый костюм спокойного серого цвета.

Его изборожденный трудом и мыслью лоб, на который так просто и аккуратно

ложились расчесанные на пробор волосы, нервно подергивался, а типично

южные черты лица, со временем обострившиеся, казались высеченными резцом,

но его рот был нежно очерчен и мягко вылеплен подбородок... Точно

очнувшись, он провел рукой по лбу, по глазам и отвернулся.

 - Не надо было мне приходить, - сказал он.

 - Почему ж это, Тонио Крёгер?

 - Я только что встал от работы, Лизавета, и в голове у меня как на этом

вот холсте: бледный контур, весь исчерканный поправками набросок и два-три

красочных пятна. Прихожу сюда - опять то же самое. Все конфликты и

противоречия, замучившие меня дома, я вижу и здесь, - добавил он и потянул

носом воздух. - Странная это штука! Если ты одержим какой-то мыслью, то

она подстерегает тебя на каждом шагу, даже в воздухе ты чуешь ее запах.

Фиксатив и аромат весны. Искусство, - так ведь? А что второе? Только не

говорите "природа", Лизавета; "природа" - не исчерпывающее понятие. Нет,

надо было мне идти гулять, хотя еще вопрос, лучше ли бы я себя

почувствовал. Пять минут назад уже около вашего дома я встретил коллегу,

новеллиста Адальберта. "Черт бы побрал ату весну, - заявил он своим

обычным агрессивным тоном. - Всегда она была и будет самым гнусным

временем года! Ну, скажите, Крёгер, приходит ли вам на ум хоть одна

разумная мысль, можно ли спокойно обдумать хоть одну деталь и учесть ее

воздействие, когда у вас непристойнейшим образом зудит что-то в крови и

вас одолевает, уйма всяких посторонних впечатлений, которые при ближайшем

рассмотрении оказываются ни на что не пригодной пошлятиной? Я лично сейчас

отправляюсь в кафе. Это, знаете ли, нейтральная зона, которую не

затрагивает смена времен года, отрешенная и, так сказать, возвышенная

сфера искусства, где тебя осеняют лишь значительные мысли..." И он

отправился в кафе; мне, наверно, следовало пойти вместе с ним.

 Лизавета слушала и смеялась.

 - Очень хорошо, Тонио Крёгер. "Непристойнейший зуд" - это очень хорошо.

И по-своему он прав, работа весной не слишком спорится. Ну, а сейчас вы

увидите, как я все-таки закончу одну деталь и "учту ее воздействие", как

сказал бы Адальберт. А потом мы перейдем в "гостиную" нить чай, и вы

сможете выговориться; я ведь вижу, что вам сегодня необходимо расстрелять

свой заряд. А пока устраивайтесь где-нибудь, хоть на том вон ящике, если

вы, конечно, не боитесь за свои патрицианские одежды...

 Ах, оставьте в покое мои одежды, Лизавета Ивановна! Не разгуливать же

мне в драной бархатной блузе или в красном шелковом жилете?

 Человек, занимающийся искусством, и без того бродяга в душе. Значит,

надо, черт возьми, хорошо одеваться и хоть внешне выглядеть

добропорядочным... Да и заряда у меня никакого нет, - добавил он, глядя,

как она смешивает краски на палитре. - Я ведь уже сказал, что только эта

дя-.

 лемма, это непримиримое противоречие сводят меня с ума и мешают мне

работать... О чем мы, собственно, говорили? Да, о новеллисте Адальберте и

о том, какой он гордый и решительный человек. Объявил, что "весна -

гнуснейшее время года", и отправился в кафе. Ну что ж! Надо знать, чего

хочешь. Так ведь? По правде говоря, весна и мне действует на нервы, и меня

сбивает с толку чарующая тривиальность воспоминаний и ощущений, которые

она вызывает к жизни; только я не решаюсь презирать и ругать ее за это, и

потому не решаюсь, что мне стыдно перед ее чистой непосредственностью,

победной юностью. И я не пойму, завидовать мне Адальберту или смотреть на

него свысока за то, что он ничего этого не знает...

 Что правда, то правда, весной работа не ладится. А почему? Потому что

обострены все чувства. Ведь лишь простак полагает, что творец-художник

вправе чувствовать. Настоящий и честный художник только посмеется над

столь наивным заблуждением дилетанта - не без грусти, быть может, но

посмеется. То, о чем мы говорим, отнюдь не главное, а безразличный сам но

себе материал, и, лишь возвысившись над ним, бесстрастный художник

возводит все это в степень искусства. Если то, что вы хотите сказать,

затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо биться ваше сердце,

вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и

из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное,

безыронически-пресное, банально-унылое; читателя это оставит равнодушным,

в авторе же вызовет только разочарование и горечь... Так! И ничего тут не

поделаешь, Лизавета! Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и

бестолково. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной

нервной системы художника, надо обладать какой-то нечеловеческой,

античеловеческой природой, чтобы занять удаленную и безучастную к человеку

позицию и суметь, или хотя бы только пожелать, выразить человеческое,

обыграть его, действенно, со вкусом его воплотить. Владенье стилем, формой

и средствами выражения - уже само по себе предпосылка такого рассудочного,

изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает

оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства - это аксиома -

безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает

существовать. Адальберт это понял, а потому и отправился в кафе, в

"возвышенную сферу", - да, да, это так!

 - Ну и бог с ним, батюшка, - сказала Лизавета, моя руки в жестяной

лоханке, - вас ведь никто не просит следовать за ним.

 - Нет, Лизавета, я не пойду за ним, но только потому, что весна порой

еще заставляет меня стыдиться моего писательства. Мне, видите ли,

случается получать письма, написанные незнакомым почерком, хвалу и

благодарность читателей, восторженные отзывы взволнованных людей. Читая

эти письма, я поневоле бываю растроган простыми чувствами, которые

пробудило мое искусство; меня охватывает даже нечто вроде сострадания к

наивному воодушевлению, которым дышат эти строки, и я краснею при мысли о

том-, как был бы огорошен такой человек, заглянув за кулисы; как была бы

уязвлена его наивная вера, пойми он, что честные, здоровые и

добропорядочные люди вообще не пишут, не играют, не сочиняют музыки...

 Впрочем, эта растроганность не мешает мне своекорыстно использовать.его

восхищение, стимулирующее и поощряющее мой талант, да еще строить при этом

серьезную мину, точно обезьяна, разыгрывающая из себя сановитого

господина... Ах, не спорьте со мной, Лизавета! Уверяю вас, порой я ощущаю

смертельную усталость - постоянно утверждать человеческое, не имея в нем

своей доли... Да и вообще, мужчина ли художник? Об этом надо спросить

женщину. По-моему, мы в какой-то мере разделяем судьбу препарированных

папских певцов... Поем невыразимо трргательно и прекрасно, а сами...

 - Постыдились бы, Тонио Крёгер. Идите-ка лучше пить чай. Чайник уже

закипает, и вот вам папиросы. Итак, вы остановились на мужском сопрано,

можете продолжать с этого места. Но все-таки постыдитесь. Если бы я не

знала, с какой гордой страстностью вы отдаетесь своему призванию...

 - Не говорите мне о "призвании", Лизавета Ивановна! Литература не

призвание, а проклятие, - запомните это. Когда ты начинаешь чувствовать

его на себе? Рано, очень рано. В пору, когда еще нетрудно жить в согласии

с богом и человеком, ты уже видишь на себе клеймо, ощущаешь свою

загадочную несхожесть с другими, обычными, положительными людьми;

пропасть, зияющая между тобой и окружающими, пропасть неверия, иронии,

протеста, познания, бесчувствия становится все глубже и глубже; ты одинок

- и ни в какое согласие с людьми прийти уже не можешь.

 Страшная участь! Конечно, если твое сердце осталось еще достаточно

живым и любвеобильным, чтобы понимать, как это страшно!.. Самолюбие

непомерно разрастается, потому что ты один среди тысяч носишь это клеймо

на челе и уверен, что все его видят. Я знавал одного высокоодаренного

актера, которого, как только он сходил с подмостков, одолевала болезненная

застенчивость и робость. Так действовало на гипертрофированное "я"

 этого большого художника и опустошенного человека отсутствие роли,

сценической задачи... Настоящего художника - не такого, для которого

искусство только профессия, а художника, отмеченного и проклятого своим

даром, избранника и жертву, - вы всегда различите в толпе. Чувство

отчужденности и неприкаянности, сознание, что он узнан и вызывает

любопытство, царственность и в то же время смущение написаны на его лице.

Нечто похожее, вероятно, читается на лице властелина, когда он проходит

через толпу народа, одетый в партикулярное платье. Нет, Лизавета, тут не

спасет никакая одежда. Наряжайтесь во что угодно, ведите себя как атташе

или гвардейский лейтенант в отпуску - вам достаточно поднять глаза,

сказать одно-единственное слово, и всякий поймет, что вы не человек, а

нечто чужеродное, стороннее, иное...

 Да и что, собственно, такое художник? Ни на один другой вопрос

невежественное человечество не отвечает со столь унылым однообразием.

 "Это особый дар", - смиренно говорят добрые люди, испытавшие на себе

воздействие художника, а так как радостное и возвышающее воздействие, по

их простодушному представлению, непременно должно иметь своим источником

нечто столь же радостное и возвышенное, то никому и в голову не приходит,

сколь сомнителен и проблематичен этот "особый дар".

 Всем известно, что художники легко уязвимы, а уязвимость обьгчно

несвойственна людям с чистой совестью и достаточно обоснованным чувством

собственного достоинства... Поймите, Лизавета, что в глубине , души - с

переносом в область духовного - я питаю к типу художника не меньше

подозрений, чем любой из моих почтейных предков там, на севере, в нашем

тесном старом городке питал бы к фокуснику или странствующему актеру,

случись такому забрести к нему в дом. Слушайте дальше.

 Я знаю одного банкира, седовласого дельца, одаренного талантом

новеллиста. К этому своему дару он прибегает в часы досуга, и, должен вам

сказать, некоторые его новеллы превосходны. И вот, вопреки - я сознательно

говорю "вопреки" - этой возвышенной склонности, его репутация отнюдь не

безупречна; более того, он довольно долго просидел в тюрьме, и отнюдь не

беспричинно. Только отбывая наказание, этот человек осознал свой дар, и

тюремные впечатления стали главным мотивом его Творчества. Отсюда недалеко

и до смелого вывода: чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь

исправительном заведении. Но разве тут же не. начинаешь подозревать, что

"тюремные треволнения" не столь изначально связаны с его творчеством, как

те, что привели его в тюрьму. Банкир, пишущий новеллы, - это редкость, но

добропорядочный, безупречный, солидный банкир, пишущий новеллы, - такого

просто не бывает...

 Вот вы смеетесь, а я ведь не шучу. Нет на свете более мучительной

проблемы, чем проблема художественного творчества и его воздействия на

человека. Возьмите, к примеру, удивительное творение наиболее типичного и

потому наиболее действенного художника, возьмите его болезненное, в корне

двусмысленное произведение, "Тристан и Изольда", и проследите воздействие

этой вещи на молодого, здорового, нормально чувствую-щего человека. Вы

увидите приподнятое состояние духа, прилив сил, искренний восторг, даже

побуждение к собственному "художественному"

 творчеству... Милейший дилетант! У нас, художников, все обстоит

поиному, так, как и не снилось ему с его "горячим сердцем" и "подлинным

энтузиазмом". Я видел художников, окруженных восторженйым поклонением

женщин и юношей, а чего только я не знал о них... Во всем, что касается

искусства, его возникновения, а также сопутствующих ему явлений и условий,

приходится постоянно делать новые и удивительные открытия...

 - И эти открытия вы делаете в других, Тонио Крёгер, простите меня, или

не только в других?

 Он молчал, нахмурив свои разлетные брови, и тихонько что-то насвистывал.

 - Дайте сюда чашку, Тонио. У вас слабый чай. Вот папиросы, курите,

пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что не обязательно смотреть на вещи

так, как смотрите вы...

 - Ответ Горацио, милая Лизавета. "Это значило бы рассматривать вещи

слишком пристально", не правда ли?

 - Нет, я хочу сказать, что можно смотреть на них и по-другому, Тонио

Крёгер. Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится,

что возразить вам, если мне иногда удается защитить от вас ваше

собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то

новые мысли, - нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично

знаете... По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие

литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература

как путь к всепониманию, к всепрощению и любви, что спасительная власть

языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще,

литератор как совершенный человек, как святой - только фикция, что так

смотреть на вещи - значит смотреть на них недостаточно пристально?

 - Вы вправе все это говорить, Лизавета Ивановна, применительно к

творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и

есть та самая святая литература. Но я вовсе не упустил из виду ваших

возможных возражений, напротив, они часть того, о чем я сегодня так

неотвязно думаю... Посмотрите на меня. Вид у меня не слишком веселый,

правда? Староватый, усталый, осунувшийся. Но так - возвращаясь к вопросу о

"познании" - и должен выглядеть человек, от природы склонный верить в

добро, мягкосердечный, благожелательный я немного сентиментальный, но

которого вконец извели и измотали психологические прозрения. Преодолевать

мировую скорбь, наблюдать, примечать, оправдывать даже самое странное - и

сохранять бодрость духа, утешаясь сознанием своего морального

превосходства над нелепой затеей, именуемой бытиём... да, конечно! Но ведь

иногда, несмотря на радость выражения, человеку все же становится

невмоготу. Все понять - значит все простить? Не уверен. Существует еще то,

что я называю "познавательной брезгливостью", Лизавета: состояние, при

котором человеку достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное

отвращение к нему (а отнюдь не примиренность). Это случай с датчанином

Гамлетом, литератором до мозга костей. Он-то понимал, что значит быть

призванным к познанию, не будучи для него рожденным. Провидеть сквозь

слезный туман чувства, познавать, примечать, наблюдать - с усмешкой

откладывать впрок плоды наблюдения даже в минуты, когда твои руки

сплетаются с другими руками, губы ищут других губ, когда чувства помрачают

твой взгляд, - это чудовищно, Лизавета, это подло, возмутительно... Но что

толку возмущаться?

 Другая, не менее привлекательная сторона всего этого - пресыщенность,

равнодушие, безразличие, устало-ироническое отношение к любой истине; ведь

не секрет, что именно в кругу умных, бывалых людей всегда царит молчаливая

безнадежность. Все, что бы ни открылось вам, здесь объявляется уже

устаревшим. Попробуйте высказать какую-нибудь истину, обладанье которой

доставляет вам свежую, юношескую радость, и в ответ вы услышите только

пренебрежительное пофыркиванье... Ах, Лизавета, тсак устаешь от литературы!

 Наш скептицизм, нашу угрюмую сдержанность люди часто принимают эа

ограниченность, тогда как на самом деле мы только горды и малодушны.

 Это о "познании". Что же касается "слова", то тут, возможно, все

сводится не столько к преображению, сколько к замораживанию чувства, к

хранению его на льду, и правда, ведь есть что-то нестерпимо холодное и

возмутительно дерзкое в крутой и поверхностной расправе с чувством

посредством литературного языка. Вели сердце у вас переполнено, если вы

целиком во власти какого-нибудь сладостного или высокого волнения, - чего

проще? - сходите к литератору, и в кратчайший срок все будет в порядке. Он

проанализирует ваш случай, найдет для него соответствующую формулу,

назовет по имени, изложит его, сделает красноречивым, раз навсегда с ним

расправится, устроит так, что вы станете к нему равнодушным, и даже

благодарности не спросит. А вы пойдете домой остуженный, облегченный,

успокоенный, дивясь, что, собственно, во всем этом могло каких-нибудь

несколько часов назад повергнуть вас в столь сладостное волнение. И вы

намерены всерьез заступаться за этого холодного, суетного шарлатана ? Что

выговорено, гласит его символ веры, с тем покончено. Если выговорен вееь

мир, - значит, он исчерпан, преображен, его более не существует...

Отлично! Но я-то ие нигилист...

 - Вы не,.. - начала Лизавета; она только что поднесла ко рту ложечку

чая, да так и замерла в этом положении.

 - Конечно, нет... Да очнитесь же, Лизавета? Повторяю, я не нигилист

тaм, где дело идет о живом чувстве. Литератор в глубине души не понимает,

что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после

того, как она "выговорена", "исчерпана". Несмотря на свое преображение

(через литературу), она знай себе грешит по-етарому, ибо е точки зрения

духа всякое действие - грех...

 Сейчас я доберусь до цели, Лизавета. Слушайте дальше. Я люблю жизнь, -

это признание. Примите, сберегите его, - никому до вас я ничего подобного

не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах писали, что я то ли

ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю ее, то ли-с отвращением от нее

отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но

правдивее от этого такие домыслы; не становились. Я люблю жизнь... Вы

усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте

того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мае в Цезаре

Борджиа или а какой-нибудь хмельной философии, подинмающей его на щит! Что

он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нем и думать не хочу и никогда не пойму,

как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам,

необычным людям, жизнь представляется не необычностью, не призраком

кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью

искусству и духу: нормальное, добропорядочное, милое - жизнь во всей ее

соблазнительной банальности - вот царство, по которому мы тоскуем.

Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет

рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по

наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности,

доверчивости, по человеческому счастью, тайной и жгучей тоски, Лизавета,

по блаженству обыденности!

 Друг! Верьте, я был бы горд и счастлив, найдись у меня друг среди

людей. Но до сих пор друзья у меня были лишь среди демонов, кобольдов,

завзятых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни, - иными словами,

среди литераторов.

 Мне случается стоять на эстраде под взглядами сидящих в зале людей,

которые пришли послушать меня. И вот, понимаете, я ловлю себя на том, что

исподтишка разглядываю аудиторию, так как меня гвоздит вопрос, кто же это

пришел сюда, чье это одобрение и чья благодарность устремляются ко мне, с

кем пребываю я сегодня в идеальном единении благодаря моему искусству... И

я не нахожу того, кого ищу, Лизавета. Я нахожу лишь знакомую мне паству,

замкнутую общину, нечто вроде собрания первых христиан: людей с неловким

телом и нежной душой, людей, которые, так сказать, вечно падают - вы

понимаете меня, Лизавета? - и для которых поэзия - это возможность хоть

немного да насолить жизни, - словом, нахожу только страдальцев, бедняков,

тоскующих. А тех, других, голубоглазых, которые не знают нужды в духовном,

не нахожу никогда...

 Ну, а если бы все обстояло иначе? Радоваться этому было бы по меньшей

мере непоследовательно. Нелепо любить жизнь и вместе с тем исхищряться в

попытках перетянуть ее на свою сторону, привить ей вкус к меланхолическим

тонкостям нездорового литературного аристократизма.

 Царство искусства на земле расширяется, а царство здоровья и

простодушия становится все меньше. Надо было бы тщательно оберегать то,

что еще осталось от него, а не стараться обольщать поэзией людей, которым

всего интереснее книги о лошадях, иллюстрированные моментальными

фотографиями.

 Ну можно ли себе представить что-нибудь более жалкое, чем жизнь,

пробующая свои силы в искусстве? Мы, люди искусства, никого не презираем

больше, чем дилетанта, смертного, который верит, что при случае он, помимо

всего прочего, может стать еще и художником. Мне самому не раз приходилось

испытывать это чувство.

 Я нахожусь в гобтях в добропорядочном доме: все едят, пьют, болтают,

все дружелюбно настроены, и я счастлив и благодарен, что мне удалось, как

равному среди равных, раствориться в толпе этих обыкновенных правильных

людей. И вдруг (я не раз бывал тому свидетелем) поднимается с места

какой-нибудь офицер, лейтенант, красивый малый с отличной выправкой,

которого я никогда не заподозрил бы в поступке, пятнающем честь мундира, и

самым недвусмысленным образом просит разрешить ему прочитать стихи

собственного изготовления. Ему разрешают, не без ему щенной улыбки. Он

вытаскивает из кармана заветный листок бумаги и читает свое творенье,

славящее музыку и любовь, - одним словом, нечто столь же глубоко

прочувствованное, сколь и бесполезное. Ну, скажите на милость! Лейтенант!

Властелин мира! Ей-богу же, это ему не к лицу! Дальше все идет, как и

следовало ожидать: вытянутые физиономии, молчанье, знаки учтивого

одобрения и полнейшее уныние среди слушателей. И вот первое душевное

движение, в котором я отдаю себе отчет: я - совиновник замешательства,

вызванного опрометчивым молодым человеком. И действительно, на меня,

именно на меня, чье ремесло он испоганил, обращены насмешливые, холодные

взгляды. И второе: человек, которого я только что искренне уважал,

начинает падать в моих глазах, падать все ниже и ниже...

 Меня охватывает благожелательное сострадание. Вместе с несколькими

другими снисходительными свидетелями его позора я подхожу к нему и говорю:

"Примите мои поздравления, господин лейтенант! У вас премилое дарованье!

Право же, это было прелестно!" Еще мгновенье, и я кажется, похлопаю его по

плечу. Но разве сострадание - то чувство, которое должен вызывать юный

лейтенант?.. Впрочем, сам виноват.

 Пускай теперь стоит как в воду опущенный и кается в том, что полагал,

будто с лаврового деревца искусства можно сорвать хоть единый листок, не

заплатив за него жизнью. Нет, уж я предпочитаю другого своего коллегу -

банкира-уголовника. А кстати, Лизавета, вам не кажется, что я сегодня

одержим гамлетовской.словоохотливостью?

 - Вы кончили, Токио Крёгер?

 - Нет, но больше я ничего не скажу.

 - Да и хватит с вас. Угодно вам выслушать мой ответ?

 - А у вас есть что ответить?

 - Пожалуй: Я внимательно слушала вас, Тонио, от начала до конца, и мой

ответ будет относиться ко всему, что вы сегодня сказали, и кстати явится

разрешением проблемы, которая вас так беспокоит. А разрешение это состоит

в том, что вы, вот такой, какой вы сидите здесь передо мною,

обыкновеннейший бюргер.

 - Неужто? - удивился он и весь как-то сник...

 - Вас это, видимо, больно задело, да и не могло не задеть. А потому я

слегка смягчу свой приговор, на это я имею право. Вы бюргер на ложном

пути, Тонио Крёгер! Заблудший бюргер...

 Молчание. Он решительно поднялся, взял шляпу и трость.

 - Спасибо, Лизавета Ивановна. Теперь я могу спокойно отправиться домой.

Вы меня доконали.

 Ближе к осени Тонио Крёгер сказал Лизавете Ивановне:

 - Я решил уехать, Лизавета: мне нужно проветриться, пожить в чужих

краях.

 - Вы что ж, батюшка, опять в Италию собрались?

 - Ах, оставьте меня с вашей Италией, Лизавета! Она мне опостылела...

Прошли времена, когда я воображал, что жить без нее не могу. Страна

искусства - т.ак ведь? Бархатная голубизна небес, вино, горячащее кровь, и

сладостная чувственность... Все это не по мне. Даже думать об Италии не

хочу. Вся эта bellezza [Красота (ит.)] действует мне на нервы. Вдобавок я

не переношу волооких живчиков-южан. У этих римлян нет совести в глазах...

Я хочу немножко пожить в Дании.

 - В Дании?

 - Да. И думаю, что это будет для меня не бесполезно... Я почему-то ни

разу туда не добирался, хотя всю юность прожил у самой датской границы;

тем не менее я всегда знал и любил эту страну. Такие северные симпатии у

меня, наверное, от отца, потому что моя мать, конечно, любила bellezza в

той мере, в какой она вообще могла что-нибудь любить. Вспомните, Лизавета,

хотя бы, какие там, на севере, пишут книги глубокие, чистые, полные юмора.

Я от них без ума. А скандинавский стол? Эти ни с чем не сравнимые кушанья,

которые переносятся только в насквозь просоленном воздухе (впрочем, я не

уверен, что способен теперь перенести их), я их немного знаю еще по

юношеским воспоминаниям, потому что в наших краях едят точно так же. Или

возьмите имена и фамилии тамошних жителей - у меня на родине они тоже

частенько встречаются. Ингеборг, например, - ведь это как звук арфы,

чистейшая поэзия! А море! У них там Балтийское море!.. Короче говоря, я

еду туда, Лизавета. Хочу опять видеть Балтийское море, слышать эти имена,

читать эти книги в тех местах, где они возникли; и еще хочу постоять на

террасе Кронборга, где дух отца явился Гамлету и обрек на страдания и

смерть злополучного благородного юношу...

 - Разрешите спросить, Тонио, как вы поедете? Какой вы себе наметили

маршрут?

 - Обычный, - отвечал он, пожимая плечами, но при этом покраснел. - Я

думаю проехать через... мою исходную точку, Лизавета; после тринадцати лет

это, пожалуй, будет забавно.

 Она улыбнулась.

 - Вот то, что я хотела услышать, Тонио Крёгер. Поезжайте, с богом.

 Не забудьте только написать мне, идет? Я надеюсь получить письмо,

полное впечатлений от вашей поездки... в Данию.

 И Тонио Крёгер уехал на север. Путешествовал он с комфортом (ибо

нередко говорил, что люди, которым внутренне приходится намного трудней,

чем другим, имеют право на известные внешние удобства), нигде не

останавливаясь, покуда в сером воздухе не обрисовались перед ним башни

тесного города, из которого он некогда пустился в странствие.

 Там он ненадолго остановился. Странные это были дни.

 Уже вечерело, когда поезд подошел к узкому дебаркадеру прокопченного,

до странности знакомого вокзала, под грязной стеклянной крышей

скапливались клубы дыма и длинными лохмотьями колыхались из стороны в

сторону, как в ту пору, когда Тонио Крёгер с одной лишь насмешкой в сердце

уезжал отсюда. Он получил свой багаж, велел свезти его в гостиницу и вышел

из здания вокзала.

 А вот и вереница местных пароконных извозчиков: черные, несоразмерно

высокие пролетки с широким сиденьем. Он не воспользовался их услугами,

только посмотрел на них, как смотрел на все: на узкие фронтоны и

островерхие башни, казалось приветливо кивавшие ему из-за соседних крыш,

на белокурых, неповоротливых людей, говорящих протяжно, но быстро, и

нервный смех, чем-то напоминавший всхлипыванье, овладел им. Он медленно

пошел пешком, - сырой ветер непрерывно и тяжко дул ему в лицо, - через

мост, вдоль перил которого стояли мифологические статуи, и дальше вдоль

гавани.

 Бог ты мой, до чего же все здесь криво и тесно! Неужто эти узкие улички

всегда так круто поднимались в гору? Трубы и мачты судов тихонько

покачивались в ветреной мгле над унылой рекою. Пойти вверх по той вон

улице, где стоит дом, о котором он думает? Нет, завтра. Ему так хочется

спать: голова его отяжелела от долгой езды, смутные мысли медленно

шевелятся в ней.

 В течение этих тринадцати лет, когда у него бывал не в порядке желудок,

ему случалось видеть во сне, что он опять в родном городе, в старом гулком

доме, на крутой улице, отец его жив и строго выговаривает ему за беспечный

образ жизни, а он, Тонио, считает это в порядке вещей. Окружавшая его

теперь действительность ничем не отличалась, от той одуряющей, липкой

паутины снов, когда спрашиваешь себя, что это - обман или явь, поневоле

решаешь: конечно, явь - и... просыпаешься. Он шел как лунатик, по

малолюдным улицам, наклоняя голову, чтобы защитить лицо от сквозного

ветра, прямо к лучшей гостинице, где намеревался переночевать. Кривоногий

человек с длинным шестом, на конце которого теплился огонек, враскачку,

по-матросски, шагал перед ним, зажигая газовые фонари. Что творилось в

душе Тонио Крёгера? Что там тлело под пеплом усталости, болезненно и

сумрачно, не смея разгореться пламенем? Тише, тише, не надо слов! Слов не

надо! Он бы хотел еще долго идти на ветру по сумрачным, сонно-знакомым

улицам. Но все здесь так тесно, так скученно.

 До любой цели - рукой подать.

 В верхнем городе фонари были дуговые; они как раз вспыхнули. А вот и

подъезд гостиницы с двумя черными львами, которых он в детстве боялся.

Львы все еще смотрят друг на друга с таким видом, словно собираются

чихнуть, - только ростом они стали поменьше. Тонио Крёгер прошел между

ними.

 Он пришел пешком и потому был принят без особого почета. Портье и

весьма элегантный господин в черном костюме, то и дело мизинцем

заталкивавший в рукава манжеты, обязанностью которого было встречать новых

постояльцев, смерил его с головы до пят испытующим взглядом, явно -

стремясь установить его общественное положение и определить место

занимаемое им на иерархической лестнице, чтобы соответственно воздать

гостю большую или меньшую дань уважения. Не придя, видимо, к достаточно

успокоительным выводам, он заговорил с ним умеренно вежливо.

 Кельнер, тихий мужчина с узкими белокурыми баками, в залоснившемся от

долгой носки фраке и с бантами на мягких туфлях, повел его на второй этаж,

в опрятный номер со старомодной мебелью, где из окна открывался живописный

средневековый вид на дворы, фронтоны и причудливое здание церкви напротив

гостиницы. Тонио Крёгер постоял у окна, затем, скрестив руки, сел на

широкий диван, нахмурил брови и стал тихонько что-то насвистывать.

 В номер внесли лампу и багаж. Тихий кельнер положил на стол

регистрационный бланк гостиницы, и Тонио Крёгер, склоняв голову набок,

нацарапал на нем какие-то каракули; на худой конец, они могли сойти за

"имя, род занятий и откуда приехал". Покончив с этим, он заказал легкий

ужин и, забившись в угол дивана, опять уставился в пустоту. Когда подали

ужин, он еще долго не прикасался к нему; наконец поковырял вилкой какое-то

блюдо и с добрый час проходил взад и вперед по комнате, временами

останавливаясь и закрывая глаза. Затем медленно разделся и лег в постель.

Спал он долго, и ему снились путаные, удивительно тоскливые сны.

 Проснувшись, он увидел залитую дневным светом комнату, торопливо

припомнил, где находится, и вскочил, чтобы открыть шторы. Синий небосвод,

чуть-чуть поблекший, - лето уже клонилось к осени, - был испещрен

тоненькими, прозрачными, разлохмаченными ветром клочками облаков, но

солнце ярко светило над его родным городом.

 Он заботливее, чем когда-либо, занялся своим туалетом, тщательно

умылся, выбрился, придал себе такой свежий и опрятный вид, словно

собирался отправиться с визитом в благоприличный дом, где необходимо

произвести во всех отношениях безукоризненное впечатление; одеваясь, он

прислушивался к боязливому биению своего сердца.

 До чего же светло! Лучше бы улицы, как вчера, были окутаны мглой;

теперь ему придется в ярком солнечном свете проходить под взглядами

местных жителей.. Может ли быть, что он натолкнется на знакомых, которые

остановят его, начнут расспрашивать о том, как и где он провел эти

тринадцать лет? Нет, слава богу, никто его здесь больше-не помнит, а если

и помнит, то не узнает, право же, он немало изменился за эти годы. Он

внимательно поглядел на себя в зеркало и вдруг успокоился: под этой маской

его невозможно узнать, у него не по возрасту изможденное, преждевременно

состарившееся лицо... Он позавтракал у себя в номере, спустился вниз,

провожаемый критическими взглядами портье и элегантного господина в

черном, прошел между двух львов и удалился.

 Куда он шел? Вряд ли он сам это знал. Все было как вчера. Едва он вновь

очутился среди этой удивительно величавой, спокон веку знакомой тесноты

фронтонов, башенок, аркад и колодцев, едва почувствовал напор Ветра,

сильного ветра, несшего ему навстречу нежный и пряный запах полузабытых

снов, как все его чувства обволокло пеленой, туманной дымкой... Мускулы

его лица ослабли, умиротворенным взором смотрел он на людей и предметы.

Может быть, на том вон углу он все-таки проснется.

 Куда он шел? Ему казалось, что направление, им избранное, находится в

какой-то связи с печальными и покаянными сновидениями этой ночи.

 Через аркады ратуши он шел на Рыночнуктлощадь, где мясники

окровавленными руками отвешивали свой товар, туда, где стоял высокий

колодец в готическом стиле. На площади он остановился перед одним из

домов, невзрачным и похожим на все соседние, только что с высоким резным

фронтоном, и углубился в созерцание. Он прочитал имя на дверной дощечке,

поглядел сначала на одно окно, перевел взгляд на другое, третье...

 Затем неторопливо повернулся и пошел.

 Куда он шел? К родному дому. Но он сделал крюк и прогулялся за

городские ворота, времени у него было предостаточно. Он шел по Мельничному

и Голштинскому валам, руками придерживая шляпу от ветра, что шелестел и

трещал в сучьях деревьев. Неподалеку от вокзальной площади он спустился

вниз, поглядел на поезд, прогромыхавший мимо с неуклюжей торопливостью, от

нечего делать пересчитал вагоны и посмотрел на человека, сидевшего на

площадке последнего. Но на Линденплаце он остановился перед нарядной

виллой, загляделся на сад, потом долго всматривался в окна и в конце

концов даже стал раскачивать взад и вперед калитку, так что петли ее

завизжали. Затем он некоторое время смотрел на свою руку, похолодевшую, со

следами свежей ржавчины, и двинулся дальше; он прошел через старые

приземистые ворота, прогулялся вдоль гавани и по крутой ветреной улице

стал подниматься к родительскому дому.

 Дом этот стоял, зажатый соседними, более высокими домами, серый и

угрюмый, как триста лет назад; Тонио Крёгер прочитал полустершееся

благочестивое реченье над входом, вздохнул и вошел в сени.

 Сердце его боязливо стучало, он как будто ждал, что вот сейчас из

дверей конторы выйдет отец, в рабочем костюме, с пером за ухом, и начнет

распекать его за безалаберную жизнь и он, Тонио, сочтет это в порядке

вещей. Но он прошел, и никто его не остановил. Дверь тамбура была не

заперта, а только притворена, он невольно отметил это как непорядок, хотя

чувствовал себя, точно в приятном сне, когда препятствия рушатся сами

собой и ты, ведомый на редкость счастливой звездою, невозбранно

устремляешься вперед... В обширных сенях, выстланных большими

четырехугольными каменными плитами, гулко отдавались его шаги. Напротив

кухни, откуда не доносилось ни единого звука, на довольно большой высоте,

как и встарь, тянулись какие-то странные, нескладные, но тщательно

покрашенные галерейки - помещения для прислуги, попасть туда можно было

только по крутой наружной лесенке. Но больших шкафов и резного ларя, что

тогда стояли здесь, больше не было,.. Сын прежнего хозяина стал

подниматься по широкой лестнице, опираясь рукой О-белые полированные

перила; он то отнимал руку, то, поднявшись на несколько ступенек, снова

опускал ее, словно пытаясь восстановить былую,короткость с этими старыми,

надежными перилами... На площадке, перед входом в антресоли, он

остановился. К дверям- была прибита белая дощечка, и на ней черными

буквами стояло: "Народная библиотека".

 "Народная библиотека?" Тонио Крёгеру подумалось, что это не место ни

для литературы, ни для народа. Он постучался...

 - Войдите, - ответили из-за двери; он поспешил воспользоваться

разрешением ивошел, напряженно и мрачно вглядываясь в происшедшие здесь

неподобающие перемены.

 В глубь антресолей шли три комнаты, двери, соединявшие их, были открыты

настежь. Книги в одинаковых переплетах стояли на полках почти во всю

вышину стен. В каждой комнате за,каким-то сооружением, напоминающим

прилавок, сидел худосочный мужчина и что-то писал. Двое из них едва

повернули головы в сторону Тонио Крёгера, третий же вскочил, оперся руками

о стоя; вытянул шею, сложил губы трубочкой, поднял брови, поморгал глазами

и уставился на посетителя.

 - Прошу прощения, - сказал Тонио Крёгер, не сводя глаз со всех этих

книг. - Я приезжий и осматриваю город. Так это, значит, здешняя народная

библиотека? Не разрешите ли мне ознакомиться с подбором книг?

 - Милости просим, - отвечал чиновник и еще быстрее заморгал глазами, -

это каждому дозволено. Пожалуйста... может быть, вам угодно

воспользоваться каталогом?

 - Благодарю вас, - отвечал Тонио Крёгер. - Я и так разберусь. - И

медленно пошел вдоль стен, притворяясь, будто изучает названия на

корешках. В конце концов он все же вынул одну книгу, раскрыл ее и встал с

нею у окна.

 В этой комнате была малая столовая. По утрам они всегда завтракали

здесь, а не наверху, в большой столовой, где с голубых шпалер, казалось,

выступали белые статуи богов... А следующая служила спальней. Мать его

отца, жизнелюбивая светская-дама, умерла в ней, после того как, несмотря

на свой преклонный возраст, долго и упорно боролась со смертью.-Позднее и

его отец испустил там свой последний вздох, высокий, элегантный, немного

меланхоличный и задумчивый господин с полевым цветком в петлице... Тонио

сидел в ногах его смертного одра, с покрасневшими глазами, честно

отдавшись молчаливому сильному чувству любви и горести. Мать, его

красивая, пылкая мать, стояла на коленях, исходя горючими слезами; вскоре

она уехала в голубые дали с музыкантом-южанином... А та последняя, третья

и самая маленькая комната, тоже битком набитая книгами, которые охранял

худосочный мyжчинa, в течение долгих лет была его комнатой. В нее он

возвращался из школы после такой же вот прогулки, как сегодня; у той стены

стоял стол, в ящик которого он складывал свои первые простодушные,

беспомощные вирши. Старый орешник... Колючая грусть пронизала его. Он

бросил взгляд в окно. В саду было пустынно, но старый орешник стоял на

своем месте, тяжко поскрипывая и шелестя на ветру. И Тонио Крёгер опустил

глаза на книгу, которую держал в руках, - выдающееся и хорошо ему

известное литературное произведение. Он смотрел на черные строчки и

абзацы, некоторое время следил за искусным течением рассказа, за тем, как

он, все более насыщаясь страстью, поднимался до кульминационной точки и

потом эффектно шел на спад...

 - Да, это хорошо сделано, - сказал он, поставил книгу на место и

оборотился. Он увидел, что библиотекарь все еще стоит, моргает и смотрит

на него со смешанным выражением услужливости и задумчивого недоверия.

 - Превосходный подбор, - заметил Тонио Крёгер. - Общее представление у

меня уже составилось. Весьма вам обязан. Всего наилучшего. - И он

направился к двери. Это был странный уход, и он ясно чувствовал, что

обеспокоенный библиотекарь еще долго простоит, удивленно моргая глазами.

Дальше идти ему не хотелось. Он побывал дома. Наверху, в больших комнатах

за колонной залой, жили чужие люди; он это понял, потому что лестница

здесь была перегорожена стеклянной дверью, которой раньше не было; на

двери висела дощечка с каким-то именем. Он повернул назад, спустился вниз,

прошел по гулким сеням и покинул родительский дом.

 Погруженный в свои мысли, он забился в уголок какого-то ресторана, съел

тяжелый жирный обед и вернулся в гостиницу.

 - Я покончил с делами, - объявил он изящному господину в черном, и

сегодня вечером уезжаю. - Он велел подать счет, заказал экипаж, чтобы

ехать в гавань, где стоял пароход, отправлявшийся в Копенгаген, поднялся к

себе в номер и сел за стол. Он долго сидел без движения, подперев рукой

щеку, и невидящим взглядом смотрел перед собою. Немного позднее он

расплатился по счету и упаковал вещи. Точно в назначенное время ему

доложили, что экипаж подан, и Тонио Крёгер, уже совсем готовый к отъезду,

спустился вниз.

 В вестибюле у лестницы его дожидался изящный господин в черном.

 - Прошу прощения, - сказал господин и мизинцем затолкнул манжету в

рукав. - Извините, сударь, но мы вынуждены отнять у вас еще минутку

времени. Господин Зеехазе, хозяин гостиницы, покорнейше просит вас на два

слова. Пустая формальность. Он дожидается вас вон в той комнате... Не

будете ли вы так добры пройти со мною... Господин Зеехазе, хозяин

гостиницы, там совершенно один.

 И, жестами приглашая Тонио Крёгера следовать за ним, он повел его в

глубь вестибюля. Там и вправду стоял господин Зеехазе. Тонио Крёгер с

детства помнил его. Это был жирный кривоногий человек. Его аккуратно

подстриженные бакенбарды успели поседеть, хотя он по-прежнему носил очень

открытый смокинг и зеленую бархатную ермолку. Но он был там не один. Возле

него у конторки стоял полицейский в шлеме, его рука в перчатке покоилась

на густо исписанном клочке бумаги, а на честном солдатском лице явно

выражалось удивление; он ждал, что при виде его Тонио Крёгер тут же

провалится сквозь землю.

 - Вы прибыли из Мюнхена? - осведомился наконец полицейский густым и

добродушным басом.

 Тонио Крёгер этого не отрицал.

 - И едете в Копенгаген?

 - Да, я еду на датский приморский курорт.

 - Курорт?.. А ну, предъявите-ка ваши документы, - сказал полицейский;

последнее слово он выговорил, казалось, с особенным удовлетворением.

 - Документы... - Документов у Тонио не было. Он вытащил из кармана

бумажник и заглянул в него: кроме нескольких кредитных билетов, там лежала

еще только корректура рассказа, которую он собирался просмотреть, приехав

на место. Тонио не любил иметь дело с чиновниками и так и не удосужился

выправить себе паспорт.

 - Весьма сожалею, - сказал он, - но никаких бумаг у меня при себе нет.

 - Ах, вот оно что! - заметил полицейский, - Так-таки никаких?

 Ваша фамилия?

 Тонио Крёгер назвал себя.

 - И это правда?! - Полицейский приосанился и вдруг широко раздул ноздри.

 - Чистая правда, - отвечал Тонио Крёгер.

 - Кто же вы есть?

 Тонио Крёгер проглотил слюну и твердым голосом назвал свою профессию.

Господин Зеехазе поднял голову и с любопытством посмотрел ему в лицо.

 - Гм! - буркнул полицейский. - И вы утверждаете, что вы не некий тип,

по имени... - сказав "тип", он по складам прочитал написанное на

исчерканной бумажке мудреное романское имя, как бы составленное из

разноязычных звуков и немедленно выскользнувшее из памяти Тонио, -

...который, - продолжал он, - будучи сыном неизвестных родителей и не имея

постоянного местожительства, преследуется мюнхенской полицией за ряд

мошеннических проделок и прочих противозаконных действий и, по имеющимся у

нас сведениям, намерен бежать в Данию.

 - Я не только утверждаю это, а так оно и есть, - сказал Тонио Крёгер и

нервно передернул плечами, что произвело некоторое впечатление.

 - Как вы сказали? Ага, ну понятно, - сказал полицейский. - Но как же

это вы так, без документов?

 Тут умиротворяюще вмешался господин Зеехазе.

 - Все это только формальность, и ничего больше, - сказал он. - Примите

во внимание, сударь, что он выполняет свой долг. Если бы вы могли

предъявить xoть что-нибудь, удостоверяющее вашу личность...

 любой документ...

 Все молчали. Не положить ли конец этой истории, назвав себя? Не открыть

ли наконец господину Зеехазе, что он, Тонио, не авантюрист без

определенного местожительства, не цыган из табора, но сын консула Крёгера,

отпрыск именитого рода Крёгеров? Нет, этого ему не хотелось.

 С.другой стороны, эти люди, стоящие на страже законопорядка, не так уж

не правы. В какой-то степени он одобрял их... Тонио Крёгер пожал плечами и

не проговорил ни слова.

 - Что это у вас там в бумажнике? - заинтересовался полицейский.

 - В бумажнике? Ничего. Это корректура, - отвечал Тонио Крёгер.

 - Корректура? А ну, давайте ее сюда.

 И Тонио Крёгер вручил ему свой труд. Полицейский положил листы на

конторку и стал читать. Господин Зеехазе разделил с ним это удовольствие.

 Тонио Крёгер посмотрел, какое место они читают. Место было как раз

удачное, чрезвычайно тонкий ход и великолепно отработанный эффект. Он

остался доволен собой.

 - Вот смотрите, - сказал он, - тут стоит мое имя. Я написал эту вещь, а

теперь она будет опубликована, понятно?

 - Этого достаточно, - решил господин Зеехазе, собрал листы, сложил их и

отдал автору.-т- Хватит с вас, Петерсен, - внушительно повторил он

таинственно прищурившись, и покачал головой, как бы кивая отъезжающему. -

Нельзя дольше, задерживать этого господина. Экипаж ждет.

 Покорнейше прошу извинить за беспокойство. Петерсен только выполнял

свой долг, хотя я сразу же сказал, что он пустился по ложному следу.

 "Врешь, голубчик", - подумал Тонио Крёгер.

 Полицейский был, видимо, не совсем удовлетворен таким решением, он еще

пробурчал что-то о "некоем типе" и "предъявлении документов". Но господин

Зеехазе, продолжая рассыпаться в извинениях, уже вел своего постояльца

мимо львов к экипажу, чтобы с почтительным видом собственноручно подсадить

его. И до смешного высокая извозчичья пролетка с широким сидением,

подскакивая и звеня, загромыхала по наклонным улицам вниз к гаЁани...

 Так странно закончилось пребывание Тонио Крегера в родном городе.

 Настала ночь, и в серебряном влажном сиянии поднялась луна, когда

пароход, на котором плыл Тонио Крёгер, вышел в открытое море. Он стоял у

бушприта, зябко кутаясь в пальто от все крепчавшего ветра, и смотрел в

темноту, где мельтешились грузные, гладкотелые валы, которые то тупо

терлись друг о друга, то с грохотом сталкивались, неожиданно кидались

врассыпную и вдруг вспыхивали пеной...

 Успокоенное и радостно-тихое настроение овладело им. Он был все же

несколько озадачен тем, что в родном городе его собирались арестовать как

авантюриста, хотя, с другой стороны, и считал это в порядке вещей. Но

потом, уже стоя на палубе, он снова начал, как в детстве, когда бывал с

отцом в гавани, следить за погрузкой клади в бездонную утробу парохода,

сопровождавшейся громкими возгласами на каком-то смешанном

датсконижненемецком наречии; он видел, как в трюм вслед за тюками и

ящиками спустили железные клетки с белым медведем и королевским тигром,

видимо, переправляемыми из Гамбурга в один из датских зверинцев, и это

развлекло его. Покуда пароход скользил меж плоских берегов вниз по реке,

он успел начисто забыть допрос полицейского Петерсена, и в душе его с

прежней силой ожило все, что было до этого: сладостные, печальные и

покаянные сновидения, прогулка, которую он совершил, старый орешник. А

теперь, когда перед ним открылось море, он смотрел на далекий берег; на

этой вот песчаной полосе ему дано было, еще ребенком, подслушать летние

грезы моря; вот яркий свет маяка и огни кургауза, где он жил когда-то,с

отцом и матерью...

 Балтийское море! Он подставлял голову соленому ветру, тому, что

налетает безудержно-вольно, наполняет гулом уши, кружит голову и

обволакивает человека таким дурманом, такой ленивой истомой, что в памяти

гаснет все зло, все муки и блужданья, все мечты и усилия. Ему казалось,

что в свисте ветра, в рокоте, плеске, кипенье пены слышится шелест и

потрескиванье старого орешника, скриц садовой калитки... Ночь становилась

все темней и темней.

 - Звезды-то, господи! Вы только посмотрите, что за звезды! - внезапно,

как из бочки, проговорил чей-то тягучий голос, Тонио Крёгер узнал его.

Этот голос принадлежал рыжему, простовато одетому человеку с красными

веками, имевшему такой промокший и озябший вид, словно его только что

вытащили из воды. За ужином в кают-компании он был соседом Тонио Крегера и

робкими, нерешительными движениями накладывал себе на тарелку

умопомрачительные порции омлета с омарами. Сейчас он стоял рядом с ним,

облокотись на фальшборт, и смотрел в небо, защемив подбородок большим и

указательным пальцами. Он, без сомнения, пребывал в том необыкновенном и

торжественно-созерцательном настроении, когда рушатся перегородки между

людьми, сердце открывается первому встречному и с губ слетают слова,

которые в другое время стыдливо замерли бы на них...

 - Вы только посмотрите, сударь, что за звезды! Все небо усыпали и знай

себе сверкают, ей-богу! Вот как посмотришь да подумаешь, что многие из них

раз в сто больше нашей земли, то на душе, ей-богу, такое творится... Мы,

люди, придумали телеграф и телефон и еще кучу всяких современных новинок,

- что правда, то правда. А как посмотришь на звезды, сразу понимаешь, что,

в сущности, мы только черви, жалкие черви, и ничего больше. Согласны вы со

мной, сударь? Да, да, черви, - ответил он сам себе, смиренно и сокрушенно

глядя на небосвод.

 "Да, уж у этого литература не засела занозой в сердце", - подумал Тонио

Крёгер. Ему вдруг вспомнилась недавно прочитанная статья знаменитого

французского писателя о космологическом и психологическом мировоззрении -

поистине изысканная болтовня.

 Он что-то сказал молодому человеку в ответ на его прочувствованное

замечание, и они разговорились, стоя у фальшборта и вглядываясь в тревожно

освещенный, подвижный сумрак. Попутчик Тонио Крёгера оказался коммерсантом

из Гамбурга; он реши л-воспользоваться отпуском для увеселительной

поездки...

 - Мне подумалось, хорошо бы разок прокатиться на пароходе в Копенгаген,

и вот я уж стою здесь и не налюбуюсь на эту благодать. Омлет только,

конечно, не следовало есть, потому что ночь будет бурная, это сам капитан

сказал, а с этакой тяжестью в желудке нам круто придется.

 Тонио Крёгер, втайне умиляясь, выслушивал весь этот благодушный вздор.

 - Да, - заметил он, - здесь, на севере, пища вообще слишком тяжелая. От

нее становишься грустным и неповоротливым.

 - Грустным? - переспросил молодой человек и в недоумении уставился на

него. - Вы, верно, не из здешних краев, сударь? - внезапно осведомился он.

 - Да, я приехал издалека, - отвечал Тонио Крёгер и сделал

неопределенное движение рукой, словно отмахиваясь от чего-то.

 - А впрочем, вы правы! - воскликнул молодой человек. - Ей-богу, правы,

говоря про грусть! Я сам почти всегда грущу, особенно в такие вот вечера,

когда звезды высыпают на небо. - И он опять защемил подбородок большим и

указательным пальцами.

 "Не иначе как пишет стихи, - подумал Тонио Крёгер, - глубоко

прочувствованные, купеческие стихи..."

 Надвигалась ночь, и ветер так усилился, что разговаривать стало

невозможно. Они решили немного соснуть и пожелали друг другу спокойной

ночи.

 Тонио Крёгер вытянулся на узкой койке, ему не спалось. Жестокий ветер и

терпкий запах моря странно взбудоражили его, заставили тревожное сердце

биться в боязливом ожидании каких-то радостей. Вдобавок качка, особенно

ощутимая, когда пароход соскальзывал с отвесной водяной горы и винт

судорожно, вхолостую работал в воздухе, вызывала у него мучительную

тошноту. Он снова оделся и пошел наверх, на палубу.

 Тучи стремглав проносились мимо месяца. Море плясало. Волны уже не

катились друг за дружкой, округлые и равномерные; в бледном мерцающем

свете луны море, насколько хватал глаз, было разодрано, исхлестано,

изрыто; оно, как пламя, выбрасывало гигантские языки, которые лизали борт

парохода; вдруг вздымало над зияющими пенными пропастями фантастические

зубчатые тени; казалось, его руки, увлекшись безумной игрой, швыряют

высоко в воздух кипящее месиво. Пароходу приходилось трудно:

 шлепая, переваливаясь, пыхтя, пробирался он сквозь этот ералаш, и из

его утробы порой доносились рыканье титра и рев белого медведя, жестоко

страдавших от качки. Человек в клеенчатом плаще с капюшоном и фонарем,

прицепленным к поясу, широко расставляя ноги и все-таки с трудом удерживая

равновесие, шагал взад и вперед по палубе. Немного поодаль, низко

перегнувшись через борт, стоял молодой человек из Гамбурга; ему было плохо.

 - Боже мой, - сказал он глухим прерывающимся голосом, заметив Тонио

Крёгера, - что ж это за восстание стихий, сударь! - но тут же вынужден был

прервать свою речь и торопливо отвернуться к борту.

 Тонио Крёгер, вцепившись в натянутый канат, смотрел на этот неистовый

разгул. В его душе поднималось ликованье, достаточно мощное, как ему

казалось, чтобы пересилить и ветер и бурю. Песнь, обращенная к морю,

окрыленная любовью, звучала в нем:

 Друг давней юности, прибой, Я снова встретился с тобой!

 На этом стихотворение иссякло. Оно не было закончено, не обрело формы,

не сложилось в нечто целое. Сердце Тонио Крёгера ожило...

 Он долго стоял так; затем растянулся на скамье возле рубки и стал

смотреть на небо и... мерцающие звезды. Он даже вздремнул ненадолго.

 И когда холодная пена брызгала ему в лицо, он в полусне принимал это за

ласку.

 Круто вздымающиеся меловые утесы, призрачные в лунном свете, возникли

откуда-то и быстро приближались: остров Мэн. И опять нашла дремота,

прерываемая каскадами колючих соленых брызг, от которых деревенела кожа...

Когда он совсем проснулся, был уже день, прохладный серый день, и зеленое

море угомонилось. За завтраком он снова встретил молодого коммерсанта, и

тот весь зарделся, стыдясь, должно быть, тех поэтических и вздорных

разговоров, которые вел ночью; всей пятерней задрал он кверху свои

рыжеватые усики, громко, по-солдатски, пожелал доброго утра своему

вчерашнему собеседнику, но в дальнейшем пугливо его избегал.

 И Тонио Крёгер прибыл в Данию. Он остановился в Копенгагене, раздавал

чаевые всем, кто хоть сколько-нибудь на них претендовал, три дня пробродил

по городу, не выпуская из рук путеводителя, - словом, вел себя в точности

как зажиточный иностранец, желающий приумножить свои знания чужих краев.

Он осмотрел новую Королевскую площадь с "конем", стоящим посредине,

задирая голову, почтительно взирал на колонны Фрауенкирхе, долго стоял

перед изящными и благородными скульптурами Торвальдсена, влезал на Круглую

башню, осматривал замки и провел два беспечных вечера в Тиволи. Но за всем

этим видел другое.

 На домах с высокими сквозными фронтонами - некоторые из них были как

две капли воды похожи на дома его родного города - он читал имена,

знакомые ему с давних пор; казалось, они обозначают что-то нежное, дорогое

сердцу и в то же время таят в себе какой-то упрек, жалобу, тоску по

минувшим дням. И куда бы он ни шел, медленно, задумчиво, втягивая в себя

влажный морской воздух, повсюду он видел глаза, такие же голубые, волосы,

такие же белокурые, лица такого же склада и с такими же чертами, как те,

что виделись ему в странных, горестных и покаянных снах в ту ночь, в

родном городе. Случалось, что на улице средь бела дня чей-то взгляд,

громкое слово или смех трогали его до глубины души...

 Долго он в этом жизнерадостном городе не выдержал. Его прогнало оттуда

какое-то беспокойство, сладостное и глупое, воспоминания или, скорей,

ожиданье и еще охота спокойно полежать где-нибудь на взморье, а не

разыгрывать из себя любознательного туриста. И вот он снова очутился на

пароходе и в пасмурный день (море было совсем черное) поплыл вдоль берега

Зеландии, в Хельсингёр. Там он перевел в экипаж, проехал еще три четверти

часа по прибрежному шоссе и остановился наконец у цели своего путешествия.

Это была маленькая приморская гостиница, вся белая, с зелеными ставнями,

расположенная в центре селенья, застроенного одноэтажными домишками; ее

крытая дранкой башня глядела на Зунд и на шведский берег. Здесь он сошел,

занял светлый номер, заранее для него приготовленный, переложил вещи из

чемодана в комод и шкаф и на время обосновался в этих краях.

 Стоял уже сентябрь, и в Аальсгаарде приезжих было немного. За

табльдотом в большой столовой, с окнами на застекленную веранду и

деревянными балками йод потолком, председательствовала хозяйка, старая

дева, седоволосая, с белесыми глазами и нежно-розовым цветом лица; она

неумолчно болтала щебечущим голоском и все старалась, чтобы ее красные

руки поизящнее выглядели на скатерти. Один из постояльцев, пожилой

господин с короткой шеей, седой шкиперской бородкой и сизым лицом,

рыботорговец из столицы, умел говорить по-немецки. Он был явно склонен к

апоплексии а казался закупоренным: дышал тяжело, прерывисто и время от

времени подносил украшенный перстнем указательный палец к носу"

 чтобы, зажав одну ноздрю, с шумом втянуть другой хоть немного воздуха.

 Впрочем, это не мешало ему изрядно выпивать, и бутылка с водкой

неизменно высилась перед его прибором за завтраком, обедом и ужином.

 Кроме него, здесь жили еще только три американских юнца то ли с

гувернером, то ли с домашним учителем, который молча поправлял очки и с

утра до вечера играл с ними в футбол. У юнцов были рыжие волосы,

причесанные на прямой пробор, и длинные неподвижные лица. "Please, give me

the колбаса, there" [Дайте мне, пожалуйста... (англ.)], - говорил один.

"That's not колбаса; that's ветчина" [Это не... это... (англ.)], - отвечал

другой. Этим ограничивалось участие молодых американцев и их учителя в

застольной беседе; все остальное время они сидели молча и пили только

кипяток.

 Тонио Крёгер и не желал себе лучших сотрапезников. Он наслаждался

покоем, прислушивался к гортанным звукам датской речи, к глухим и звонким

гласным в словах, которыми обменивались рыботорговец и хозяйг ка, время от

времени отпускал какое-нибудь замечание о показаниях барометра и тут же

вставал, проходил через террасу и опять спускался вниз, к морю, где уже

провел все утро.

 Временами здесь бывало тихо и тепло, как летом. Море покоилось ленивое,

недвижное, все в синих, темно-зеленых и рыжих полосах, по которым

пробегали серебристые сверкающие блики; в такие дни водоросли на солнце

становились сухими, как сено, а медузы испарялись и таяли.

 Воздух слегка отдавал гнилостью и смолой рыбачьей лодки, к которой

прислонялся Трнио Крёгер, сидевший на песке так, чтобы видеть не шведский

берег, а открытый горизонт; но надо всем веяло легкое, чистое и свежее

дыханье моря.

 А потом наступали серые штормовые дни. Валы склоняли головы, как быки,

изготовившиеся к нападенью, в ярости устремлялись на берег, заливали чутБ

ли не всю песчаную полосу и, откатываясь, оставляли на ней влажные

блестящие водоросли, ракушки и щепки. Между длинными грядами водяных

холмов, под серым небом простирались светло-зеленые пенные долины, но там,

где сквозь тучи пробивалось солнце, на воду ложился бархатисто-белый

глянец.

 Тонио Крёгер стоял на ветру под брызгами, погруженный в извечный

тяжкий, одуряющий рокот, который он так любил. Стоило ему повернуться и

пойти прочь, как вокруг внезапно становилось тепло и тихо. Но он знал, что

за спиной у него море; море звало его, манило, радушно его приветствовало.

И он улыбался.

 Бродил он и среди лугов, по одиноким тропинкам, и буковый лес,

уходивший в холмистые дали, принимал его иод свою сень. Он садился на

мтаистую землю, спиной прислоняясь к дереву, но всегда так, чтобы меж

стволов виднелась полоска моря. Временами ветер доносил до него шум

прибоя, похожий на стук сваливаемых в кучу досок или на карканье ворон над

деревьями, хриплое, сердитое, тоскливое... Он держал на коленях книгу, в

которой не прочитал и строчки. Упиваясь забвением, он свободно парил над

временем и пространством. И лишь изредка какая-то боль пронизывала его

сердце - короткое, колючее чувство тоски или раскаяния; в ленивой своей

истоме он и не пытался дознаться, откуда оно взялось и что означает.

 Так проходили дни. Сколько их прошло, он не мог бы сказать и не пытался

установить. Но затем случилось нечто из ряда вон выходящее, - случилось

среди бела дня, в присутствии других людей, и Тонио Крёгер даже не очень

удивился.

 Восхитительно праздничным было уже самое начало этого дня. Тонио Крёгер

проснулся ранним утром от чувства какого-то неуловимого, неопределенного

страха - так что сон точно рукой сняло, и... вдруг ему привиделось

волшебное царство света. Его комната, оклеенная обоями нежных, мягких

тонов и обставленная легкой светлой мебелью, с застекленной дверью на

балкон, через которую виднелся Зунд, с белой газовой занавесью,

разделяющей ее на гостиную и спальню, всегда выглядела нарядной и

приветливой. Но сейчас она предстала его еще заспанным глазам в неземной

лучезарности, вся пронизанная несказанно обворожительным, благоуханным

розовым сиянием, золотившим стены и мебель и отбрасывавшим на газовую

занавесь нежно-алые блики. Тонио Крёгер долго не мог взять в толк, что

произошло. Но когда он подошел к балконной Двери и приоткрыл ее, то

увидел, что восходит солнце.

 Несколько дней погода стояла пасмурная и дождливая; но теперь, ясное

сияющее небо казалось голубым шелком, туго натянутым над морем и сушей, и

солнечный диск, окруженный и полуприкрытый облачками, которые светились

багрянцем и золотом, торжественно подымался над переливчатой зыбью моря,

трепещущей и пламенеющей в утренних лучах... Так начался день, и Тонио

Крёгер в счастливом смятенье быстро оделся, позавтракал раньше всех внизу

на веранде, выплыл из деревянной купалстши в Зунд и затем еще с добрый час

гулял по взморью. Вернувшись, он увидел перед гостиницей несколько

громоздких экипажей, похожих на омнибусы, и, уже придя в столовую,

обнаружил, что в соседней гостиной, где стоял рояль, а также на веранде и

площадке перед нею расселось за круглыми столиками множество людей, судя

по одежде - мелких бюргеров, которые оживленно переговаривались и пили

пиво, закусывая бутербродами. Тут были целые семьи - старики, молодежь и

даже несколько ребятишек.

 За вторым завтраком (стол ломился под тяжестью холодных закусок,

копченостей, солений и печенья) Тонио Крёгер наконец поинтересовался, что

здесь, собственно, происходит.

 - Гости, - отвечал рыботорговец. - Экскурсанты из Хельсингёра, которым

хочется здесь поплясать. Поистине божье наказанье! Сегодня нам не удастся

выспаться! Будет бал - танцы, танцы и музыка, боюсь, что допоздна. Это

семейная экскурсия, пикник в складчину по подписке или что-то в этом роде,

и уж они сумеют использовать хорошую погоду. Они прибыли на лодках и в

экипажах и сейчас завтракают. Затем они поедут любоваться природой,.но к

вечеру обязательно вернутся и будут танцевать.

 Черт бы их драл, я уверен, что мы глаз не сомкнем!

 - Ничего, это как-никак приятное разнообразие, - сказал Тонио Крёгер.

 Некоторое время они оба молчали. Хозяйка барабанила по столу красными

пальцами, рыботорговец шумно втягивал воздух через правую ноздрю,

американцы пили кипяток, причем их длинные лица принимали постное

выражение.

 Тут это и случилось: через столовую прошли Ганс Гансен и Ингеборз Хольм.

 Тонио Крёгер, приятно утомленный купаньем и быстрой ходьбой, усевшись

поудобнее, ел копченую лососину с поджаренным хлебом; лицо его было

обращено к веранде и к морю. И вдруг дверь отворилась, и рука в руку,

неторопливо вошли эти оба. Ингеборг, белокурая Инге, была одета в светлое

легкое платье в цветочках, точно на уроке танцев господина Кнаака; оно

доходило ей только до щиколоток, ворот "сердечком" был отделан белым

тюлем, не закрывавшим ее мягкой, гибкой шеи. На руке у нее на двух

связанных лентах висела-шляпа. Инге выглядела разве что несколько

взрослее, и длинная ее коса была теперь уложена вокруг головы.

 Зато Ганс Гансен не изменился нисколько. На нем по-прежнему был бушлат

с золотыми пуговицами и выпущенным из-под него матросским воротником;

матросскую шапочку с короткими лентами он держал в опущенной руке и

беззаботно помахивал ею. Ингеборг отвела в сторону свои миндалевидные

глаза, видимо стесняясь устремленйых на нее взглядов. Зато Ганс Гансен,

целому свету наперекор, вызывающе и немного презрительно оглядел всех

сидевших за столом; он даже отпустил руку Ингеборг и стал еще энергичнее

размахивать бескозыркой: смотрите, мол, вот я каков! Так прошли эти двое

перед глазами Тонио Крёгера на фоне нежно голубеющего моря, прошли по

столовой и скрылись за противоположной дверью в комнате, где стоял рояль.

 Это было утром, в половине двенадцатого, и постояльцы гостиницы еще

сидели за завтраком, когда вся компания на веранде поднялась и, уже не

заглядывая в столовую, вышла через боковую дверь. Слышно было, как они

рассаживались со смехом и шутками, и экипажи, шурша по гравию шоссе,

трогали и отъезжали один за другим...

 - Значит, они еще вернутся? - спросил Тонио Крёгер.

 - Еще бы, - отвечал рыботорговец. - На.наше несчастье! Они ведь

заказали музыку, а моя комната как раз над залом.

 - Что ж, это приятное разнообразие, - повторил Тонио Крёгер.

 С этими словами он поднялся и ушел.

 Он провел день, как проводил все другие, - в лесу, у моря, сидел, держа

книгу на коленях, и щурился на солнце. В голове у него шевелилась одна

только мысль: они вернутся, в зале состоится вечеринка с танцами, как и

предрекал рыботорговец; Тонио Крёгер радовался этому, и радость его была

такой робкой и сладостной, какой он не испытывал уже давно, в течение всех

этих мертвых лет. По неожиданной ассоциации ему на мгновенье вспомнился

давнишний знакомый, новеллист Адальберт. Он-то знал, чего хочет, и

отправился в кафе, чтобы не дышать весенним воздухом. Вспомнив это, Тонио

Крёгер пожал плечами...

 Обед в тот день был подан раньше обычного, так же, впрочем, как и ужин,

происходивший в гостиной; в большой столовой шли приготовления к балу:

праздник так праздник! Когда уже стемнело и Тонио Крёгер сидел у себя в

номере, на шоссе и в доме все снова наполнилось шумом.

 Экскурсанты вернулись, мало того: из Хельсингёра на велосипедах и в

экипажах прибыли новые гости; где-то внизу уже настраивали скрипку,

слышались и гнусавые звуки кларнета... Словом, все предвещало веселье.

 Вот уже маленький оркестр заиграл марш: наверх приглушенно донеслись

отчетливые такты. Бал открывался полонезом. Тонио Крёгер, прислушиваясь,

посидел еще несколько минут. Но, когда марш сменился звуками вальса, он

встал и, бесшумно ступая, вышел из комнаты.

 Из коридора можно было по черной лестнице спуститься к запасному

выходу, а оттуда, не заходя в дом, прямо пройти на веранду. Этот путь он

избрал и пошел по нему тихо, крадучись, словно по запретной тропе, ощупью

пробираясь во мраке, неодолимо влекомый этой глупой, блаженно баюкающей

музыкой, теперь уже явственно доносившейся до него.

 На веранде было темно и пусто, но дверь в зале, где уже ярко горели обе

большие керосиновые лампы с блестящими рефлекторами, стояла настежь.

 Тонио Крёгер бесшумно прокрался на веранду, и от воровского наслаждения

- стоять здесь, в потемках, незамеченным и следить за танцующими - у него

по спине пробежали мурашки. Глаза его торопливо и жадно выискивали в толпе

тех двоих...

 Веселье было в полном разгаре, хотя бал начался всего каких-нибудь

полчаса назад; впрочем, все танцоры уже явились сюда возбужденные и

радостные от совместно проведенного веселого, беззаботного дня.

 В гостиной, которую Тонио Крёгер.видел, когда решался несколько

податься вперед, за карточными столами, куря и потягивая вино,

разместились пожилые мужчины; другие сидели по углам возле своих жен или

вдоль стен на плюшевых стульях и смотрели на танцующих; они упирались

руками в растопыренные колени и, раздувая щеки, удовлетворенно пыхтела.

Мамаши, сложив руки под грудью и склонив набок головы в маленьких шляпках

на макушке, наблюдали за весельем молодежи. На эстраде, сооруженной у

одной из стен, что было сил наяривал" музыканты. В числе инструментов была

даже труба; она трубила осторожно, словно боясь собственного голоса, но

все равно то и дело заглушала остальные инструменты... Одни пары,

покачиваясь и кружась, скользили в танце, другие рука об руку

прогуливались вдоль зала. Одеты все были не по-бальному, а так, как

одеваются для воскресной загородной прогулки: кавалеры в не слишком ладно

скроенных костюмах, видимо заботливо сберегавшихся в будние дни, молодые

девушки в воздушных светлых платьицах с пучками полевых цветов у ворота. В

зале попадались и детишки, продолжавшие плясать, даже когда умолкала

музыка.

 Распорядителем бала и дирижером был долговязый чиновник почтового или

какого-то другого ведомства, в визитке с разлетающимися фалдами, с

моноклем в глазу и подпаленными волосами - провинциальный лев, живое

воплощение комического героя из датского романа. Юркий, обливающийся

потом, весь ушедший в свое занятие, он, суетливо виляя задом, поспевал во

все концы, мягко ступал на носки и выписывал ногами, обутыми в остроносые

штиблеты, какие-то мудреные вензеля; размахивая руками в воздухе, он

отдавал распоряжения, что-то кричал оркестру и хлопал в ладоши; вокруг

него все время реяли концы огромного банта, прикрепленного на плече, -

знак его особых бальных полномочий, на который он нет-нет да и бросал

нежные взгляды.

 Да, и они были здесь, те двое, что прошли сегодня перед Тонио Крёгером

в сиянии солнечных лучей; он снова видел их и содрогнулся от радости,

заметив обоих сразу. Ганс Гансен стоял у двери, совсем близко от него.

 Широко расставив ноги и слегка нагнувшись вперед, он спокойно уплетал

громадный кусок песочного торта, держа руку горстью у подбородка, чтобы не

просыпать крошек. А там, у стены, сидела Ингеборг Хольм, белокурая Инге.

Почтовый чиновник как раз подлетел к ней, чтобы с изысканным поклоном,

заложив одну руку за спину, а другой грациозно касаясь груди, пригласить

ее на танец. Но она в ответ только покачала головой и объяснила, что очень

запыхалась и должна немного передохнуть, после чего кавалер уселся рядом с

нею.

 Тонио Крёгер смотрел на тех, кого он так страдальчески любил когдато,

на Ганса и Ингеборг. Он любил их обоих не в силу каких-то свойств, им

одним присущих, или их схожей манеры одеваться, - его пленяло в них

тождество расы, типа, принадлежность к одной и той же породе людей -

светлых, голубоглазых, белокурых, породе, вызывающей представление о

чистоте, неомраченном благодушии, веселости, простом и горделивом

целомудрии... Он видел их, видел, как Ганс, широкоплечий, узкобедрый, еще

более здоровый и стройный, чем в ту далекую пору, стоял там в своем

матросском костюме, видел, как Ингеборг, лукаво смеясь, по-особенному

подняла и закинула за голову руку, не слишком узкую, не слишком изящную

руку девочки-подростка, и при этом движении рукав соскользнул с ее локтя.

И вдруг тоска по родине с такой силой сдавила его грудь, что он

непроизвольно еще глубже попятился в.темноту, чтобы никто не заметил

нервного подергиванья его лица...

 "Разве я забыл вас? - спрашивал он себя. - Нет, я никогда вас не

забывал! Ни тебя, Ганс, ни тебя, белокурая Инге! Ведь это для вас я

работал, и, когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я потихоньку

оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих...

 Прочитал ли ты "Дон Карлоса", Ганс Гансен, как ты мне обещал у калитки?

Нет, не читай его! Я этого больше с тебя не спрашиваю. Что тебе до короля,

которыми плачет ет одиночества? Не надо, чтобы твои ясные глаза

туманились, подергивались сонной одурью от упорного чтения стихов и от

меланхолии... Быть таким, как ты! Начать все с начала, вырасти похожим на

тебя, честным, веселым и простодушным, надежным, добропорядочным, в ладу с

богом и людьми; быть любимым такими же чистыми сердцем счастливцами, взять

в жены тебя, Ингеборг Хольм, и иметь сына, такого, как ты, Ганс Гансен,

жить свободным от проклятья познания и творческих мук, -любить и

радоваться блаженной обыденности... Начать с начала. Но стоит ли? Это ни к

чему не приведет. Все будет, как было. Ведь иные сбиваются с пути только

потому" что для них верного пути не существует".

 Музыка смолкла; в перерыве разносили закуски. Почтовый чиновник бегал

по залу, самолично обнося дам селедочным паштетом; перед Ингеборг он даже

опустился на одно колено, и она зарделась от удовольствия.

 Между тем в зале заметили соглядатая за дверью; красные разгоряченные

лица оборачивались к нему с недоуменным, даже сердитым выражением, но он

упорно не двигался с места. Ингеборг и Ганс тоже почти одновременно

скользнули по нему глазами до того равнодушными, что это граничило уже с

презрением. И вдруг он почувствовал устремленный на него откуда-то

пристальный взгляд. Он обернулся, и глаза его тотчас же встретились с

теми, чей взгляд он почувствовал на себе. Неподалеку от него стояла

девушка с бледным узким и тонким лицом, на которое он уже раньше обратил

внимание. Она мало танцевала, - кавалеры не очень-то увивались вокруг нее,

- и со строго сжатыми губами одиноко сидела у стены.

 И сейчас она тоже была одна, одетая в светлое, воздушное платье, как

другие девушки. Но сквозь прозрачную ткань просвечивали острые, слабые

плечи, а худая шея уходила в них так глубоко, что бедная девушка казалась

немного горбатой. Руки в ажурных митенках она держала у плоской груди и,

склонив голову, исподлобья глядела на Тонио Крёгера черными влажными

глазами. Он отвернулся...

 Здесь, совсем близко от него, сидели Ганс и Ингеборг. Они- ели и пили

среди своих краснощеких сотрапезников, болтали, веселились, громко

поддразнивали друг друга и смеялись до упаду, Может быть, подойти к ним

поближе? Обратиться к нему или к ней с шутливыми словами, первыми, какие

придут и голову; и тогда они должны будут ему ответить хотя бы улыбкой?

Эта улыбка осчастливила бы его, он мечтал о ней и, удовлетворенный,

вернулся бы к себе в комнату, в сознании, что какая-то общность все-же

установилась между ними. Он придумывал, что бы им сказать, но сказать у

него недостало смелости. Да и не стоило: они, как всегда, не поняли бы

его, холодно выслушали бы его слова. Ибо их язык не был его языком.

 Вот, кажется, опять начинаются танцы. Чиновник развивал неустанную

деятельность. Он носился по залу, требовал, чтобы кавалеры приглашали дам,

с помощью кельнера убирал с дороги стулья отдавал приказания оркестрантам,

подталкивал за плечи увальней, не знавших, куда себя девать. Что тут такое

готовится? Пары выстраиваются по четыре, образуя каре... Страшное

воспоминание заставило побагроветь Тонио Крёгера.

 Сейчас начнется кадриль.

 Заиграла музыка, и пары с поклонами стали сходиться и расходиться.

 Чиновник дирижировал кадрилью и - боже милостивый! - отдавал

распоряжения по-французски, грассируя с неподражаемой изысканностью.

 Ингеборг Хольм танцевала почти рядом с Тонио Крёгером, в том каре,

которое было ближе к двери. Она мелькала перед ним справа и слева, то

плавно выступая, то стремительно кружась; благоуханье, исходившее от ее

волос, а может быть, от легкой ткани ее платья, временами долетало до

него, и он закрывал глаза, охваченный издавна знакомым чувством, -

чувством, аромат и терпкую прелесть которого он ощущал в воздухе все

последние дни и Которое теперь вновь наполнило его сладостным томлением.

Что это? Тоска? Нежность? Зависть и презрение к самому себе?..

 Moulinet des dames! Ты смеялась, белокурая Инге, смеялась надо мной,

когда я танцевал moulinet и так ужасно осрамился? А теперь, когда я стал

чем-то вроде знаменитости, ты бы тоже смеялась надо мной? Да, конечно, и

ты была бы трижды права! Даже если бы я один создал Девятую симфонию, "Мир

как воля и представление" и "Страшный суд" - ты все равно была бы вправе

смеяться... Он взглянул на нее, и в его памяти ожила стихотворная строчка,

давно не вспоминавшаяся и тем не менее такая знакомая и волнующая: "Хочу

заснуть, а ты иди плясать..."

 Как ему понятно по-северному меланхолическое,

простодушно-неповоротливое чувство, отраженное в этих словах! Спать...

Стремиться просто и полно жить чувством, чувством, сладостно и лениво

покоящимся в самом себе, которому не обязательно претворяться в действие

или в танец, и тем не менее танцевать, ловко и уверенно танцевать среди

ножей трудный, опасный танец искусства, вечно памятуя об унизительном

противоречии между этим танцем и любовью.

 Внезапно все вокруг бешено засуетилось. Каре распались, танцующие

затопали, потом стремительно заскользили по залу: кадриль кончалась

галопом. Пары под неистово быструю музыку проносились мимо Тонио Крёгера,

торопясь, обгоняя друг друга, тяжело дыша и смеясь. Вот совсем рядом

кружится, мчится пара, подгоняемая общей спешкой. У девушки бледное,

тонкое лицо и худые, слишком высокие плечи. И вдруг, совсем уже рядом с

ним - заминка, неловкое движение. Девушка падает... Падает со всего

размаху - это выглядело опасным паденьем! - и увлекает за собой кавалера.

Он, видимо, так расшибся, что даже позабыл о своей даме; едва

приподнявшись, он трет с гримасой боли свое колено, а девушка, оглушенная

паденьем, все еще лежит на полу. Тут Тонио Крёгер выступил из темноты,

взял ее за руки и бережно поднял. Напуганная, смущенная, несчастная, она

подняла на него глаза, и ее нежное лицо внезапно залилось краской.

 - Tak! О, mange Tak! [Спасибо! Большое спасибо! (дат.)] - проговорила

она, снизу вверх глядя на него темными влажными глазами.

 - Вам больше не следует танцевать, фрейлейн, - мягко заметил он. Еще

раз оглянулся на тех, на Ганса и Ингеборг, и ушел из зала. Пройдя через

веранду, он поднялся к себе в комнату.

 Он был опьянен праздником, в котором не принимал участия, утомлен

ревностью. Как раньше, все в точности как раньше! С пылающим лицом стоял

он в темном углу, страдая из-за вас, белокурые, жизнелюбивые счастливцы, и

потом, одинокий, ушел к себе. Кому-нибудь следовало бы теперь прийти!

Ингеборг следовало бы прийти, заметить, что он ушел, тайком прокрасться за

ним и, положив руку ему на плечо, сказать: "Пойдем к нам! Развеселись! Я

люблю тебя!.." Но она не пришла. Ничего такого не случилось. Все было как

тогда, и, как тогда, он был счастлив. Ибо сердце его жило. А что же было

все то время, когда он становился тем, чем был теперь? Оцепененье,

пустота, лед и - дух! И еще - искусство!

 Он разделся, лег, потушил свет и стал шептать в подушку два имени,

несколько целомудренных северных слогов, которые для него означали его

любовь, его страданья, счастье, а также жизнь, простое горячее чувство и

родину. Он оглядывался назад, на годы, прожитые с того дня по нынешний.

Вспоминал о мрачных авантюрах чувства, нервов, мысли, видел самого себя,

снедаемого иронией и духом, изнуренного и обессиленного познанием,

изнемогшего от жара и озноба творчества, необузданно, вопреки укорам

совести, бросающегося из одной крайности в другую, мечущегося между

святостью и огнем чувственности, удрученного холодной экзальтацией,

опустошенного, измученного, больного, заблудшего, и плакал от раскаяния и

тоски по родине.

 Вокруг было темно и тихо. И только снизу, приглушенная, убаюкивающая,

доносилась до него сладостная и пошлая мелодия жизни.

 Тонио Крёгер продолжал жить на севере и, выполняя свое обещание, писал

Лизавете Ивановне, испытанному другу.

 "Милая Лизавета, обитательница далекой Аркадии, куда скоро ворочусь и

я! Вот наконец некое подобие письма, оно, вероятно, разочарует Вас, ибо

будет содержать одни лишь общие рассуждения. Не то чтобы у меня не было о

чем рассказать; кое-что мне все-таки довелось пережить, - на свой лад,

конечно. Дома, в моем родном городе, меня чуть было не арестовали...

 Но об этом я расскажу Вам устно. У меня теперь бывают дни, когда я

предпочитаю философствовать на общие темы, а не рассказывать историйки.

 Помните ли Вы еще, Лизавета, что однажды назвали меня бюргером,

заблудшим бюргером? Так Вы назвали меня в час, когда я имел оплошность

вслед за другими признаниями заговорить с Вами о моей любви к тому, что я

называю жизнью. И вот я спрашиваю себя: сознавали ли Вы тогда, как близки

Вы к истине, как тесно связаны друг с другом моя бюргерская сущность и моя

любовь к "жизни"? Нынешнее мое путешествие вновь заставило меня об этом

задуматься...

 Мой отец, Лизавета, был человеком северного темперамента: склонным к

созерцательности и грусти, основательным и пуритански корректным; моя

мать, в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь, была хороша

собой, чувственна, наивна; беспечность в ней сочеталась со страстностью, с

импульсивной распущенностью. Такое соединение кровей, несомненно, таило в

себе немалые возможности и... немалую опасность.

 В результате получился бюргер, оплошно забредший в искусство, цыган,

тоскующий по хорошему воспитанию, художник с нечистой совестью. Ведь это

бюргерская совесть заставляет меня в занятиях искусством, во всем из ряда

вон выходящем и гениальном видеть нечто двусмысленное, глубоко

подозрительное, вызывающее опаску. Отсюда и моя нежность, граничащая с

влюбленностью, ко всему примитивному, простодушному,

утешительнонормальному, заурядному и благопристойному.

 Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне

приходится круто. Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели

хотят меня арестовать... Я же толком и сам не знаю, что больше меня

огорчает. Бюргеры глупы; но вам, поклонники красоты, обвиняющим меня во

флегме и в отсутствии возвышенной тоски, не плохо было бы понять, что

существует творчество столь глубокое, столь Предначертанное и роковое, что

нет для него ничего сладостнее и желаннее, чем блаженная обыденность.

 Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой,

демонической красоты, презирая человека, но не завидую им. Ведь если, что

может сделать из литератора поэта, то как раз моя бюргерская,

обывательская любовь к человечному, живому, обыденному. Всё тепло, вся

доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та

любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком

человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется

гудящей медью и кимвалом бряцающим.

 Сделанное мною - ничто, самая малость, все равно что ничто. Я добьюсь

большего, Лизавета, - обещаю Вам. Сейчас, когда я пишу, ко мне в комнату

доносится рокот моря, и Я закрываю глаза. Я вглядываюсь в неродившийся,

еще призрачный мир, который требует, чтобы его отлили в форму,

упорядочили, вижу толчею теней, отбрасываемых человеческими фигурами, эти

тени машут мне - воплоти и освободи нас! Среди них есть трагические, есть

Смешные, есть и такие, в которых представлено, то и другое, - к ним я

привержен всей душой. Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана

белокурым и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным.

 Не хулите эту любовь, Лизавета: она благодатна и плодотворна. В ней

страстное ожидание, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота

целомудренного блаженства".

 1903

ТОМАС МАНН

 ТРИСТАН

 Перевод С. Апта

 Вот он, санаторий "Эйнфрид"! Прямые очертания его продолговатого

главного корпуса и боковой пристройки белеют посреди обширного сада,

украшенного затейливыми гротами, аллейками и беседками, а за шиферными его

крышами плавно, сплошным массивом, поднимаются к небу хвойно-зеленые горы.

 По-прежнему возглавляет это учреждений доктор Леандер. У него черная

раздвоенная борода, курчавая и жесткая, как конский волос, идущий на

обивку мебели, очки с толстыми, сверкающими стеклами и вид человека,

которого наука закалила, сделала холодным и наделила снисходительным

пессимизмом; своей резкостью и замкнутостью он покоряет больных - людей

слишком слабых, чтобы самим устанавливать себе законы и их придерживаться,

и отдающих ему свое состояние за право находить опору в его суровости.

 Что касается фрейлейн фон Остерло, то она ведет хозяйство поистине

самозабвенно. Боже мой, как деловито бегает она вверх и вниз по лестницам,

как торопится из одного конца санатория в другой! Она властвует на кухне и

в кладовой, роется в бельевых шкафах, командует прислугой и ведает

питанием, руководствуясь соображениями экономии, гигиены, вкуса и внешнего

изящества, она хозяйничает с неистовой осмотрительностью, и во всей ее

бурной деятельности кроется постоянный упрек всей мужской части

человечества, ни один представитель которой до сих пор не догадался

жениться на ней. Впрочем, на щеках ее двумя круглыми малиновыми пятнами

неугасимо горит надежда стать в один прекрасный день супругой доктора

Леандера...

 Озон и тихий, тихий воздух... Что бы ни говорили завистники и

конкуренты доктора Леандера, легочным больным следует самым настоятельным

образом рекомендовать "Эйнфрид". Но здесь обитают не только чахоточные,

здесь есть и другие пациенты, мужчины, дамы, даже дети: доктор Леандер

может похвастаться успехами в самых различных областях медицины. Есть здесь

страдающие желудочными болезнями,- например, советница Шпатц, у которой,

кроме того, больные уши, есть пациенты' с пороком сердца, паралитики,

ревматики, есть разного рода нервнобольные. Один генерал-диабетик,

непрестанно ворча, проедает здесь свою пенсию. Некоторые здешние пациенты,

господа с истощенными лицами, не могут совладать со своими ногами - ноги у

этих господ то и дело дергаются, что наводит на самые грустные размышления.

Пятидесятилетняя дама, пасторша Геленраух, которая произвела на свет

девятнадцать детей и уже совершенно ни о чем не способна думать, тем не

менее не может угомониться и вот уже целый год, снедаемая безумным

беспокойством и жуткая в своем оцепенелом безмолвии, бесцельно бродит по

всему дому, опираясь на руку приставленной к ней сиделки.

 Время от времени умирает кто-нибудь из "тяжелых", которые лежат по

своим комнатам и не появляются ни за столом, ни в гостиной, и никто, даже

их непосредственные соседи, ничего об этом не узнают. Глубокой ночью

воскового постояльца уносят, и снова жизнь в "Эйкфридё" идет своим чередом

- массажи, электризация, инъекции, души, ванны, гимнастика, потогонные

процедуры, ингаляции, - все это в различных помещениях, оборудованных

новейшими приспособлениями...

 Право же, здесь всегда царит оживление. Швейцар, стоящий у входа в

боковую пристройку, звонит в колокол, когда прибывают новые пациенты, и

торжественно одетый доктор Леандер вместе с фрейлейн фон Остерло провожает

отъезжающих до экипажа. Каким только людям не давал приюта "Эйнфрид"! Есть

тут даже писатель, эксцентричный человек, он носит фамилию, звучащую, как

название минерала или драгоценного камня, и, живя здесь, похищает дни у

господа бога...

 Кроме доктора Леандера, в "Эйнфриде" имеется еще один врач - для легких

случаев и для безнадежных больных. Но его фамилия Мюллер, и вообще он не

стоит того, чтобы о нем говорили.

 В начале января коммерсант Клетериан - фирма "А.-Ц. Клетериан и К°" -

привез в "Эйнфрид" свою супругу; швейцар зазвонил в колокол, и фрейлейн

фон Остерло встретила приехавшую издалека чету в приемной, которая

помещалась в нижнем этаже и, как почти весь этот старый, величественный

дом, являла собой удивительно чистый образец стиля ампир.

 Тотчас же вышел доктор Леандер, он поклонился, и началась первая,

поучительная для обеих сторон беседа.

 Клумбы в саду были по-зимнему покрыты матами, гроты - занесены снегом,

беседки стояли в запустении; два санаторных служителя несли чемоданы

приехавших - коляска остановилась на шоссе, у решетчатой калитки, потому

что к самому дому подъезда не было.

 - Не спеши, Габриэла, take care [Осторожно (англ.)], мой ангел, не

открывай рот, - говорил господин Клетериан, ведя жену через сад; и к этому

"take care" при одном взгляде на нее с нежностью и трепетом присоединился

бы в душе всякий, - хотя нельзя отрицать, что господин Клетериан с таким же

успехом мог бы сказать это и по-немецки.

 Кучер, привезший их со станции, человек грубый, неотесанный и не

знающий тонкого обхождения, прямо-таки, рот разинул в беспомощной

озабоченности, когда коммерсант помогал своей супруге вылезти из экипажа;

казалось даже, что оба гнедых, от которых в тихом морозном воздухе

поднимался пар, скосив глаза, взволнованно наблюдали за этим опасным

предприятием, тревожась за столь хрупкую грацию и столь нежную прелесть.

 Как ясно было сказано в письме, которое господин Клетериан

предварительно послал с Балтийского побережья главному врачу "Эйнфрида",

молодая женщина страдала болезнью дыхательного горла, - слава богу, дело

тут было не в легких! Но если бы даже она страдала болезнью легких все

равно эта новая пациентка не могла бы выглядеть прелестнее, благороднее и

бесплотнее, чем сейчас, когда она, покойно и устало откинувшись на высокую

спинку белого кресла, сидела рядом со своим коренастым супругом и

прислушивалась к разговору.

 Ее красивые бледные руки, украшенные только простым обручальным

кольцом, лежали на коленях, в складках тяжелой и темной суконной юбкиузкий

серебристо-серый жакет, с плотным стоячим воротником, был сплошь усеян

накладными бархатными узорами. Но от тяжелых и плотных тканей невыразимо

нежная, миловидная и хрупкая головка молодой женщины казалась еще более

трогательной, милой и неземной. Ее каштановые волосы, стянутые в узел на

затылке, были гладко причесаны, и только одна -вьющаяся прядь падала на

лоб возле правого виска, где маленькая, странная, болезненная жилка над

четко обрисованной бровью нарушала своим бледно-голубым разветвлением

ясную Чистоту почти прозрачного лба. Эта голубая жилка у глаза тревожно

господствовала над всем тонким овалом лица. Она становилась заметнее, как

только женщина начинала говорить; и даже когда она улыбалась, эта жилка

придавала ее лицу какое-то напряженное, пожалуй, даже угнетенное

выражение, внушавшее смутный страх.

 Тем не -менее она говорила и улыбалась. Говорила непринужденно и

любезно, несколько приглушенным голосом и улыбалась усталыми, казалось

готовыми вот-вот закрыться глазами, на углы которых, по обе стороны узкой

переносицы, ложилась густая тень, и красивым, широким ртом бледным, но как

бы светившимся потому, может быть, что губы ее были очень уж резко и ясно

очерчены. Изредка она покашливала. Тогда она подносила ко рту платок и

затем рассматривала его.

 - Не надо кашлять, Габриэла, - сказал господин Клетериан. - Ты ведь

помнишь, darling [Дорогая (англ.)], что доктор Гинцпетер решительно

запретил тебе кашлять, нужно только взять себя в руки, мой ангел. Вся

беда, как я уже сказал, в дыхательном горле,- повторил он.- Когда это

началось, я и впрямь подумал, что неладно с легкими, и бог знает как

испугался. Но дело тут не в легких, нет, черт побери, таких вещей мы не

допустим, а, Габриэла? Хе-хе!

 - Несомненно, - сказал доктор Леандер и сверкнул очками в ее сторону.

 Затем господин Клетериан спросил кофе, - кофе и сдобных булочек; звук

"к", казалось, образуется у него где-то глубоко в глотке, а слово

"булочка" он произносил так, что у каждого, кто его слышал, должен был

появиться аппетит.

 Он получил все, что спрашивал, получил также комнаты для себя и для

своей супруги, и они пошли устраиваться.

 Между прочим, наблюдение над больной доктор Леандер взял на себя а не

поручил доктору Мюллеру.

 Новая пациентка привлекла всеобщее внимание в "Эйнфриде", и господин

Клетериан, привыкший к успехам жены, с удовлетворением принимал все знаки

расположения, ей оказываемого. Когда генерал-диабетик увидел в первый раз,

он на мгновение перестал ворчать, господа с испитыми лицами в ее

присутствии улыбались и усиленно старались справиться со своими ногами, а

советница Шпатц тотчас же взяла на себя роль ее старшей подруги. Да, она

производила впечатление, эта женщина, носившая фамилию господина

Клетериана! Писатель, уже несколько недель живший в "Эйнфриде",

удивительный субъект, фамилия которого звучала как название драгоценного

камня, побледнел, когда она прошла мимо него по коридору, - он остановился

и, казалось, прирос к месту, хотя она давно уже удалилась.

 Не прошло и двух дней, как все санаторное общество узнало ее историю.

 Родилаеь она в Бромене, что, впрочем, было заметно по некоторым милым

Ошибкам в ее произношении, и там же два года назад дала согласие стать

женой, коммерсанта Клотсриана. Он увез ее на Балтийское побережье, в свой

родной город, аде она, месяцев десять назад, в страшных мучениях и с

опacносттью для жизни, подарила ему сына и наследника, поразительно живого

и удачного ребенка. Но после тех ужасных дней силы так и не вернулись к,

ней, если; разумеется, у нее вообще когда-либо были силы, Едва она

поднялась после родов, до предела измученная, до предела ослабевшан, как у

нее во время кашля показалась кровь - о, совсем немного крови, так,

чуть-чуть, - но лучше ей вообще бы вовсе не показываться, а самое

тягостное было, что неприятное это происшествие вскоре повторилось. Ну,

против этого, конечно, имелись средства, и доктор Гинцпетер; домашний

врач, пустил их в ход. Больной был предписан полный покой, она должна была

глотать кусочки льда, против позывов кашля ей прописали морфий, а на

сердце воздействовали всевозможными успокоительными лекарствами.

Выздоровление, однако, не наступало, и в то время как мальчик, Антон

Клетериан-младший, великолепный ребенок, с невероятной энергией и

бесцеремонностью завоевывал и утверждал свое место в жизни, его молодая

мать, казалось, угасала медленно и тихо... Всему причиной было, как уже

говорилось, дыхательное горло - эти два слова в устах доктора Гинцпетера

звучали на редкость утешительно, успокаивающе, почти весело. И хотя с

легкими было все в порядке, доктор в конце концов нашел, что более мягкий

климат и пребывание в лечебном заведении крайне желательны для скорейшего

исцеления, а добрая слава санатория "Эйнфрид" и его главного врача

определили остальное.

 Так обстояли дела, и Господин Клетериан самолично рассказал все это

каждому, кто желал его слушать. Говорил он громко, небрежно и добродушно,

как человек, пищеварение и кошелек которого находятся в полном порядке,

быстро шевеля выпяченными губами, - манера, свойственная жителям северного

побережья. Некоторые слова он выпаливал с такой быстротою, что они

походили на маленький взрыв, и при этом смеялся, словно от удачной шутки.

 Среднего роста, широкий, крепкий, коротконогий, с полным красным лицом,

водянисто-голубыми глазами, белесыми ресницами, большими ноздрями и

влажными губами, он носил английские бакенбарды, "девался по-английски и

явно пришел в восторг, застав в "Эйнфриде" английское семейство - отца,

мать и троих очень красивых детей с их nurse [Няня (англ.)], - семейство,

которое пребывало здесь единственно потому, что не ведало, где же ему еще

пребывать, и с которым он по утрам завтракал на английский манер. Он

вообще любил хорошо поесть и выпить, показал себя настоящим знатоком кухни

и погреба и чудесно развлекал санаторное общество рассказами об обедах,

которые давались у него на родине в кругу его знакомых, а также описаниями

некоторых изысканных, неизвестных здесь блюд.

 При этом глаза его принимали ласковое выражение и сужались, а в голосе

появлялись какие-то нёбные и носовые звуки, сопровождавшиеся легким

причмокиванием. Что он но является принципиальным противником и других

земных радостей, выяснилось в тот вечер, когда один из пациентов

"Эйнфрида", писатель по профессии, стал в коридоре свидетелем его не

вполне дозволенных шуток с горничной, и это маленькое комичное

происшествие вызвало у писателя донельзя брезгливую гримаску.

 Что касается супруги господина Клетсриана, то она была явно предана ему

всей душой. Улыбаясь, следила она за его словами и движениями - не с

высокомерной снисходительностью, с которой страждущие подчас относятся к

здоровым, а с той участливой радостью, которую встречают у добродушных

больных уверенные действия людей, чувствующих себя весьма неплохо.

 Господин Клетериан пробыл в "Эйнфриде" недолго. Он привез сюда свою

супругу и через неделю покинул санаторий, удостоверившись, что она хорошо

устроена и находится в надежных руках. Два дела одинаковой важности звали

его на родину: его цветущее дитя и его процветающая фирма. Итак, обеспечив

жене самый лучший уход, он вынужден был уехать.

 Шпинель была фамилия писателя, который уже несколько недель жил в

"Эйнфриде". Детлеф Шпинель звали его, и внешность у него была необычная.

 Представьте себе брюнета лет тридцати с небольшим, хорошо сложенного, с

заметно седеющими у висков волосами, на круглом, белом, чуть одутловатом

лице которого нет даже намека на бороду. Лица он но брил - это сразу

бросалось в глаза, - мягкое, гладкое, мальчишеское, оно только кое-где

было покрыто реденьким пушком. И выглядело это очень странно. Блестящие,

светло-карие глаза господина Шпинеля выражали кротость, нос у него был

короткий и, пожалуй, слишком мясистый. Пористая верхняя губа его

выдавалась, вперед, как у римлянина, у него были крупные зубы и громадные

ноги. Один из господ, не умевших справляться со своими ногами, остряк и

циник, прозвал его за глаза "гнилой сосунок", но это было скорее зло, чем

метко... Одевался господин Шпинель хорошо и по модо - в длинный черный

сюртук и пестрый жилет.

 Он был нелюдим и ни с кем но общался. Лишь изредка находили на него

приливы общительности и любвеобилия, избыток чувств, и случалось это,

когда господин Шпинель впадал в эстетический восторг, восхищаясь

каким-нибудь красивым зрелищем - сочетанием двух цветов, вазой благородной

формы или освещенными закатом горами. "Как красиво! - говорил он, склонив

голову, растопырив руки и сморщив губы и нос. - Боже, поглядите, как

красиво!" В такие мгновения он готов был заключить в объятия самую

чопорную особу, будь то мужчина или женщина...

 На столе у него, на самом виду, постоянно лежала книга его собственного

сочинения. Это был не очень объемистый роман с весьма странным рисунком на

обложке, напечатанный на бумаге одного из тех сортов, которые

употребляются для процеживания кофе, шрифтом, каждая буква которого

походила на готический собор. Фрейлейн фон Остерло как-то в свободную

минуту прочитала роман и нашла его "рафинированным", а это слово

встречалось в ее суждениях тогда, когда нужно было сказать "безумно

скучно". Действие романа происходило в светских салонах, в роскошных

будуарах, битком набитых изысканными вещами - гобеленами, старинной

мебелью, дорогим фарфором, роскошными тканями и всякого рода

драгоценнейшими произведениями искусства. В описание этих предметов автор

вложил немало любви, и, читая их, сразу можно было представить себе

господина Шпинеля в мгновения, когда он морщит нос и говорит: "Боже,

смотрите, как красиво!" Удивительно было то, что никаких других книг,

кроме этой одной, он не написалу-а писал он явно со страстью. Большую

часть дня он проводил в своей комнате за этим занятием и отсылал на почту

на редкость много писем - почти ежедневно одно или два, - сам же, как это

ни смешно и ни странно, получал их крайне редко...

 За столом господин Шпинель сидел напротив жены господина Клетериана. К

первому после их приезда обеду он явился с некоторым опозданием.

 Войдя в просторную столовую, помещавшуюся в первом этаже пристройки, он

негромко сразу со всеми поздоровался и прошел к своему месту, после чего

доктор Леандер без долгих церемоний представил его вновь прибывшим.

Господин Шпинель поклонился и не без смущения принялся за еду, причем его

белые, красиво вылепленные руки, торчавшие из очень узких рукавов,

несколько аффектированно орудовали ножом и вилкой. Вскоре он почувствовал

себя свободнее и стал потихоньку поглядывать то на господина Клетериана,

то на его супругу. Господин Клетериан в продолжение обеда несколько раз

обращался к нему с вопросами и замечаниями относительно условий жизни в

"Эйнфриде" и местного климата, жена его мило вставляла словечко-другое, и

господин Шпинель учти-во отвечал им. Голос у него был мягкий и довольно

приятный; но говорил он с некоторым усилием и захлебываясь, словно зубы

его мешали языку.

 Когда после обеда все перешли в гостиную и доктор Леандер, обратившись

к новым постояльцам, пожелал, чтобы обед пошел им на доброе здоровье,

супруга господина Клетериана осведомилась о своем визави.

 - Как зовут этого господина? - спросила она. - Шпинелли? Я не разобрала

его фамилию.

 - Шпинель... не Шпинелли, сударыня. Нет, он не итальянец, и родом он

всего-навсего из Львова, насколько мне известно...

 - Что вы сказали? Он писатель? Или кто? - поинтересовался господин

Клетериан; держа руки в карманах своих удобных английских брюк, он

подставил ухо доктору и раскрыл рот, как иные делают, чтобы лучше слышать.

 - Не знаю, право, - он пишет... - ответил доктор Леандер. - Он издал,

кажется, книгу, какой-то роман, право, не знаю...

 Это повторное "не знаю" давало понять, что доктор Леандер не очень-и

дорожит писателем и снимает с себя всякую ответственность за нет

 - О, ведь это же очень интересно! - воскликнула супруга господина

Клетериана. До сих пор ей ни разу не приходилось видеть писателя.

 - Да, - предупредительно ответил доктор Леандер, - он пользуется,

кажется, некоторой известностью...

 Больше они о писателе не говорили.

 Но немного позднее, когда новые постояльцы ушли к себе и доктор Леандер

тоже собирался покинуть гостиную, господин Шпинель задержал его и, в свою

очередь, навел справки.

 - Как фамилия этой четы? - спросил он, - Я, конечно, ничего не разобрал.

 - КлетериаН, - ответил доктор Леандер и пошел дальше.

 - Как его фамилия? - переспросил господин Шпинель.

 - Клетериан их фамилия, - сказал доктор Леандер и пошел своей дорогой.

Он отнюдь не дорожил писателем.

 Мы уже как будто дошли до возвращения господина Клетериана на родину?

Да, он снова был на Балтийском побережье, с ним были его коммерческие

дела, с ним был его сын, бесцеремонное, полное жизни маленькое существо,

стоившее матери стольких страданий и легкого заболевания дыхательного

горла. Что касается самой молодой женщины, то она осталась в "Эйнфриде", и

советница Шпатц взяла на себя роль ее старшей подруги. Это, однако, не

мешало супруге господина Клетериана находиться в добрых отношениях и с

прочими пациентами, - например, с господином Шпинелем, который, ко

всеобщему удивлению (ведь до сих пор он ни с одной живой душой не

общался), сразу же стал с ней необычайно предупредителен и услужлив и с

которым она не без удовольствия болтала в часы отдыха, предусмотренные

строгим режимом дня.

 Он приближался к ней с невероятной осторожностью и почтительностью и

говорил не иначе как заботливо понизив голос, так что тугая на ухо

советница Шпатц обычно не разбирала ни одного его слова. Ступая на носки

своих больших ног, он подходил к креслу, в котором, с легкой улыбкой на

лице, покоилась супруга господина Клетериана, останавливался в двух шагах

от нее, причем одну ногу он отставлял назад, а туловищем подавался вперед,

и говорил тихо, проникновенно, с некоторым усилием и слегка захлебываясь,

готовый в любое мгновение удалиться, исчезнуть, лишь только малейший

признак усталости или скуки промелькнет на ее лице. Но он не был ей в

тягость; она приглашала его посидеть с ней и с советницей, обращалась к

нему с каким-нибудь вопросом и затем, улыбаясь, с любопытством слушала

его, потому что иногда он говорил такие занимательные и странные вещи,

каких ей никогда еще не доводилось слышать.

 - Почему вы, собственно, находитесь в "Эйнфриде", господин Шпинель? -

спросила она. - Какой курс лечения вы здесь проходите?

 - Лечения?.. Хожу на электризацию. Да нет, это сущие пустяки, не стоит

о них и говорить. Я вам скажу, сударыня, почему я здесь нахожусь...

 Ради здешнего стиля.

 - Вот как, - сказала супруга господина Клетериана, подперев рукой

подбородок, и повернулась к господину Шнниелю с преувеличенно

заинтересованным видом; так подыгрывают ребенку, когда он собирается

что-нибудь рассказать.

 - Да, сударыня, "Эйнфрид" - это чистый ампир. Говорят, когда-то здесь

бил замок, летняя резиденция. Это крыло - позднейшая пристройка, но

главное здание сохранилось нетронутым. Иногда вдруг я чувствую, что никак

не могу обойтись без ампира, временами он мне просто необходим, чтобы

сохранить сносное самочувствие. Ведь так понятно, что среди мягкой и

чрезмерно удобной мебели чувствуешь себя иначе, чем среди этих прямых

линий столов, кресел и драпировок... Эта ясность и твердость, эта

холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мно собранность и

достоинство, они внутренне очищают меня, восстанавливают мои душевные

силы, возвышают нравственно, без сомнения...

 - Да, это любопытно, - сказала она. - Впрочем, я наверное смогу это

понять, если постараюсь.

 Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. Советница

Шпатц тоже рассмеялась и нашла, что все это любопытно, но она не сказала,

что сможет это понять.

 Гостиная в "Эйнфриде" была просторная и красивая. Высокая белая

двустворчатая дверь обычно стояла распахнутой в бильярдную, где

развлекались господа с непокорными ногами и другие пациенты. С другой

стороны застекленная дверь открывала вид на широкую террасу и сад.

 Сбоку от нее стояло пианино. Был здесь и обитый зеленым сукном

ломберный стол, за которым генерал-диабетик и сщо несколько мужчин играли

в вист. Дамы читали или занимались рукодельем. Комната отапливалась

железной ночью, по уютнее всего было беседовать у изящного камина, где

лежали поддельные угли, оклеенные полосками красноватой бумаги.

 - Рано вы любито вставать, господин Шпинель, - сказала супруга

господина Клетериана. - Мно случалось уже два или три раза видеть, как вы

выходите из дому в половине восьмого утра.

 - Я люблю рано вставать? Ах, вовсе нот, сударыня. Я, видите ли, рано

встаю потому, что, собственно, люблю поспать.

 - Ну, вам придется это пояснить мне, господин Шпинель.

 Советница Шпатц тоже потребовала пояснения.

 - Как вам сказать... если человек любит рано вставать, то ому, помоему,

и незачем подниматься ранним утром. Совесть, сударыня... скверная это

штука! Я и мно подобные, мы всю жизнь только о том и печемся, только тем и

озабочены, чтобы обмануть свою совесть, чтобы ухитриться доставить ей хоть

маленькую радость. Бесполезные мы существа, и и мне подобные, и, кроме

редких хороших часов, мы всегда уязвлены и пришиблены сознанием

собственной бесполезности. Мы презираем полезное, мы знаем, что оно

безобразно и низко, и отстаиваем эту истину так, как отстаивают лишь

насущно необходимые истины. И тем не менее мы вконец истерзаны муками

совести. Мало того, вся наша внутренняя жизнь, наше мировоззрение, наша

манера работать... таковы, что они воздействуют на наш организм самым

нездоровым, самым губительным и разрушительным образом, и это еще ухудшает

положенно. Тут-то и появляются на сцену всевозможные успокоительные

средства, без которых мы бы просто но выдержали. Многие из нас, например,

чувствуют потребность в упорядоченном, строго гигиеническом образе жизни.

Ранний, немилосердно ранний подъем, холодная ванна, прогулка по снегу...

Благодаря этому мы хоть немножко, хоть какой-нибудь час бываем довольны

собой. А дай я себе волю, я бы, поверьте, полдня пролежал в постели. Если

я рано встаю, то это, собственно, лицемерие.

 - Нет, отчего же, господин Шпинель! Я нахожу, что это сила воли...

 Не правда ли, госпожа советница?

 Госпожа советница согласилась, что это сила воли.

 - Лицемерие или сила воли, сударыня! Кому какое слово больше нравится.

Я, право, на все смотрю настолько грустно, что...

 - Вот именно. Ну, конечно же, вы слишком много грустите.

 - Да, сударыня, мне часто бывает грустно.

 ...Дни стояли прекрасные. В ослепительной яркости морозного безветрия,

в голубоватых тенях, ясные и чистые, белели земля, горы, дом и сад, и надо

всем этим поднимался безоблачный свод нежно-голубого неба, в котором,

казалось, пляшут мириады сверкающих пылинок и блестящих кристаллов.

Супруга господина Клетериана чувствовала себя в эти дни сносно; жара у нее

не было, она почти не кашляла и ела без особого отвращения. Целыми часами,

как ей было предписано, сидела она на террасе в морозную солнечную погоду.

Сидела среди снегов, закутанная в одеяла и меха, и с надеждой вдыхала

чистый, ледяной воздух, полезный для ее дыхательного горла. Иногда она

видела, как прохаживается по саду господин Шпинель, тоже тепло одетый, в

меховых сапогах, придававших уже просто фантастические размеры его ногам.

Он осторожно ступал по снегу, и в положении его рук была какая-то

настороженность, какое-то застывшее изящество; подходя к террасе, он

почтительно здоровался с госпожой Клетериан и поднимался на несколько

ступенек, чтобы завязать разговор.

 - Сегодня во время утренней прогулки я видел красивую женщину...

 Боже мой, как она была красива! - говорил он, наклонив голову к плечу и

растопырив руки.

 - В самом деле, господин Шпинель? Опишите же мне ее!

 - Нет, не могу. Если б я это сделал, я бы дал вам о ней неверное

представление. Проходя мимо этой дамы, я едва успел окинуть ее взглядом,

по-настоящему я ее не видел. Но смутной тени, мелькнувшей передо мной,

было достаточно, чтобы разбудить мое воображение, и я унес с собою

прекрасный образ... Боже, какой прекрасный!

 Она засмеялась:

 - Вы всегда так смотрите на красивых женщин, господин Шпинель?

 - Да, сударыня; и это лучше, чем глазеть грубо и жизнежадно и уносить с

собой воспоминание о несовершенной действительности.

 - Жизнежадно... Вот так слово! Настоящее писательское слово, господин

Шпинель! Но, знаете, оно мне запомнится. Я его немного понимаю, в нем есть

что-то независимое и свободное, какое-то неуважение к жизни, хотя жизнь -

это самая почтенная вещь на свете, это сама почтенность...

 И мне становится ясно, что, кроме осязаемых вещей, существует нечто

более нежное...

 - Я знаю только одно лицо... - сказал он вдруг необычайно радостным и

растроганным голосом, высоко подняв сжатые в кулаки руки и обнажив гнилые

зубы в восторженной улыбке. - Я знаю только одно лицо, которое так

благородно в жизни, что кощунственно было бы исправлять его воображением.

Я бы глядел на него, я бы любовался им не отрываясь, не минутами, не

часами, а всю жизнь, я бы весь растворился в нем и забыл все земное...

 - Да, да, господин Шпинель. Но все же уши у фрейлейн фон Остерло

немного торчат...

 Он умолк и низко опустил голову. Когда он снова выпрямился, глаза его

со смущеньем и болью глядели на маленькую, странную жилку, бледноголубое

разветвление которой болезненно нарушало ясность почти прозрачного лба.

 Чудак, поразительный чудак! Супруга господина Клетериана иногда .думала

о нем, потому что у нее было много времени для раздумья. То ли перестала

действовать перемена климата, то ли появилось какое-то новое вредное

влияние, - но здоровье ее ухудшилось, состояние дыхательного горла

оставляло желать лучшего, она чувствовала себя слабой, усталой, аппетит

пропал, ее часто лихорадило; доктор Леандер самым решительным образом

велел ей соблюдать полный покой и не волноваться. И вот, если ей не

приходилось прилечь, то она сидела в обществе советницы Шпатц, молчала и,

праздно положив рукоделье на колени, задумывалась.

 Да, он заставлял ее задумываться, этот чудаковатый господин Шпинель, и

странно - не столько о нем, сколько о себе самой; каким-то образом он

вызвал в ней странное любопытство, неизвестный ей дотоле интерес к самой

себе. Однажды, среди разговора, он сказал:

 "Загадочное все-таки существо женщина... как это ни старо, все равно

останавливаешься перед ним и только диву даешься. Вот перед тобой чудесное

создание, нимфа, цветок благоуханный, не существо, а мечта.

 И что же она делает? Идет и отдается ярмарочному силачу или мяснику.

 Потом является под руку с ним или даже склонив голову на его плечо и

глядит на всех с лукавой улыбкой, словно говоря: "Пожалуйста, удивляйтесь,

ломайте себе головы!" Вот мы их себе и ломаем..."

 К этим словам не раз возвращались мысли супруги господина Клетериана.

 В другой раз, к удивлению советницы Шпатц, между ними произошел

следующий разговор.

 - Позвольте вас спросить, сударыня (может быть, это нескромно), как вас

зовут, как, собственно, ваша фамилия?

 - Вы же знаете, что моя фамилия Клетериан, господин Шпинель! - Гм...

Это я знаю. Вернее - я это отрицаю. Я имею в виду вашу собственную, вашу

девичью фамилию. Будьте справедливы, сударыня, и согласитесь, что тот, кто

называет вас "госпожа Клетериан", заслуживает, чтобы его высекли.

 Она так искренне рассмеялась, что голубая жилка до ужаса отчетливо

выступила у нее над бровью, придав ее нежному и милому лицу напряженное,

болезненное выражение.

 - Смилуйтесь, господин Шпинель! Высечь! Да неужели "Клетериан"

 такая гадкая фамилия, по-вашему?

 - Да, сударыня, я от всего сердца возненавидел эту фамилию, как только

услышал- ее. Она смешная, можно прийти в отчаяние от ее безобразия, и это

просто варварство и подлость - в угоду обычаю называть вас по фамилии мужа.

 - Ну, а Экхоф? Разве Экхоф красивее? Фамилия моего отца Экхоф!

 - А, вот видите! Экхоф - это уже совсем другое дело! Даже один большой

актер носил фамилию Экхоф. С этой фамилией я помирюсь. Вы упомянули только

об отце. Разве ваша матушка...

 - Да, моя мать умерла, когда я была еще маленькой.

 - Ах, вот как. Расскажите же мне немного больше о себе, прошу вас.

 Но если это вас утомляет, не надо. Тогда - лучше молчите, а я буду

опять рассказывать вам о Париже, как в тот раз. Но вы могли бы говорить

совсем тихо. Правда, если вы будете говорить шепотом, то от этого ваш

рассказ станет только прекраснее... Вы родились в Бремене? - Этот вопрос

он задал почти беззвучно, с благоговейным и значительным выражением, как

будто Бремен - город, не имеющий себе равных, город неописуемых

приключений и скрытых красот, родиться в котором - значит быть отмеченным

таинственной благодатью.

 - Да, представьте себе! - невольно сказала она. - Я из Бремена.

 - Я был там однажды, - произнес он задумчиво.

 - Боже мой, вы и там были? Вы, господин Шпинель, по-моему, видели все,

от Туниса до Шпицбергена.

 - Да, я был там однажды, - повторил он. - Всего несколько часов,

вечером. Я помню старинную узкую улицу, над ее островерхими крышами косо и

странно висела луна. Потом я был еще в погребке, где пахло вином и гнилью.

Это такие волнующие воспоминания...

 - В самом деле? Где же это могло быть? Да, я тоже родилась в таком вот

сером доме с островерхой крышей, в старом купеческом доме с гулкими полами

и побеленной галереей.

 - Ваш батюшка, стало быть, купец? - спросил он, помедлив.

 - Да. Но прежде всего он артист.

 - А! А! В каком же роде?

 - Он играет на скрипке... Но это мало что говорит. Важно, как он

играет, господин Шпинель! При некоторых звуках у меня всегда навертывались

на глаза жгучие слезы, каких у меня больше никог-да не бывало.

 Вы не поверите...

 - Я верю! Ах, верю ли я... Скажите мне, сударыня, семья ваша, конечно,

старинная? Должно быть, уже не одно поколение жило, работало и ушло в

лучший мир в этом сером доме с островерхой крышей?

 - Да... Почему, собственно, вы об этом спрашиваете?

 - Потому что часто случается, что род, в котором живут практические,

бюргерские, трезвые традиции, к концу своих дней вновь преображает себя в

искусстве.

 - Разве?.. Да, что касается моего отца, то он, конечно, больше артист,

чем многие другие, которые именуют себя артистами и живут своей славой.

 А я только немного играю на рояле. Теперь они мне запретили играть, но

тогда, дома, я еще играла. Отец и я, мы играли вдвоем... Да, я люблю

вспоминать эти годы; особенно мне помнится сад, наш сад за домом, страшно

запущенный, весь заросший, кругом облупившиеся, замшелые стены, но именно

от этого он был такой очаровательный. Посредине сада, в плотном кольце

сабельника, бил фонтан. Летом я, бывало, целые часы проводила там с

подругами. Мы сидели на складных стульчиках вокруг фонтана.

 - Как красиво! - сказал господин Шпинель, вздернув плечи. - Вы сидели и

пели?

 - Нет, чаще всего мы вязали.

 - Все равно... всё равно...

 - Да, мы рукодельничали и болтали, шесть моих подружек и я...

 - Как красиво! Боже мой, подумать только, как красиво! - воскликнул

господи" Шпинель, и лицо его исказилось.

 - Да что в этом такого красивого, господин Шпинель?

 - О, то, что шесть их было, кроме вас, что вы не входили в это число, а

выделялись среди них, как королева... Вы были особо отмечены в кругу своих

подруг. Маленькая золотая корона, невидимая, но полная значения, сияла у

вас в волосах...

 - Что за глупости, какая еще корона...

 - Нет, она сияла незримо. Я бы увидел ее, я бы ясно увидел ее у вас в

волосах, если бы, никем не замеченный, спрятался в зарослях в такой час...

 - Один бог ведает, что бы вы увидели. Но вас там не было, зато мой

теперешний муж - вот кто однажды вышел с отцом из кустарника. Боюсь, что

они даже подслушивали нашу болтовню...

 - Там, значит, вы и познакомились с вашим супругом, сударыня?

 - Да, там я с ним и познакомилась, - сказала она громко и весело, и

когда она улыбнулась, нежно-голубая жилка, как-то странно напрягшись,

выступила у нее над бровью. - Он приехал к моему отцу по делам.

 Наследующий день его пригласили отобедать у нас, а еще через три дня он

попросил моей руки.

 - Вот как? Все шло с такой необычайной быстротой?

 - Да... то есть с этого момента все пошло уже немного медленней.

 Отец, собственно, не собирался выдавать меня замуж, он выговорил себе

довольно долгий срок на размышление. Ему хотелось, чтобы я осталась с ним,

кроме того, у него были и другие соображения. Но...

 - Но?..

 - Но я этого хотела, - сказала она, улыбаясь, и снова бледно-голубая

жилка придала ее милому лицу печальное и болезненное выражение.

 - Ах, вы этого хотели.

 - Да, и, как видите, я проявила достаточно твердую волю...

 - Я вижу. Да.

 - ...так что отцу в конце концов пришлось уступить.

 - И вы покинули его и его скрипку, покинули старый дом, заросший сад,

фонтан и шестерых своих подруг и ушли с господином Клетерианом.

 - И ушла... Ну и манера говорить у вас, господин Шпинель! Прямо

библейская!.. Да, я все это покинула, потому что такова воля природы.

 - Да, воля ее, видно, такова.

 - И к тому же дело шло о моем счастье.

 - Разумеется. И оно пришло, это счастье...

 - Оно пришло в тот миг, господин Шпинель, когда мне в первый раз

принесли маленького Антона, нашего маленького Антона, и он закричал во всю

силу своих маленьких здоровых легких, милый наш здоровячек...

 - Вы уже не первый раз говорите мне о здоровье вашего маленького

Антона, сударыня. Он, должно быть, на редкость здоровый ребенок?

 - Да. И он до смешного похож на моего мужа.

 - А!.. Вот как, значит, все это было. И теперь вы уже не Экхоф, вы

носите другую фамилию, у вас есть маленький здоровый Антон, и ваше

дыхательное горло не совсем в порядке.

 - Да... А в и необыкновенно загадочный человек, господин Шпинель, смею

нас уверить...

 - Накажи меня бог, если это не так! - сказала советница Шпатц, тоже,

кстати сказать, сидевшая рядом.

 Супруга господина Клетериапа не раз мысленно возвращалась к этому

разговору. Несмотря на всю его незначительность, в нем таилось нечто

дававшее пищу ее размышлениям о самой себе. И не в этом ли заключалось

вредоносное влияние, которое сказывалось на ней? Слабость ее возрастала, у

нее часто появлялся жар, тихое горение, коему она отдавалась спокойно и

торжественно, проникаясь задумчивостью, жеманностью, самодовольством и

немного обидой. Когда она не лежала в постели и господин Шпинель, с

невероятной осторожностью ступая на носки своих огромных ног, подходил и

замирал в двух шагах от нее, всем туловищем подавшись вперед; когда он

говорил с ней почтительно приглушенным голосом, словно поднимал ее высоко

вверх и бережно, в робком благоговении усаживал на облако, куда не

проникнут резкие звуки, где ничем не напомнит о себе земля, - она

вспоминала, каким тоном произносил свою обычную фразу господин Клетериан:

"Осторожно, Габриэла, take care, мой ангел, не открывай рот!" Топ этот

напоминал сильное и доброжелательное похлопывание но плечу. Но она сразу

же гнала прочь это воспоминание, чтобы чувствовать приятную слабость и

покоиться на облаке, которое предупредительно расстилал для нее господии

Шпинель.

 Однажды она без всякого повода вернулась к разговору относительно

своего происхождения и юности.

 - Значит, вы бы, господин Шпинель, - сказала она, - непременно увидели

корону?

 И хотя говорили они об этом недели две назад, он тотчас же понял, о чем

идет речь, и взволнованно стал уверять ее, что тогда, у фонтана, где она

сидела среди шести своих подруг, он непременно увидел бы, как сияет, как

незримо сияет корона у нее в волосах.

 Несколько дней спустя один из пациентов вежлива осведомился у нее, как

поживает сейчас маленький Антон. Она бросила быстрый взгляд на господина

Шпинеля, который был при этом, и со скучающим видом ответила:

 - Благодарю вас; как же ему поживать? У него и у моего мужа дела хороши.

 В конце февраля, в морозный день, более ясный и более ослепительный,

чем вес предыдущие, "Эйнфрид" охватила веселая суета. Больные, страдавшие

пороком сердца, беседовали так оживленно, что на щеках у них выступил

румянец, генерал-диабетик напевал, как мальчишка, а господа, не

справлявшиеся со своими ногами, были положительно вне себя. Что случилось?

Нечто весьма важное: решено было устроить катанье, поехать в горы - на

нескольких санях, под щелканье бичей и звон колокольчиков:

 Доктор Леандер придумал это для развлечения своих пациентов.

 Конечно, "тяжелые" должны были остаться дома. Бедняги "тяжелые"!

 Выразительно поглядывая друг на друга, все остальные сговорились скрыть

от них эту затею: ведь так приятно иногда проявить сострадание и показать

свою чуткость. Но дома остался и кое-кто из тех, что отлично могли бы

участвовать в увеселительной поездке. Что касается фрейлейн фон Остерло,

то на нее никто не был в претензии. Люди, обремененные столь

многочисленными обязанностями, не могут позволить себе такой роскоши, как

катанье на санках. Хозяйство настоятельно требовало ее присутствия; одним

словом, она осталась в "Эйнфриде". Но что супруга господина Клетериапа

тоже изъявила желание остаться дома, это уж совсем никуда не годилось.

Напрасно твердил ей доктор Леандер, что свежий воздух будет для нее

благотворен, она уверяла, что у нее нет настроения кататься, что она

страдает мигренью, что чувствует себя плохо, и в конце концов пришлось ей

уступить. Упомянутому уже ранее остряку и цинику это дало повод заметить:

"Вот посмотрите, теперь гнилой сосунок тоже не поедет".

 И он оказался прав: господин Шпинель заявил, что хочет сегодня

поработать: он очень любил обозначать свою сомнительную деятельность

словом "работать". Впрочем, его отказ от поездки ровно никому не причинил

огорчения, и так же легко все примирились с решением советницы Шпатц: она

предпочла остаться в обществе своей подруги, так как от всякой езды ее

укачивало.

 Сразу же после обеда, который сегодня состоялся уже в двенадцать часов,

к "Эйнфриду" подали сани, и группы пациентов, оживленных, тепло укутанных,

взволнованных и любопытных, направились к ним через сад.

 Супруга господина Клетериана и советница Шпатц стояли у застекленной

двери, выходившей на террасу, а господин Шпинель - у окна своей комнаты, и

смотрели на отъезжающих. Им было видно, как среди шуток и смеха

разыгрывались маленькие сражения за лучшие места, как фрейлейн фон

Остерло, с боа на шее, бегала от одной упряжки к другой и совала под

сиденья корзины с провизией, как доктор Леандер, в надвинутой на лоб

меховой шапке, еще раз окинул взглядом, сверкнув очками, всю процессию, а

затем уже уселся сам и подал знак кучеру... Лошади тронули, кто-то из дам

завизжал и повалился на сдинку саней, зазвенели бубенчики, защелкали кнуты

с короткими кнутовищами, длинные их бечевки поползли по снегу за

полозьями, а фрейлейн фон Остерло все еще стояла у решетчатой калитки и

махала носовым платком до тех пор, пока сани не скрылись за поворотом

шоссе и не улегся веселый шум. Когда она пошла через сад обратно, чтобы

немедля приступить к своим обязанностям, обе дамы отошли ют застекленной

двери, и почти одновременно с ними покинул свой наблюдательный пост

господин Шпинель.

 В "Эйнфриде" наступила тишина. Экскурсантов нечего было и ждать раньше

вечера. "Тяжелые" лежали по своим комнатам и мучились. Супруга господина

Клетериана и ее старшая приятельница немного погуляли, а потом каждая ушла

к себе. Господин Шпинель также находился у себя и "работал". Около четырех

часон дамам принесли ир пол-литра молока, а господин Шпинель получил свой

обычный жидкий чай. Вскоре после этого супруга господина Клетериана

постучала в стену, отделявшую со комнату от комнаты советницы Шпатц, и

сказала:

 - Но спуститься ли нам и гостиную, госпожа советница? Здесь мне делать

уже решительно нечего.

 - Сию минуту, дорогая, - отвечала советница. - Я только обуюсь, с

вашего позволенья. Я, знаете ли, прилегла на минутку.

 Как и следовало ожидать, гостиная была пуста. Дамы уселись у камина.

 Советница Шпатц занялась вышиванием цветов на холсте, супруга господина

Клотериана тоже сделала несколько стежков, но затем уронила рукоделье на

колени и, облокотившись на ручку кресла, мечтательно уставилась в пустоту.

Наконец она сделала какоо-то замечание, которое даже но стоило того, чтобы

ради него раскрывали рот; но так как советница Шпатц переспросила: "Что вы

сказали?" - то ей, к стыду своему, -пришлось повторить всю фразу.

Советница Шпатц еще раз спросила: "Что?"

 Но тут из передней послышались шаги, и в гостиную вошел господин

Шпинель.

 - Я но помешаю? - спросил он мягким голосом, еще не переступив порога;

как-то плавно и нерешительно подавшись туловищем вперед, он глядел только

на супругу господина Клетериана.

 - Да ист, отчего же? - отвечала молодая женщина. - Во-первых,

назначение этой комнаты быть открытым портом, а потом - чем вы можете нам

помешать? Я уверена, что уже наскучила советнице...

 На это он ничего не ответил, только улыбнулся, показав свои гнилые

зубы, и неловкой походкой, чувствуя на себе взгляды обеих дам, направился

к застекленной двери; там он остановился и стал смотреть через стекло,

довольно неучтиво повернувшись к дамам спиной,. Затем он сделал

пол-оборота в их сторону, продолжая, однако, глядеть в сад, и сказал:

 - Солнце село. Небо незаметно заволокло. Уже темнеет.

 - И правда, на все легла тень, - отвечала супруга господина Клеториана.

- Похоже на то, что наших экскурсантов застигнет снегопад. Вчера в это

ирсмя день был еще в разгаре. А сейчас ужо смеркается.

 - Ах, - сказал он, - после всех этих ослепительно ярких недель темнота

даже приятна для глаз. Я, право, даже благодарен этому солнцу, освещающему

с назойливой ясностью и прекрасное и низкое, за то, что оно наконец-то

немного померкло.

 - Неужели вы не любите солнце, господин Шпинель?

 - Я ведь не живописец... Вез солнца становишься сосредоточеннее.

 Вот толстый слой серо-белых облаков. Может быть, он означает, что

завтра будет оттепель. Между прочим, сударыня, я посоветовал бы вам не

утомлять в потемках глаза рукодельем.

 - Ах, не беспокойтесь, я и так ничего не делаю. Но чем же нам заняться?

 Он опустился на табурет-вертушку возле пианино и оперся одной рукой о

крышку инструмента.

 - Музыка... - сказал он. - Послушать бы хоть немного музыки! Иногда

английские дети поют здесь коротенькие nigger-songs [Негритянские песенки

(англ.)] - и это все.

 - А вчера под вечер фрейлейн фон Остерло наспех сыграла "Монастырские

колокола", - заметила супруга господина Клетериана.

 - Но ведь вы же играете, сударыня, - просительно проговорил он и

поднялся. - Вы ведь прежде каждый день музицировали с вашим батюшкой.

 - Да, господин Шпинель, но это было давно! Во времена фонтана...

 - Сыграйте сегодня! - попросил он. - Дайте мне один-единственный раз

послушать музыку! Если бы вы знали, как я томлюсь!

 - Наш домашний врач, да и доктор Лёандер тоже, решительно запретили мне

играть, господин Шпинель.

 - Но ведь их здесь нет, ни того, ни другогоГ Мы свободны... Вы

свободны, сударыня! Всего лишь несколько аккордов...

 - Нет, господин Шпинель, это невозможно. Кто знает, каких чудес вы

отмени ждете! А я, поверьте мне, совсем разучилась играть. Наизусть я

почти ничего не помню.

 - О, так сыграйте это "почти ничего"; К тому же здесь есть и ноты, вот

они лежат на пианино. Не эти, это ерунда. А вот, смотрите, Шопен...

 - Шопен?

 - Да, ноктюрны. Сейчас, я только зажгу свечи...

 - Не думайте, что я буду играть, господин Шпинель? Мне нельзя.

 Вдруг это мне повредит?..

 Он умолк. Большеногий, седоволосый, безбородый, освещенный двумя

свечами, горевшими на пианино, он стоял, опустив руки.

 - Ну что ж, больше не буду просить, - сказал он наконец тихо. - Если вы

бойтесь причинить себе вред, сударыня, то пусть молчит, пусть будет мертва

красота, которая могла бы зазвучать под вашими пальцами.

 Не всегда вы были так благоразумны; уж во всяком случае, не тогда,

когда вы, наоборот, сами отказались от красоты. Покидая фонтан и снимая

маленькую золотую корону, вы не очень-то пеклись о своем здоровье и

проявили гораздо больше решительности и твердости... Послушайте, - сказал

он после паузы, и голос его стал еще тише, - если вы сейчас здесь сядете и

сыграете, как прежде, в те времена, когда рядом с вами стоял отец и звуки

его скрипки вызывали у вас слезы... то может случиться, что она вновь

незримо засияет у вас в волосах - маленькая золотая корона...

 - Правда? - спросила она и улыбнулась... У нее вдруг пропал голос, и

одну половину этого слова она произнесла хрипло, а Другую беззвучно.

 Она кашлянула и сказала: - Правда, что это у вас ноктюрны Шопена?

 - Конечно. Ноты раскрыты, и все готово.

 - Ну, тогда я, благословясь, сыграю один из них, - сказала она. - Но

только один, слышите? Впрочем, больше вам и самому не захочется.

 С этими словами она поднялась, отложила рукоделье и подошла к пианино.

Она села на табурет-вертушку, на котором лежало несколько томов нот,

поправила подсвечники и стала перелистывать ноты. Господин Шпинель

подвинул стул и уселся рядом с ней, как учитель музыки.

 Она сыграла ноктюрн ми-бемоль мажор, опус 9, номер 2. Хотя она

действительно отвыкла играть, чувствовалось, что когда-то ее исполнение

было подлинно артистическим. Инструмент был неважный, но уже с первых

тактов она обнаружила в обращении с ним безошибочный вкус. В том, как она

меняла окраску звука, сквозил настоящий темперамент, невероятная

ритмическая подвижность ноктюрна доставляла eй явное удовольствие. Удар у

нее был твердый и вместе с тем мягкий. Во всей своей прелести лилась

из-под ее пальцев мелодия, и с изящной неторопливостью сопровождал мелодию

аккомпанемент.

 Она была одета так же, как в день приезда: в темный плотный жакет с

выпуклыми бархатными узорами, придававший неземную хрупкость ее лицу и

рукам. Во время игры выражение ее лица не менялось, но очертания губ,

казалось, сделались еще яснее и сгустились тени в уголках глаз.

 Окончив игру, она сложила руки на коленях, продолжая глядеть на ноты.

 Господин Шпинель не проронил ни звука и не шелохнулся.

 Она сыграла еще один ноктюрн, затем второй, третий. Потом она поднялась

- но только для того, чтобы поискать еще другие ноты на верхней крышке

пианино. Господин Шпинель стал просматривать тома в черных переплетах,

лежавшие на табурете-вертушке. Вдруг он издал какой-то нечленораздельный

звук, и его большие белые руки стали судорожно листать одну из этих

забытых книг.

 - Не может быть!.. Неправда... - сказал он. - Но нет, я не ошибся!..

 Знаете, что это?.. Что здесь лежало... Что у меня в руках?..

 - Что же? - спросила она.

 Он молча указал на титульный лист. Он был бледен как полотно.

 Уронив ноты, он смотрел на нее, и губы у него дрожали.

 - В самом деле? Как это попало сюда? Ну-ка, дайте, - сказала она

просто, поставила ноты на пюпитр, и через мгновение - тишина длилась не

дольше - начала играть первую страницу.

 Он сидел рядом с ней, подавшись вперед, сжав руки коленями и опустив

голову. Вызывающе медленно, томительно растягивая паузы, сыграла она

первые фразы. Тихим, робким вопросом прозвенел мотив, полный страстной

тоски, одинокий, блуждающий в ночи голос. Ожидание и тишина. Но вот уже

слышен ответ: такой же робкий и одинокий голос, только еще отчетливее, еще

нежнее. И снова молчанье. Потом чудесным, чуть приглушенным сфорцандо, в

котором были и взлет, и блаженная истома страсти, полился напев любви,

устремился вверх, в восторге взвился, замер в сладком сплетенье и,

освобожденный, поплыл вниз, а там мелодию подхватили виолончели и повели

свою глубокую песнь о тяжести и боли блаженства...

 Не без успеха пыталась пианистка воспроизвести на этом жалком

инструменте игру оркестра. Стремительно нараставшие скрипичные пассажи

прозвучали с ослепительной точностью.. Она играла в молитвенном

благоговении, веря каждому образу и передавая каждую деталь так же

подчеркнуто и так же смиренно, как священник поднимает дароносицу.

 Что здесь происходило? Две силы, два восхищенных существа стремились

друг к другу; блаженствуя и страдая, они сплетались в безумном восторге, в

неистовой жажде вечного и совершенного... Вступление вспыхнуло и угасло.

Она остановилась на том месте, где раздвигается занавес, и молча смотрела

на ноты.

 Между тем скука, овладевшая советницей Шпатц, достигла той степени,

когда она искажает человеческий облик, когда глаза вылезают из орбит и на

лице появляется страшное, мертвенное выражение.,К тому же эта музыка

подействовала на ее желудочные нервы, она привела в состояние страха

пораженный диспепсией организм, и теперь советница опасалась спазм в

желудке.

 - Я должна пойти к себе, - сказала она расслабленным голосом Всего

доброго, я скоро вернусь...

 И ушла. Сумерки уже сгустились. Через стекло было видно, как тихо

падает на террасу густой снег. Свет от обеих свечей был неровный и слабый.

 - Второе действие, - прошептал он; она перевернула несколько страниц и

начала второе действие.

 Звуки рога замерли вдалеке. Или, может быть, это был шелест листвы?

 Или журчанье ручья? Ночь уже разлила тишину над домом и рощей; никаким

призывам, никаким мольбам теперь уже не заглушить велений страсти.

Таинство свершилось. Светильник погас, в каком-то новом, неожиданно глухом

тембре зазвучал мотив смерти, и страсть в лихорадочном нетерпении

простерла по ветру свое белое покрывало навстречу возлюбленному, который,

раскрыв объятия, шел к пей сквозь мрак.

 О, не знающий меры, ненасытный восторг соединения в вечности, но ту

сторону земного! Освободившись от мучительных заблуждений, уйдя от оков

пространства и времени, ты и я, твое и мое слились для высшей радости.

Коварному призраку дня удалось разлучить их, но его хвастливая ложь но

обманула видящих в ночи, прозревших от глотка волшебного зелья. Кто увидел

ночь смерти и тайную прелесть ее глазами любви, у того в безумии дня

осталось одно желание, одна страсть - тоска по священной ночи, вечной,

истинной, соединяющей...

 О, приди же, спустись, ночь любви, принеси им желанное забвенье,

раствори их в своем блаженстве, вырви их из мира лжи и разлуки! Смотри,

последний светильник погас! Мысль и воображение погрузились в священный

сумрак, освобождающий от мира, от мук безумья. И даже когда призрак

померкнет, когда помутнеет от восторга мой взгляд - я буду знать, чего

лишал меня лживый свет дня, что противополагал он моей страсти, обрекая се

на неизбывную муку, - даже тогда (о, чудо свершенья!), даже тогда я - это

мир... И вслед мрачным предостережениям Брангены взлетели голоса скрипок,

и взлет их был выше всякого разума.

 - Я не все понимаю, господин Шпинель; о многом я только догадываюсь.

Что это, собственно, значит: "даже тогда я - это мир".

 Он объяснил ей это, тихо и кратко.

 - Да, верно... Как же вы не умеете играть то, что так хорошо понимаете?

 Странно, по он по выдержал этого безобидного вопроса. Он покраснел,

начал ломать руки, весь как-то осел вместе со своим стулом.

 - Это редко совпадает, - запинаясь от муки, проговорил он наконец. -

Нет, играть я не умею! Продолжайте же.

 И они погрузились в хмельные напевы мистерии. Разве любовь умирает?

Любовь Тристана? Любовь твоей и моей Изольды? О нет, она вечна, и смерть

но досягает ее! Да и что может умереть, кроме того, что нам мешает, что

вводит нас в обман и разделяет слившихся воедино? Сладостным союзом

соединила их обоих любовь... смерть нарушила его, но разве может бить для

любого из них иная смерть, чем жизнь, отделенная от жизни другого?

Таинственный дуэт соединил их в той безымянной надежде, которую дарит

смерть в любви, - надежде на нескончаемое, неразрывное объятие в волшебном

царстве ночи! Сладостная ночь! Вечная ночь любви!

 Всеобъемлющая обитель блаженства! Разве может тот, кто в грезах своих

увидел тебя, не ужаснуться пробуждению, возвращающему в пустыню дня?

Прогони страх, милая смерть] Освободи тоскующих от горести пробужденья! О,

неукротимая буря ритмов! О, хроматический порыв в восторге метафизического

познания! Как познать, как отринуть блаженство этой ночи, не знающей мук

расставанья? Кроткое томление без лжи и страха, величественное угасание

без боли, блаженное растворение в бесконечности! Ты Изольда, я Тристан,

нет больше Тристана, нет Изольды...

 Вдруг случилось нечто страшное. Пианистка оборвала игру и, проведя

рукой по глазам, стала вглядываться в темноту, а господин Шпинель резка

повернулся на стуле. Сзади отворилась дверь, и темная фигура, опираясь на

руку другой такой же темной фигуры, вошла из коридора в гостиную.

 Это была одна из постоялиц "Эйнфрида", тоже по пожелавшая участвовать в

катанье и в этот вечерний час, как всегда, пустившаяся в свой

бессознательный и печальный обход, больная, которая произвела на свет

девятнадцать детей и больше уже не могла ни о чем думать - пасторша

Геленраух в сопровождении сиделки. Не поднимая глаз, неверными шагами

просеменила она в глубину комнаты к противоположной стене к исчезла -

немая, оцепенелая, беспокойная и безумная... Стояла тишина.

 - Это пасторша Геленраух, - сказал он.

 - Да, это бедная Геленраух, - сказала она. Затем она перелистала ноты и

сыграла финал - смерть Изольды.

 Как бледны, как резко очерчены были ее губы, какими глубокими стали

тени в уголках глаз! На ее прозрачном лбу, над бровью, внушая тревогу, все

яснее и яснее проступала трепещущая бледно-голубая жилка. Под ее руками

шло невероятное нарастание звуков, сменившееся внезапным, почти нечестивым

пианиссимо, которое было как почва, ускользающая изпод ног, как огромное,

всепоглощающее желание. Всеразрешающий восторг великого свершенья

прозвучал, повторился; долго не смолкала буря безграничного

удовлетворения, но и она стала стихать, и казалось только, что, замирая,

она еще раз вплетает в свою гармонию мелодию страстной тоски; наконец она

устала, затихла, отшумела, ушла. Глубокая тишина.

 Они оба прислушались; они склонили головы набок и слушали.

 - Это бубенцы, - сказала она.

 - Это сани, - сказал он. - Я ухожу.

 Он встал и прошел через всю комнату. В глубине у двери он задержался,

обернулся и постоял, переминаясь с ноги на ногу. А потом вышло так, что в

пятнадцати или двадцати шагах от нее он упал на колени, молча, на оба

колена. Полы его длинного черного сюртука расстелились по полу. Он сложил

руки у самого рта, плечи его дрожали.

 Она сидела спиной к пианино, опустив руки на колени, подавшись вперед,

и емотрела на него. Нелепая, печальная улыбка была на ее лице, а глаза ее

вглядывались.в полумрак с таким напряжением, что казалось, они вот-вот

закроются.

 Издалека все громче доносились звон колокольчиков, щелканье бичей и гул

человеческих голосов.

 Катанье на санках, о котором еще долго шли разговоры, состоялось"

 26 февраля. 27 февраля была оттепель, кругом все таяло, капало, лило,

текло; в этот день супруга господина Клетериана чувствовала себя

превосходно. 28тго у нее сделалось кровохарканье... о, крови вышло

немного; но это была кровь. Тогда же ею вдруг овладела слабость -

небывалая слабость, - и она слегла.

 Доктор Леандер осмотрел ее, сохраняя при этом непроницаемо холодное

лицо. Затем, согласно требованиям науки, прописал: кусочки льда, морфий,

полный покой. Кстати сказать, из-за чрезмерной занятости он на следующий

же день передал наблюдение над больной доктору Мюллеру, которым и взял его

на себя со всей кротостью, какой от него требовали долг и контракт;

скромная и бесславная деятельность этого ничем не примочат тельного,

тихого, бледного человека была посвящена или почти здоровым, ил и

безнадежно больным.

 Прежде всрго он нашел, что разлука супругов Клетериан слишком

затянулась и что господину Клетериану,если только: позволят дела eго

процветающей фирмы, следовало бы еще разок навестить "Эйнфрид":

 Надо бы ему написать и ли;-скажем, послать коротенькую-телеграмму...

 И, конечно, он осчастливит молодую мать и придаст ей сил, привезя с

собой маленького Антона,не говоря уж о том, что врачам будет просто

интересно познакомиться с этим маленьким здоровячком.

 И вот, пожалуйста, господин Клетериан уже здесь. Он получил телеграмму

доктора-Мюллера и приехал с Балтийского побережья. Выйдя из экипажа,

он-тотчас же спросил кофе и сдобных булочек, вид у него при этом, надо

сказать, был самый обескураженный.

 Сударь, - спросил, он, - в чем дело? Почему меня вызвали к ней?

 Потому что. весьма желательно, - отвечал доктор Мюллер, - чтобы вы

теперь находились вблизи вашей супруги.

 - Желательно... Желательно... А есть ли в этом необходнаюсть?

 Я должен жить по средствам, сударь, времена теперь скверные, а железная

дорога иедешева. Разве нельзя было обойтись без этой поездки? Я бы ничего

не стал говорить, если бы у нес были, например, больные легкие; но ведь,

слава богу, это только дыхательное горло...

 Господин Клетериан, - мягко сказал доктор Мюллер, - во-первых,

дыхательное горло - весьма важный орган... - Он неправильно употребия

выражение "во-первых", ибо никакого "во-вторых" за ним не последовало.

 Одновременно с господином Клетерианом в "Эннфриде" появилась пышная

особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного. Она-то и носила

на руках Антона Клетериана-младшего, этого маленького здоро-...

 вячка. Да, он тоже был здесь, и все должны были согласиться, что

здоровье у него и впрямь отменное. Розовый, белый, в чистом, свежем

костюмчике, толстенький и душистый, он сидел на голой красной руке своей

ярко одетой няни, поглощал огромное количество молока и рубленого мяса,

кричал и вообще давал волю своим инстинктам.

 Прибытие молодого Клетериана писатель Шпинель наблюдал из окна своей

комнаты. Когда ребенка несли из экипажа в дом, он посмотрел; на него

как-то странно - мутными глазами и в то жр время пронзительно - и долго

еще- сидел неподвижно, все с тем же выражением лица.

 С этих пор он всячески избегал встреч с Антоном Клетерианом-младшпм...

 Господин Шпинель сидел у себя в комнате и "работал".

 Комната его была такая же, как все комнаты в "Эйнфридс", - старомодная,

простая и изысканная. Массивный комод украшали металлические львиные

головы, высокое стенное зеркало состояло из множества маленьких квадратных

пластинок в свинцовой оправе, синеватый, блестящий, не застланный ковром

каменный пол, казалось, удлинял ножки мебели ясными, застывшими

отражениями. У окна, которое романист затянул желтой гардиной, - наверно,

для того, чтобы сосредоточиться, - стоял просторный письменный стол.

 В желтоватом сумраке склонился он над доской секретера и писал - писал

одно из тех многочисленных писем, которые каждую неделю отсылал на почту и

на которые, как это ни смешно, по большей части не получал ответа. Перед

ним лежал большой лист плотной бумаги. В левом верхнем углу листа, под

замысловато изображенным пейзажем, новомодными буквами было напечатано

"Детлеф Шпинель". Он писал мелким, хорошо выписанным и на редкость

аккуратным почерком.

 "Милостивый государь! - писал он. - Я пишу Вам эти строки, ибо не могу

иначе, ибо то, что я должен Вам сказать, переполняет меня, мучает и

приводит в дрожь, слова захлестывают меня таким стремительным потоком, что

я бы задохнулся, если бы не излил их в этом письме..."

 Честно говоря, "стремительный поток" нимало по соответствовал

действительности, и одному богу известно, какие суетные побуждения

заставили господина Шпинеля упомянуть о нем. Слова отнюдь не захлестывали

его, напротив, писал он огорчительно медленно для писателяпрофессионала,

и, взглянув на него, можно было подумать, что писатель - это человек,

которому писать труднее, чем прочим смертным.

 Он крутил двумя пальцами один из нелепых волосков, росших у него на

щеках, крутил, наверно, не менее часа, уставившись в пустоту, причем за

это время в письме его по прибавилось ни одной строчки, затем он написал

несколько изящных слов, после чего снова застрял. Нужно, однако, признать,

что в конечном счете письмо его оказалось написано довольно гладким и

живым слогом, хотя содержание его и было несколько причудливо, сомнительно

и местами даже мало понятно.

 "Я испытываю, - так продолжалось письмо, - неодолимую потребность

заставить Вас увидеть то, что вижу я сам, что вот уже несколько недель

стоит передо мной неугасимым видением, увидеть моими глазами и в том

освещении, в каком это вижу я. Я привык уступать силе, велящей мне с

помощью незабываемых, словно огнем выжженных и неукоснительно точно

расставленных слов делать мои переживания достоянием всего мира.

 Поэтому выслушайте меня.

 Мне хочется только одного - рассказать о том, что было и что есть,

рассказать без комментариев, обвинений и сетований, просто, своими

словами, короткую, несказанно возмутительную историю. Это история Габриэлы

Экхоф, той женщины, сударь, которую Вы называете своей женой... Так вот,

знайте: Вы пережили эту историю, но событием в Вашей жизни она станет

только благодаря мне, только благодаря моим словам.

 Помните ли Вы сад, сударь, старый, запущенный сад позади серого

патрицианского дома? Зеленым мхом поросли трещины полуразрушенных стен,

окружавших это мечтательное запустение. Помните ли Вы фонтан в глубине

сада? Над ветхим его бассейном склонились лиловые лилии, и с таинственным

журчанием падала на разбитые камни светлая струя.

 Летний день был на исходе.

 Семь дев сидели кружком у фонтанга, и в волосы седьмой, но первой и

единственной, заходящее солнце, казалось, вплело знак неземного величия.

Пугливым сновидениям были подобны ее глаза, но губы ее улыбались...

 Они пели. Узкие лица их были обращены к вершине струи, к усталому,

благородному изгибу, где начиналось ее падение, тихие звонкие голоса

парили вокруг пляшущей воды. Возможно, что они пели, охватив колени своими

нежными руками...

 Помните ли Вы эту картину, сударь? Видели ли Вы ее? Вы ее не видели.

 Не те у Вас были глаза, не те уши, чтобы воспринять ее целомудренную

прелесть. Видели ли Вы ее?.. Вам бы затаить дыхание, Вам бы запретить

биться своему сердцу. Вам бы уйти, уйти в жизнь, в Вашу жизнь, и до конца

дней своих, как сокровенную и неприкосновенную и великую святыню, хранить

в душе то, что Вы увидели. А что сделали Вы?

 Картина эта была концом, сударь; зачем же Вам понадобилось прийти и

нарушить ее, продолжить в пошлости и безобразных страданьях? Это был

трогательный и мирный апофеоз, окутанный вечерним светом упадка, гибели,

угасания. Старая семья, слишком благородная и слишком усталая, для того

чтобы жить и действовать, у конца своих дней, и последнее, в чем она

выражает себя, - это звуки музыки, несколько тактов на скрипке,

исполненных вещей тоски обреченности... Видели Вы глаза, на которые

наворачивались слезы при этих звуках? Возможно, что души шести подруг

принадлежали жизни; душа их сестры и повелительницы принадлежала красоте и

смерти.

 Вы видели ее, эту красоту смерти. Вы смотрели на нее, смотрели

вожделея. Ничего похожего на благоговение или страх не вызвала у Вас в

душе трогательная ее святость. И Вы не пожелали довольствоваться

созерцанием: нет, Вам надо было взять, получить, осквернить... Вы гурман,

сударь, Вы плебей-гурман, Вы мужлан со вкусом.

 Прошу Вас иметь в виду, что у меня нет ни малейшего желания оскорблять

Вас. Мои слова не брань, а формула, простая психологическая формула для

обозначения несложной, не представляющей никакого литературного интереса

личности, каковою являетесь Вы, и если я прибегаю к этим словам, то лишь

желая уяснить Вам Ваши же собственные действия и Вашу сущность; такова уж

моя неизбежная обязанность в этом мире - называть вещи своими именами,

заставлять говорить,-разъяснять неосознанное. Мир полон того, что я

называю "неосознанным типом", и мне они невмоготу, все эти неосознанные

типы! Мне невмоготу вся эта бесчувственная, слепая, бессмысленная жизнь,

вся эта суета; меня раздражает этот мир наивности вокруг меня! Меня мучит

неодолимое желание - в меру сил своих объяснить, выразить, осознать

окружающее меня бытие, и мне безразлично, помогу я этим или помешаю,

принесу ли радость и облегчение или причиню боль.

 Вы, сударь, как я уже сказал, плебей-гурман. Вы мужлан со вкусом, Вы

человек грубого склада, стоящий на низшей ступени развития. Богатство и

сидячий образ жизни привели Вашу нервную систему в состояние такого

неожиданного, противоестественного, варварского разложения, которое

неминуемо влечет за собой потребность в сладострастной утонченности

наслаждений. Весьма вероятно, что, когда Вы решили завладеть Габриэлой

Экхоф, Вы непроизвольно чмокнули, словно отведав превосходного супа или

какого-нибудь редкого блюда...

 По существу, Вы направляете ее мечтательную волю по неверному пути, Вы

уводите ее из запущенного сада в жизнь, в уродливый мир, Вы даете ей свою

заурядную фамилию, превращаете ее в жену, в хозяйку, Делаете ее матерью.

Вы унижаете усталую, робкую, цветущую в своем возвышенном самодовленйй

красоту смерти и заставляете ее служить пошлой обыденности и тому тупому,

косному, презрённому идолу, который называют природой. В Вашем сознании

мужлана нет и тени представления о всей низости Ваших действий.

 Итак, что же происходит? Та, глаза которой подобны пугливым

сновидениям, дарит Вам сына; она отдает этому существу, призванному

продолжать низменное бытие родителя, всю свою кровь, все, что в ней еще

осталось от жизни, - и умирает. Она умирает, милостивый государь! И если

конец ее свободен от пошлости, если в преддверии его она поднялась из

глубины своего унижения, чтобы в гордом блаженстве принять смертельный

поцелуй красоты, то об этом позаботился я. А у Вас была другая забота - Вы

развлекались с горничными в темных коридорах.

 Зато Ваш ребенок, сын Габриэлы Экхоф,-процветает, живёт, торжествует.

Возможно, что он пойдет по стопам отца и станет купцом, исправным

налогоплательщиком, любителем хорошо покушать; может быть, он станет

солдатом или чиновником, слепой и усердной опорой государства. Так или

иначе, из него получится существо, чуждое музам, нормальное, беззаботное и

уверенное, сильное и глупое.

 Знайте, милостивый сударь, что я ненавижу Вас и Вашего сына, как

ненавижу самую жизнь, олицетворяемую Вами, пошлую, смешную и тем не менее

торжествующую жизнь, вечную противоположность красоты, ее заклятого врага.

Не смею сказать, что я Вас презираю. Я честен. Из нас двоих Вы сильнейший.

Единственное, что я могу противопоставить Вам в борьбе, - это достойное

оружие мести слабосильного человека - слово и дух. Сегодня я

воспользовался этим оружием. Ведь это письмо, - я честен и здесь,

милостивый государь, - и есть акт мести; и если хоть одно слово в нем

достаточно остро, достаточно блестяще и красиво, чтобы кольнуть Вас, чтобы

заставить Вас почувствовать чужую силу, чтобы хоть на мгновение вывести

Вас из Вашего толстокожего равновесия - то я торжествую.

 Детлеф Шпинель".

 Господин Шпинель запечатал конверт, наклеил марку, изящным почерком

написал адрес и отправил письмо на почту.

 С видом человека, решившегося на самые энергичные действия, господин

Клетериан стучался в дверь господина Шпинеля; в руках он держал большой

лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Почта сделала свое дело,

письмо пошло положенным ему путем и, совершив странное путешествие из

"Эйнфрида" в "Эйнфрид", попало "в собственные руки"

 адресата. Было четыре часа дня.

 Когда господин Клетерман вошбл в комнату, господин Шпинель сидел на.

динане и читал свой собственный роман с обескураживающим, странным

рисунком на обложке. Он поднялся и, как человек, застигнутый врасплох,

вопросительно взглянул на посетителя, сильно при этом, однако, покраснев.

 .. - Добрый день, - сказал господии Клетернап. - Извините, что я

помешал нашим занятиям. Но позвольте спросить - не вы ли это писали? - Он

поднял левую руку, державшую большой, "списанный аккуратным почерком лист

бумаги, и хлопнул но нему тыльной стороной правой ладони, отчего бумага

громко зашуршала. Затем он засунул правую руку в карман своих широких,

удобных брюк, склонил голову набок и раскрыл рот, как-то делают иные,

приготовившись слушать.

 Как ни странно, по на лицо господина-Шпинеля появилась улыбка,

предупредительная, немного смущенная и как бы извиняющаяся. Он потер рукой

голову, словно что-то припоминая, и сказал:

 - Ах; верно... да... я позволил себе...

 Дело было в том, что сегодня он дал себе волю и проспал до полудня.

 Теперь он страдал от угрызений совести, голова у него кружилась, он

чувстпонал себя взвинченным и неспособным ни на какое сопротивление.

 К тому же веянье весеннего воздуха вызвало у него слабость и настроило

ого на пессимистический лад. Все это нужно принять во внимание, чтобы

объяснить его весьма нелепое поведение в разыгравшейся сцене.

 - Ага! Вот как! Хорошо! - сказал господин Клетериан, он прижал

подбородок к груди, поднял брови, вытянул вперед руки, - словом, сделал

множество приготовлений, чтобы после своего чисто формального вопроса

безжалостно перейти к сути дела. Из самодовольства он эти приготовления

несколько затянул; то, что за ними последовало, не вполне отвечало грозной

обстоятельности мимической подготовки. Однако господин Шпинель заметно

побледнел.

 - Очень хорошо! - повторил господин Клетериан. - В таком случае,

дорогой мой, позвольте ответить вам устно, поскольку, на мой взгляд,

идиотство писать длиннейшие письма людям, с которыми можно в любой момент

поговорить.

 - Ну... уж и идиотство... - протянул господин Шпинель с извиняющейся,

даже подобострастной улыбкой. - - Идиотство! - повторил господии Клетериан

и стал энергично трясти головой, чтобы показать, сколь непоколебима его

уверенность в своей правоте. - Я бы и словом не удостоил эту писанину, я

бы - честно скажу - побрезговал завернуть в нее бутерброд, если б она

кое-что но объяснила мне, не сделала понятным некоторое изменение...

Впрочем, это вас не касается и к делу но относится. Я деловой человек, и у

меня есть другие заботы, кроме ваших невыразимых видений...

 - Я написал "неугасимое видение", - сказал господин Шпинель к

выпрямился. Это был единственный момент их разговора, когда он проявил

достоинство.

 - "Неугасимое... невыразимое..." - ответил господин Клетериан и

заглянул в рукопись. - У вас отвратительный почерк, уважаемый; я бы не

взял вас к себе в контору. На первый взгляд кажется, что он четкий, а

приглядишься - видны пропуски и неровности. Но это дело ваше, меня это не

касается. Я пришел сказать вам, что, во-первых, вы шут гороховый, -

впрочем, это, надеюсь, вы и сами знаете. Но, кроме того, вы большой трус,

думаю, что и это мне незачем вам подробно доказывать. Жена мне как-то

писала, что, встречаясь с женщинами, вы не смотрите им в лицо, а только

искоса поглядываете на них, вы хотите унести с собой красивый образ и

боитесь действительности. К сожалению, она потом перестала рассказывать о

вас в своих письмах, а то бы я узнал много всяких историй. Такой уж вы

человек. Каждое третье слово у вас "красота", а в сущности, вы трус,

тихоня и завистник. Отсюда-то и ваше нахальное замечание насчет "темных

коридоров"; вы думали меня им сразить, а оно меня только позабавило,

позабавило - и все! Ясно теперь? Стали вам немного яснее ваши...

 "ваши действия и ваша сущность"? Жалкий вы человек! Хотя это и не

является моей "непременной обязанностью", ха-ха-ха!

 - У меня написано: "неизбежная обязанность", - поправил его господин

Шпинель, но тут же перестал спорить. Беспомощный, несчастный, большой,

седоволосый, он стоял, как школьник, получивший нагоняй.

 - "Неизбежная... непременная..." Подлый вы трус, вот что я вам скажу.

Каждый день вы видите меня за столом, вы здороваетесь со мной и

улыбаетесь, вы передаете мне соус и улыбаетесь, вы желаете мне приятного

аппетита и улыбаетесь. А в один прекрасный день на мою голову валится вот

эта мазня с идиотскими обвинениями. Что и говорить, на бумаге вы храбрец!

Ну, пусть бы этим дурацким письмом дело и кончилось. Так нет же, вы еще

вели интриги против меня, вели их за моей спиной, теперь я это прекрасно

понимаю... впрочем, не воображайте, что вы чего-то добились! Если вы

тешите себя надеждой, что вскружили голову моей жене, то вы заблуждаетесь,

любезный, слишком она для этого разумный человек!

 А если вы, чего доброго, думаете, что на этот раз она встретила меня

как-то по-другому - и меня и ребенка, - так это уж сущая ерунда! Если она

и не поцеловала сына, то сделала это из осторожности, потому что йеДавно

возникло предположение, что болезнь у нее не в дыхательном горле, а в

легких, и тут уж неизвестно... Хотя вообще-то совсем еще не доказано, что

у нее плохое легкими, а вы уж заладили: "Она умирает, милостивый

государь!" Осел вы, и больше ничего!

 Тут господин Клетериан попытался перевести дыхание. Он так разгневался,

что непрестанно пронзал воздух указательным пальцем правой руки, в то

время как левая самым безжалостным образом комкала письмо.

 Лицо его, окаймленное светлыми английскими бакенбардами, побагровело,

набухшие вены, словно грозные молнии, прорезали его насуплешшй лоб.

 - Вы ненавидите меня, - продолжал он, - и вы бы меня презирали, если бы

я не был сильнее вас. Да, я сильнее, черт возьми, у меня душа на месте, а

у вас она то и дело уходит в пятки, хитрый вы идиот, я бы отдубасил вас с

вашим "духом и словом", если бы это не было запрещено. Но это еще не

значит, что я вам так просто спущу ваши нападки: боюсь, что вам очень не

поздоровится, если я покажу своему адвокату то место в письме, где

говорится насчет "заурядной фамилии". Моя фамилия, сударь, вполне хороша,

и хороша благодаря мне. А вот дадут ли вам под залог вашей фамилии хотя бы

полушку в долг, это, сударь мой, более чем сомнительно.

 И откуда вы только взялись, бездельник? Надо бы издать закон против

таких, как вы! Вы опасны для общества! Вы сводите людей с ума!.. Впрочем,

не воображайте, что вам удалось своротить мне мозги, тоже еще заступник

нашелся! Меня не собьют с толку такие типы, как вы. У меня душа на месте...

 Господин Клетериан был в самом деле крайне взволнован. Он кричал и все

время повторял, что душа у него на месте.

 - "Они пели..." Черта с два! Да не пели они вовсе! Они вязали. И еще

они говорили, насколько я понял, о рецепте приготовления картофельных

пончиков; и если я повторю ваши слова насчет "упадка" и "угасания"

 своему тестю, то он тоже возбудит против вас дело, можете быть

уверены!..

 "Видели ли Вы эту картину, видели ли Вы ее?" Конечно, я ее видел, ноя

не понимаю, почему Мне следовало затаить дыхание и удрать. Я не поглядываю

на женщин украдкой, я смотрю на них, и, если они мне нравятся, я их беру.

У меня душа на мое...

 В дверь постучали. Раздалось девять или десять быстрых ударов подряд,

короткая нервная дробь, заставившая господина Клетериана умолкнуть, и

чей-то захлебывающийся, непослушный в беде голос торопливо проговорил:

 - Господин Клетериан, господии Клетериан, ах, нет ли здесь господина

Клетериана?

 - Не входите, - неприязненно сказал господин Клетериан. - В чем дело? У

меня здесь разговор.

 - Господин Клетериан, - отвечал неверный, прерывающийся голос. - Вам

нужно пойти, врачи тоже там.... о, какое это страшное горе...

 Он бросился к двери и распахнул ее. В коридоре стояла советница Шпатц.

Она держала платок у рта, и крупные, продолговатые слезы попарно

скатывались в этот платок.

 - Господин Клетериан, - с трудом проговорила она, - это такое гоpe...

Она потеряла столько крови, ужасно, ужасно... Она спокойно сидела в

кровати и что-то тихонько напевала, и вдруг пошла кровь, боже мой, Столько

крови...

 - Она умерла?! - закричал господин Клетериан. Он схватил советницу за

руку выше.локтя и стал тянуть ее от одного конца порога к другому. - Нет,

не совсем, что? Не совсем, она еще сможет меня увидеть... Снова немного

крови? Из легких, что? Я готов признать" что кровь, наверно, из легких...

Габриэла! - внезапно сказал он, и глаза его наполнились слезами, и видно

было, как в нем прорвалось доброе, человечное и честное чувство. - Да, я

иду! - добавил он и, широко шагая, потащил за собой советницу. Из глубины

коридора еще доносились его затихающие слова:

 "Не совсем, что?.. Из легких, а?"

 Господин Шпинель стоял все на том же месте, где стоял во время так

внезапно прерванного визита господина Клетериана, и глядел в открытую

Дверь. Наконец он шагнул вперед и стал прислушиваться. Но все было тихо,

он затворил дверь и вернулся на прежнее место.

 С минуту он разглядывал себя в зеркале, затем подошел к письменному

столу, вынул из ящика небольшую бутылку и налил себе в рюмочку коньяку, -

кто осудит его за это? Выпив, он лег на диван и закрыл глаза.

 Верхняя створка окна была открыта. В саду "Эйнфрида" щебетали птицы, и

эти слабые, нежные, дерзкие звуки были тонким и проникновенным выражением

весны. Один раз господин Шпинель тихо проговорил:

 "Неизбежная обязанность". Потом он стал мотать головой, втягивая воздух

через зубы, словно в приступе нервной боли.

 Успокоиться, прийти в себя было невозможно. Нет, он не создан для таких

грубых переживаний!.. Психологический процесс, анализ которого завел бы

вас слишком далеко, заставил господина Шпинеля принять решение - подняться

и пройтись по свежему воздуху. Он надел шляпу и вышел из комнаты.

 Окунувшись в мягкий душистый воздух, он обернулся, и глаза скользнули

вверх по зданию - к одному из окон, к занавешенному окну, которое и

приковало к себе на мгновение его серьезный, пристальный, сумрачный

взгляд. Потом он заложил руки за спину и зашагал по дорожке.

 Шагал он в глубоком раздумье.

 На клумбах лежали маты, деревья и кусты стояли еще голые; но снег уже

сошел, и только влажные следы его виднелись кое-где на дорожках.

 Обширный сад со всеми гротами, аллейками и беседками был залит

роскошным предвечерним светом; густые тени чередовались с сочным золотом,

и темные ветви деревьев четко и тонко вырисовывались на светлом небе.

 Был тот час, когда солнце приобретает очертанья, когда бесформенная

масса света превращается в спускающийся диск, спокойное, ровное пламя

которого не ослепляет. Господин Шпинель не видел солнца: он шел так, что

оно было скрыто от него, шел с опущенной головой и тихо напевал -короткую

музыкальную фразу, робкую, жалобную, улетающую вверх мелодию, мелодию

страстной тоски... Вдруг он судорожно вздохнул, остановился и точно прирос

к месту, брови его резко сомкнулись, а зрачки расширились, в них,

казалось, застыли ужас и отвращенье...

 Дорога сделала поворот - теперь она шла навстречу заходящему солнцу.

Огромное, подернутое двумя узкими светлыми полосками позолоченных по краям

облаков, оно косо висело на небе, заставляя пламенеть вершины деревьев и

разливая по саду красновато-желтое сиянье. И посреди этого золотистого

великолепия, с громадным ореолом солнечного диска над головой, стояла

пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного, стояла,

упираясь правой рукой в могучее бедро, а левой потихоньку толкая изящную

колясочку - к себе и от себя. А в коляске сидел ребенок - Антон

Клетериан-младший, упитанный сын Габрнэлы Экхоф!

 Он сидел, откинувшись на подушки, в белой пушистой курточке и в большой

белой шапке, великолепный, здоровый бутуз, и глаза его весело и уверенно

встретили взгляд господина Шпинеля. Романист хотел собраться с силами, в

конце концов он был мужчиной, у него бы хватило духа пройти мимо этого

неожиданного, озаренного солнечным светом видения и продолжить свою

прогулку. Но тут случилось нечто ужасное:

 Антон Клетериан стал смеяться, им овладела буйная радость, он визжал от

необъяснимого восторга, так что жутко становилось на сердце.

 Одному богу известно, что привело его в такой восторг: черная ли

фигура, которую он увидел перед собой, вызвала у него эту дикую веселость,

или это был внезапный приступ какой-то животной радости. В одной руке он

держал костяное кольцо, которое дают детям, когда у них режутся зубы, в

другой - жестяную погремушку. Оба эти предмета он в восторге протягивал

вверх к солнцу и так стучал ими друг о друга, словно хотел над кем-то

поиздеваться. Глаза он зажмурил от удовольствия, а рот раскрыл так широко,

что видно было розовое нёбо. Взвизгивая, он мотал головой из стороны в

сторону.

 Тут господин Шпинель повернулся и зашагал прочь. Преследуемый

ликованием молодого Клетериана, он шел по дорожке, и в положении рук его

была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество, а в ногах -

та нарочитая медлительность, которая бывает у человека, когда он хочет

скрыть, что внутренне пустился наутек.

 1902

ТОМАС МАНН

 ХОЗЯИН И СОБАКА

 Перевод В. Курелла

 ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ-ЗА УГЛА

 Когда весна и вправду заслуживает наименования лучшей поры года и я

рано просыпаюсь под ликующие трели птиц, потому что накануне вовремя яег,

я люблю еще до завтрака выйти на воздух, без шляпы погулять по аллее перед

домом или пройти в парк - подышать утренней свежестью и хоть немного

насладиться.ясной чистотой утра, перед тем как уйти с головой в работу. На

ступеньках крыльца я останавливаюсь и свищу, свищу две ноты, тонику и

кварту вниз, похожие на начало второй темы шубертовской "Неоконченной

симфонии", - это сигнал или, если хотите, переложенное на музыку имя из

двух слогов. И в то же мгновенье, пока я иду к калитке, до меня издалека

доносится сперва еле слышное, а потом уже громкое и явственное

позвякиванье, - это жестяной номерок бьется о металлическую отделку

ошейника, и, обернувшись, я вижу Баушана, который стремглав огибает

дальний угол дома и мчится ко мне во весь опор, словно задавшись целью

непременно сбить меня с ног. От напряжения у него отвисла нижняя губа, и

зубы сверкают ослепительной белизной в ярком утреннем солнце.

 Он примчался из своей конуры, которая устроена с другой стороны дома

под полом стоящей на столбах веранды, где, скорее всего, дремал после

беспокойно проведенной ночи, пока мой двойной свист не заставил его

встрепенуться. Конура закрыта занавесками из дерюги и устлана соломой,

отчего в шерсти Баушана, и без того несколько взъерошенной от лежания, и

между когтями лап почти всегда торчат соломинки, - зрелище, всякий раз

напоминающее мне старого графа Моора, каким я однажды видел его в

чрезвычайно натуралистической постановке: он появлялся из башни, где его

морили голодом, еле волоча "босые" ноги в розовом трико с торчащей между

пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком к мчащемуся на меня Баушану

- занимаю, так сказать, оборонительную позицию, ибо его очевидное

намерение кинуться мне под ноги и повалить на землю неизменно вводит меня

в заблуждение. Однако в последнюю секунду, когда Баушан уже, кажется,

вот-вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и сворачивает в сторону,

что свидетельствует о его умении великолепно владеть как собой, так и

своим телом; и тут в полном молчании - Баушан не часто пользуется своим

звучным и выразительным голосом - он начинает кружиться вокруг меня в

какой-то неистовой приветственной пляске, в которой притоптывания

сменяются безумными виляниями не только предназначенного к тому самой

природой хвоста, но захватывают в страстном порыве и заднюю часть туловища

до ребер, переходят в винтообразные движения всего тела, замысловатые

прыжки в воздухе и повороты вокруг собственной оси; но Баушан почему-то

упорно пытается скрыть это представление от моего взора, так что, куда бы

я ни повернулся, он всегда оказывается за моей спиной. Однако стоит мне

только нагнуться и протянуть руку, как Баушан одним прыжком уже подле меня

и, прислонившись плечом к моему колену, застывает, как изваяние; он стоит,

прижавшись ко мне всем боком, упершись крепкими лапами в землю, и,

запрокинув морду, снизу вверх глядит мне в лицо; в сосредоточенном

внимании, с каким он прислушивается к ласковым словам, которые я бормочу,

хлопая его по лопатке, чувствуется не меньшая сила страсти, чем в прежних

его бурных изъявлениях восторга.

 Баушан - короткошерстная немецкая легавая, если отнестись к такому

определению не слишком придирчиво, а принять его с должной крупицей юмора,

ибо если разобрать Баушана по косточкам, или, как полагается говорить, по

статям, то его вряд ли можно отнести к чистокровным представителям этой

породы. Прежде всего, Баушан мал, он, надо прямо сказать, значительно

меньше обычных подружейных легавых, и, потом, передние лапы у него чуточку

кривоваты, что тоже не вполне соответствует признанному идеалу. Некоторая

склонность к "подгрудку", то есть к мешкообразным складкам кожи под шеей,

которые придают собачьей осанке особую величавость, чрезвычайно красит

Баушана, но и это, с точки зрения ревнителей собаководства, наверное, было

бы поставлено ему в упрек, ибо у легавых, насколько мне известноркожа

должна плотно прилегалъ к шее.

 Окрас Баушана очень хорош. По кофейной рубашке у него разбросаны черные

пятна. Но местами проглядывают и белые пежинки, почти сплошь покрывающие

грудь, живот и лапы, тогда как тупую морду Баушана, кажется, взяли да и

окунули в чернила. На широком лбу и прохладных, лопухом, ушах черная и

кофейная шерсть сплетаются в причудливый бархатистый узор, но всего

забавнее и милее вихор, в который закручивается у него на груди белая

псовина, торчащий, словно шип на старинном панцире. Впрочем, пестрота

Баушана тоже может показаться "недопустимой" тем, для кого чистота

родословной важнее личных качеств, ибо классической легавой, говорят,

надлежит быть одноцветной или пегой в крапе, но никак не пятнистой. Однако

главным камнем преткновения при формальном подходе к определению породы

Баушана служит, конечно, -обильная растительность, свисающая у него с

уголков верхней губы и с подбородка, которая не без основания может быть

названа усами!и бородой и составляет, как известно, характерную

особенность пинчера или шнауцеля.

 Но не все ли равно, легавая или пинчер! Что за красавец и симпатяга

Баушан, когда он вот так стоит, прижавшись к моему колену, и снизу вверх

глядит на меня с беспредельной преданностью! Лучше всего у него глаза -

кроткие и умные, хотя, быть может, слишком выпуклые и потому чуть-чуть

стеклянные. Радужная оболочка глаз - каряя, такого же кофейного оттенка,

что и шерсть, но из-за отливающего черным, непомерно расширенного зрачка

она кажется узеньким колечком, которое тут же переходит в белок.

 Прямота и смышленость - а именно эти душевные качества написаны на

морде Баушана - свидетельствуют о его нравственном мужестве, а

телосложение - о мужестве физическом: выпуклая грудная клетка с четко

выступающими под тонкой и эластичной кожей мощными ребрами, подтянутый

живот, нервные ноги в сетке сухожилий, крепкие, в комке, лапы - все это

говорит об отваге и мужской доблести, говорит о мужицкой охотничьей крови;

да, в облике Баушана чувствуется настоящий охотничий пес, и, на мой

взгляд, он по праву может называться легавой, хоть и не обязан своим

появлением на свет чванливому кровосмесительству; таков примерно смысл

сбивчивых и довольно бессвязных слов, которые я говорю Баушану, похлопывая

его по плечу.

 А он стоит и смотрит, прислушивается к звукам моего голоса, улавливая в

убеждающих интонациях явное одобрение своей персоне. И вдруг быстрым

движением вскидывает голову к самому моему лицу и смыкает в воздухе

челюсти, будто хочет откусить мне нос, - пантомима, которая служит,

по-видимому, ответом на мои похвалы и всякий раз заставляет меня со смехом

отпрянуть, к чему Баушан тоже давно привык. Это своего рода воздушный

поцелуй, наполовину ласка, наполовину шалость, штука, которую он

проделывал еще щенком и не свойственная ни одному из его предшественников.

Впрочем, он тут же со смущенно-лукавым видом просит прощения за допущенную

вольность, виляет хвостом и смешно пригибает голову. Но вот мы выходим за

калитку.

 Навстречу нам несется шум, похожий на рокот моря. Дом мой стоит возле

быстрой порожистой реки, от которой его отделяет лишь тополевая аллея,

обнесённая решеткой полоска газона с молоденькими кленами и насыпная

дорога; по обе ее стороны растут огромные осины - великаны, явно

подделывающиеся под старые искривленные ветлы; их белый пух к началу июня

будто снегом засыпает окрестность. Вверх по реке, в сторону города, саперы

проводят занятия по наведению понтонного моста. Стук их тяжелых сапог о

доски настила, отрывистые слова команды явственно долетают до нас. С

другого берега слышатся заводской шум и грохот: вниз по течению, наискось

от нашего дома, раскинулись корпуса большого паровозостроительного завода,

который за войну сильно разросся; длинные окна его цехов всю ночь напролет

светятся в темноте. Новенькие, отливающие лаком паровозы, проходя

испытание, деловито снуют взад и вперед.

 Иногда протяжно завоет гудок, какой.-то глухой стук время от времени

сотрясает воздух, и из множества труб валит дым, но ветер, по счастью,

относит его за лес на противоположном берегу, да и вообще-то дым редко

переползает через реку на нашу сторону. Так мешаются в полупригородном,

полудеревенском уединении этого уголка звуки погруженной в самое себя

природы и человеческой деятельности, и надо всем сияет ясноокая свежесть

раннего утра.

 Обыкновенно я выхожу на прогулку этак в половине восьмого по

официальному времени, на самом деле, значит, в половине седьмого. Я иду,

заложив руки за спину, по залитой нежарким еще солнцем аллее, которую

пересекают длинные тени тополей; реки мне не видно, но я слышу ее вольное

мерное течение; тихо шелестят деревья, воздух наполнен неумолчным

чириканьем, щебетом, раскатистыми трелями и переливами певчих птиц; во

влажной голубизне неба, с востока, летит аэроплан - жесткая механическая

птица, направляя свой ничем не стесненный полет над рекой и лесом; гул его

сперва усиливается, затем постепенно замирает; а Баушан радует меня своими

легкими красивыми прыжками через низенькую решетку газона - туда и

обратно, туда и обратно. Он прыгает, зная, что доставляет мне

удовольствие; ведь я сам обучал его этому, постукивая тросточкой по

ограде, и хвалил, когда у него хорошо получалось; вот и теперь он чуть ли

не после каждого прыжка подбегает ко мне, ждет, что я скажу ему - какой он

молодчина, какой он смелый и ловкий пес, пытается допрыгнуть до моего лица

и, когда я его отстраняю, мокрым носом муслит мне ладонь. Кроме того, эти

усердные гимнастические упражнения заменяют ему утренний туалет, с их

помощью он приглаживает свою взъерошенную шерсть и избавляется от

застрявших в ней соломинок старика Моора.

 До чего же хорошо после целительной ванны сна и долгого забвения ночи,

помолодев телом и очистившись душой, ранним утром выйти на прогулку.

Бодро, уверенно взираешь ты на предстоящий день, хоть и медлишь начать

его, желая сполна насладиться чудесными, свободными от всяких обязательств

и забот минутами между сном и работой, которые достались тебе в награду за

примерное поведение. Ты тешишь себя иллюзией, что всегда будешь жить такой

вот простой, серьезной, созерцательной жизнью, что всегда будешь волен

распоряжаться собой, ибо человек почему-то склонен считать минутное свое

состояние - весел он или подавлен, спокоен или возбужден - за единственно

истинное и постоянное и всякое счастливое ex tempore [Букв.: "вне времени"

(лат.); здесь употреблено в значении необычайного происшествия,

нарушающего привычный порядок вещей.] мысленно возводить в непреложное

правило и нерушимый закон, тогда как в действительности он осужден жить по

наитию изо дня в день. Вот и веришь, вдыхая утренний воздух, в свою

свободу и добродетель, хотя должен бы знать, да, по существу, и знаешь,

что мир уже плетет для тебя свои сети и что, скорее "сего, ты уже завтра

проваляешься в кровати до девяти, потому что накануне развлекался и только

в два часа ночи, разгоряченный, захмелевший и взвинченный, удосужился лечь

в постель... Пусть так. Но сегодня ты образец благоразумия и внутренней

дисциплины и самый подходящий хозяин вот для этого юного охотника, который

только что опять перемахнул через ограду газона от радости, что сегодня

ты, как видно, предпочитаешь общаться с ним, а не с обитателями того,

больщого мира.

 Мы идем по аллее минут пять до того места, где она перестает быть

аллеей и превращается в хаотическое нагромождение крупного щебня,

тянущееся вдоль реки; тут мы сворачиваем вправо на засыпанную более мелким

щебнем широкую, но пока еще не застроенную улицу, по которой, однако, как

и по нашей аллее, проложена велосипедная дорожка; улица эта проходит между

расположенными несколько ниже лесистыми участками и упирается в склон

горы, замыкающей с востока наш прибрежный район - местожительство Баушана.

Немного погодя мы пересекаем еще другую, тоже будущую улицу; выше, возле

трамвайной остановки, она сплошь застроена доходными домами, но здесь,

ничем не огражденная, идет куда-то через лес и поле; затем мы по отлого

спускающейся дорожке попадаем в великолепный парк, разбитый на манер

курортных парков, но совершенно безлюдный, как, впрочем, и вся местность в

этот ранний час; везде стоят скамейки, покатые дорожки звездробразно

сходятся или приводят к площадкам для детских игр, вокруг - зеленые поляны

с купами старых, пышно разросшихся деревьев - вязрв, буков, лип,

серебристых ветел, кроны которых спускаются так низко, что оставляют на

виду лишь небольшой кусочек ствола. Я не нарадуюсь на этот тщательно

распланированный парк, в котором гуляю, как в собственном поместье. Все

здесь продумано до мелочей, вплоть до того, что у посыпанных гравием

дорожек, сбегающих с отлогих, поросших травой холмов, зацементированы

обочины.

 Гуща зелени то и дело расступается, открывая взору чудесный вид на

белеющую вдали виллу.

 Я прохаживаюсь по дорожкам, а Ваушан, ошалев от здешнего приволья,

носится как полоумный с поляны на поляну таким галопом, что у него даже

заносится зад, или же с негодующе-блаженным лаем гоняется за птичкой,

которая то ли со страху, то ли затем, чтобы его подразнить, вьется над

самым его носом. Но стоит мне сесть на скамейку, как Баушан уже тут как

тут и пристраивается у меня в ногах. Ибо для моего четвероногого друга

непреложный закон - бегать, когда я нахожусь в движении; и садиться, когда

я сажусь. Надобности в этом никакой нет, но Баушал твердо следует этому

правилу.

 Мне и странно, и уютно, и забавно ощущать на ноге тепло его

разгоряченного тела. Как и всегда почти, когда я бываю с Баушаном и гляжу

на него, радостное умиление спирает мне грудь. Он и сидит-то

по-крестьянски - лопатки наружу, ступни внутрь. В этой позе он кажется

более приземистым и неуклюжим, чем на самом деле, а белый клок шерсти на

груди выпирает совсем уж нелепо и смешно. Зато, взглянув на его важно

поднятую голову, никто не осмелится обвинить его в неумении держать себя -

столько в ней настороженного внимания... Мы притихли, и сразу же нас

обступила тишина. Шум реки едва сюда долетает. И потому любой самый слабый

шорох и движение вокруг становятся особенно слышны и привлекают внимание:

вот в траве прошуршала ящерица, вот пискнула птаха, где-то поблизости

роется крот. Уши Баушана подняты, насколько это позволяет мускулатура

висячих ушей, голова, чтобы лучше слышать, наклонена набок, и ноздри

влажного черного носа, втягивая все запахи, находятся в беспрестанном

трепетном движении.

 Потом он ложится, но так, чтобы все-таки касаться моей ноги. Он лежит в

профиль ко мне, в древней, как мир, симметричной позе полуидолаполузверя,

сфинкс с поднятой головой и грудью, прижатыми к туловищу локтями и бедрами

и вытянутыми вперед лапами. Но ему жарко, он открывает пасть, - и сразу же

вся непроницаемая мудрость его облика исчезает, и он становится самым

обыкновенным псом: глаза моргают и суживаются, а из-за крепких белых

клыков вываливается длинный розово-красный язык.

 КАК НАМ ДОСТАЛСЯ БАУШАН

 Сосватала нам Баушана плотная, не лишенная приятности, черноглазая

фрейлейн, которая с помощью рослой и такой же черноглазой дочки содержала

пансион в горах неподалеку от Тельца. Это случилось два года назад, и

Баушан был тогда полугодовалым подростком-щенком. Анастасия - так звали

хозяйку пансиона - знала, что мы вынуждены были пристрелить нашу

шотландскую овчарку Перси - слабоумного псааристократа, который в

преклонном возрасте подхватил очень прилипчивую и противную накожную

болезнь, - и с того самого дня нуждаемся в стороже. Она протелефонировала

нам из своего горного домика и сообщила, что приняла на постой и на

комиссию собаку, лучше которой и желать нечего, и что мы можем в любое

время прийти ее посмотреть.

 Уступив настояниям детей, - впрочем, нас, взрослых, тоже разбирало

любопытство, - мы на следующий же день после обеда отправились в горы.

 Анастасию мы застали в просторной кухне, наполненной теплыми и сытными

запахами; раскрасневшаяся и потная, с расстегнутым воротом и обнаженными

по локоть округлыми руками, она готовила ужин своим постояльцам. Дочь со

спокойной расторопностью подавала ей все нужное, для стряпни. Нас

приветливо встретили и не преминули похвалить за то, что мы явились без

проволочки. Заметив, что мы озираемся по сторонам; дочь хозяйки, Рези,

подвела нас к кухонному столу, уперлась руками в,колени и, склонив голову,

адресовала несколько ласковых слов кому-то под столом. Оказывается, там,

привязанное "обрывком грязной веревки.

 Стояло существо, которое в полумраке кухни, освещенной только

отблесками огня, мы сначала не заметили и вид которого поневоле вызывал

улыбку жалости.

 Оно стояло, поджав хвост, сгорбившись и сдвинув все четыре тонкие,

подгибающиеся от слабости лапы, и тряслось. Возможно, оно тряслось от

страха, но скорее всего от полного отсутствия каких-либо жировых или

мускульных тканей, ибо это был форменный скелет - ребрышки и позвоночник,

обтянутые облезлой шкурой, на четырех палочках. Уши у него были плотно

прижаты - положение, которое способно сразу же погасить всякий признак

живости и ума в физиономии собаки, а в его совсем еще щенячьей мордочке

столь полно достигало этого эффекта, что она выражала одну только

глупость, страдание и мольбу о снисхождении; к тому же усы и борода, и

поныне украшающие Баушана, в ту пору были куда более пышными и придавали

его и без того жалкому облику еще и оттенок угрюмой подавленности.

 Все нагнулись, чтобы утешить и приласкать горемыку. И пока дети шумно

изъявляли свою жалость, Анастасия, хлопоча у плиты, сообщила нам всю

подноготную своего постояльца. Он сын почтенных родителей, и звать его

пока что Люкс, степенно рассказывала она ровным приятным голосом. Мать его

она сама знала, а об отце слышала одно только хорошее.

 Родом Люкс с фермы в Хюгельфинге, и, если бы не некоторые чрезвычайные

обстоятельства, хозяева никогда бы с ним не расстались; но теперь они

вынуждены уступить его за сходную цену, для чего и доставили песика к ней

- ведь у нее в доме всегда бывает много народу. Хозяева приехали в своей

тележке, а Люкс все двадцать километров мужественно бежал между задними

колесами. Зная, что мы ищем хорошую собаку, Она сразу подумала о нас и

почти уверена, что мы его возьмем. Тогда все устроится ко всеобщему

благополучию. Нам собачка, несомненно, придется по душе, Люкс, со своей

стороны, имея теплый угол, уже не будет чувствовать себя таким одиноким и

неприкаянным, и она, Анастасия, перестанет беспокоиться за него. Пусть нас

только не смущает его понурый и несчастный вид. Его сбила с толку

незнакомая обстановка, и он потерял уверенность в себе. Но в скором

времени мы поймем, от каких он превосходных родителей.

 - Да, но они, по-видимому, не очень-то друг к другу подходили.

 - Отчего же, если оба великолепные собаки. - В щенке заложены самые

лучшие качества, она, фрейлейн Анастасия, готова за это поручиться. И

хютом, он не избалован и привык довольствоваться малым, что в нынешние

трудные времена тоже весьма существенно. До сих пор он вообще питался

одной картофельной шелухой. Лучше всего нам прямо взять его к себе домой

на пробу - это нас ровно ни к чему не обяжет. Если окажется, что сердце у

нас к нему не лежит, она тут же примет его обратно и вернет нам деньги.

Это она может смело пообещать, нисколько не опасаясь, что мы поймаем ее на

слове. Она достаточно хорошо знает и его и нас - то есть обе стороны,

уверена, что мы его полюбим и даже думать не захотим о том, чтобы с ним

расстаться.

 Она еще долго говорила в том же духе, спокойно, без запинки, с обычной

своей приятностью, и вырывавшийся из конфорки огонь, когда она снимала

кастрюлю, озарял ее, как пламя волшебного котла. В конце концов она

подошла к Люксу и обеими руками открыла ему пасть, чтобы показать нам его

великолепные зубы и, еще по каким-то соображениям, его розовое рифленое

нёбо. На поставленный тоном знатока вопрос - чумилея ли он? - она с

оттенком нетерпения отвечала, что не знает. А уж ростом, заверила она, он

со временем наверняка будет с нашего пбгибшего Перси.

 Дети волновались, Анастасия, ободренная настойчивыми упрашиваниями

детей, рассыпалась в похвалах собаке, а мы не знали, на что решиться.

 Кончилось дело тем, что мы выпросили себе отсрочку на размышление и в

тяжелом раздумье побрели в долину, взвешивая все "за" и "против".

 Но, как и следовало ожидать, четвероногий горемыка под столом обворожил

наших ребят, и хотя мы, взрослые, для вида потешались над их неудачным

выбором, но и у нас щемило сердце, и мы понимали, что теперь нам, пожалуй,

нелегко будет вытравить из памяти образ бедняги Люкса.

 Что ожидает его, если мы от него, отвернемся? В какие руки он попадет?

 И в нашем воображении уже возникала загадочная и страшная фигура

живодера, от гнусного аркана которого Перси некогда спасла рыцарская пуля

оружейного мастера и почетное погребение в дальнем углу нашего сада. Лучше

бы нам не встречаться с Люксом, не видеть его усатой и бородатой щенячьей

мордочки, тогда бы мы не думали об ожидавшей его неизвестной и, быть

может, страшной участи; но теперь, когда мы знали о его существовании, на

нас как бы ложилась моральная ответственность, от которой мы лишь с

трудом, да и то навряд ли, сможем отвертеться. Так вот и вышло, что через

два дня мы уже снова взбирались вверх по пологим отрогам Альп к домику

Анастасии. Не то чтобы мы твердо решились на покупку, - нет, но мы

понимали, что при сложившихся обстоятельствах дело, скорее всего, этим

кончится.

 На этот раз Анастасия с дочерью сидели друг против друга по обеим

концам длинного кухонного стола и пили кофе. А между ними, перед столом,

сидел тот, кто носил условное имя Люкса, сидел уже точно так, как сидит

теперь: лапами внутрь, по-мужицки вывернув лопатки, а за его истрепанным

ошейником красовался букетик полевых цветов, придававший ему

празднично-нарядный вид, - ни дать ни взять разрядившийся по случаю

воскресенья деревенский щеголь или дружка на крестьянской свадьбе. Младшая

фрейлейн, сама выглядевшая очень нарядно в национальном костюме с

бархатным лифом на шнуровке, собственноручно продела ему за ошейник этот

букет, "по случаю новоселья", как она пояснила. И мать и дочь, по их

заверениям, не сомневались в том, что мы придем за нашим Люксом, и придем

именно сегодня.

 Итак, с самого начала путь к отступлению был отрезан. Анастасия в

обычной своей приятной манере поблагодарила нас за десять марок, которые

мы ей вручили в качестве платы за Люкса. Было совершенно ясно, что берет

она эти деньги больше в наших интересах, чем в своих собствен ных или же в

интересах людей с фермы, и берет с единственной целью придать бедному

Люксу в наших глазах какую-то выраженную в цифрах реальную стоимость. Так

мы это и поняли и охотно выложили деньги.

 Люкса отвязали от ножки стола, конец веревки был вручен мне, и,

провожаемая любезными напутствиями и пожеланиями, наша процессия покинула

кухню фрейлейн Анастасии.

 Не скажу, чтобы почти часовой обратный путь с нашим новым домочадцем

представлял собой триумфальное шествие, тем более что деревенский щеголь

очень быстро потерял свой нарядный букет. На лицах встречавшихся нам

прохожих мы, правда, замечали улыбку, но с каким-то оттенком обидного,

пренебрежения, а прохожих попадалось все больше, так как путь наш лежал

через рыночную площадь, которую нам предстояло пересечь из конца в конец.

В довершение всего у Люкса оказался понос, которым он, вероятно, страдал

уже не первый день, что вынуждало нас к частым остановкам на глазах у

горожан. Встав в круг, мы, как могли, загораживали несчастного страдальца

и с ужасом спрашивали себя, уж не первые ли это зловещие признаки чумки, -

опасения, как потом оказалось, совершенно напрасные, ибо будущее показало,

что мы имеем дело с натурой исключительно крепкой и здоровой, неуязвимой

ни для какой заразы и болезней.

 Дома мы позвали горничную и кухарку, чтобы представить им нового члена

семьи и заодно уж узнать их мнение. По всему было видно, что они

приготовились восхищаться, но, увидев понуро стоявшего Люкса и наши

смущенные лица, обе прыснули со смеху, отвернулись и замахали на него

руками. После этого едва ли можно было надеяться, что гуманные

соображения, побудившие Анастасию потребовать с нас плату, найдут в них

сочувственный отклик, и мы почли за благо сказать, что собаку нам пода

рили. Люкса отвели на веранду, где ему был предложен праздничный обед,

составленный из самых лакомых остатков.

 Но он настолько пал духом, что даже ни к чему не притронулся. Он,

правда, обнюхивал кусочки, которые ему подсовывали, но тут же боязливо

пятился, не в силах поверить, что такая роскошь, как куриные лапки и корки

от сыра, в самом деле предназначается ему. Зато от мешка, набитого морской

травой, который положили для него в прихожей, он не отказался и сразу ж-е

улегся, поджав под себя лапы. А в доме тем временем спорили я наконец

порешили, как ему в дальнейшем именоваться.

 На следующий день он опять не прикасался к пище, потом, примерно с

неделю, жадно и без разбору хватал все, что ему ни подставляли, пока

наконец не стая есть со спокойной размеренностью и подобающим

достоинством. Постепенно оя осваивался и начинал чувствовать себя

полноправным членом семьи. Но входить в подробное описание этого

длительного процесса нет никакой надобности. Правда, на какое-то время

этот процесс был прерван исчезновением Баушана: дети вывели щенка в сад и

отвязали веревку, чтобы дать ему побегать на воле, но не успели они

отвернуться, как Баушан подлез под калитку и был таков. Пропажа ввергла в

смятение и печаль если не весь дом, то, по крайней мере, господ; прислуга

вряд ли приняла близко к сердцу утрату дареной собаки, если вообще сочла

это за утрату. Мы задали немало работы телефону, то и дело звоня в пансион

к Анастасии, в надежде, что пес прибежит туда. Напрасно, он там не

показывалася, и только через два дня фрейлейн Анастасия сообщила нам, что

ей звонили из Хюгельфинга: полтора часа назад Люкс появился на родимой

ферме. Да, он был там, идеализм инстинкта привел его обратно в мир

картофельной шелухи, заставив снова проделать те двадцать километров,

которые он когда-то пробежал между колесами тележки, в полном одиночестве,

в дождь и слякоть! Пришлось его бывшим хозяевам опять запрягать лошадь и

трястись двадцать километров в тележке, чтобы доставить Люкса к Анастасии,

а через два дня и мы собрались в путь за беглецом, которого нашли, как и в

первый раз, привязанным к ножке стола, по уши забрызганного грязью

проселочных дорог, истерзанного и усталого. Правда, он сразу узнал нас,

завилял хвостом, - словом, всячески.выказывал свою радость.

 Но в таком случае почему же он сбежал?

 Со временем стало ясно, что Баушан выкинул из головы всякую мысль о

ферме, но и у нас он еще не окончательно обжился, никто еще не завладел

его душой, и он был как листок, крутящийся по воле ветра. В ту пору на

прогулках нельзя было ни на секунду спускать с него глаз, ибо ему ничего

не стоило бы порвать слабые узы дружбы, связывавшие нас с ним, и улизнуть

в лес, где, ведя бродячую жизнь, он бы очень быстро одичал и уподобился

своим нецивилизованным предкам. Только наша неусыпная забота спасла его от

этой страшной участи и удержала на той высокой ступени культуры, которой

он и его сородичи достигли за многие тысячелетия общения с человеком; а

потом перемена места, наш переезд в город или, вернее, пригород, немало

способствовали тому, чтобы окончательно привязать Баушана к нам и к нашему

дому.

 НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ХАРАКТЕРЕ

 И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ БАУШАНА

 Один человек из долины Изара предупредил меня, что собаки этой породы

часто становятся в тягость хозяину, так как ни на шаг от него не отходят.

Поэтому, когда Баушан в скором времени стал действительно выказывать

упорную приверженность к моей особе, я остерегся приписать это своим

личным достоинствам - так мне было легче сдерживать его порывы и по мере

возможности себя от них ограждать. Мы сталкиваемся здесь с наследственным

патриархальным инстинктом собаки, который побуждает ее - я говорю,

разумеется, не об изнеженных комнатных породах - видеть и почитать в лице

главы семьи, мужчины - хозяина, защитника очага и добытчика, находить в

преданном и рабском служении ему утверждение собственного достоинства и

держаться по отношению ко всем остальным домочадцам с куда большей

независимостью. В этом духе и вел себя Баушан со мной почти с первых же

дней; как верный оруженосец глядел мне в глаза, дожидаясь приказаний,

которые я предпочитал ему не давать, так как очень быстро выяснилось, что

он отнюдь не отличается послушанием, и ходил за мною по пятам, очевидно, в

полной уверенности, что ему самой природой предназначено неотлучно

находиться при мне. Когда вся семья была в сборе, он, разумеется, ложился

только у моих ног. ЕеЛи на прогулке я отдалялся от остальных, он,

разумеется, следовал за мной. Он непременно желал находиться возле меня,

когда я работал, и, если дверь оказывалась заперта, стремительно вскакивал

в окно - при этом гравий сыпался в комнату - и с глубоким вздохом ложился

под письменный стол.

 Но в нас настолько крепко сидит уважение ко всему живому, что

присутствие хотя бы собаки стеснительно, когда хочется побыть одному,

вдобавок Баушан мешал мне и самым прямым и непосредственным образом. Он

подходил к моему креслу, вилял хвостом, умоляюще смотрел на меня и

топтался на месте, требуя, чтобы я его развлекал. Стоило мне хотя бы одним

движением откликнуться на его мольбы, как он уже становился лапами на

подлокотники кресла, лез ко мне на грудь, смешил меня своими воздушными

поцелуями, потом начинал шарить носом по письменному столу, видимо

полагая, что раз я так старательно над ним нагибаюсь, то там непременно

должно быть что-нибудь съедобное, и, конечно, мял и пачкал мне рукопись

своими мохнатыми лапищами. Правда, после строгого окрика "на место!" он

ложился и засыпал. Но во сне ему что-то грезилось он быстро-быстро, как на

бегу, перебирал всеми четырьмя лапами, издавая глухой и вместе с тем

пискливый, чревовещательный и какой-то потусторонний лай. Не мудрено, что

это меня волновало и отвлекало от работы; во-первых, мне становилось

как-то не по себе, и, во-вторых, меня грызла совесть. Сновидения эти уж

слишком явно были суррогатом настоящей гоньбы и охоты, стряпней организма,

вынужденного хоть чем-то возместить радость движения на вольном воздухе,

которая при совместной жизни со мной выпадала на долю Баушана отнюдь не в

той мере, в какой этого требовали егб инстинкт и охотничья кровь. Меня это

мучило; но так как ничего тут поделать было нельзя, высшие интересы

повелевали мне избавиться от вечного источника беспокойства; причем в

оправдание себе я говорил, что Баушан в плохую погоду наносит много грязи

в комнаты и рвет когтями ковры.

 В конце концов Баушану строго-настрого запретили переступать порог дома

и находиться со мной, когда я бывал в комнатах, хотя иногда и допускались

исключения; он быстро понял, что от него требовали, и покорился

противоестественному положению, ибо такова была неисповедимая воля его

господина и повелителя. Ведь разлука со мной, нередко, особенно в зимнее

время, продолжавшаяся большую часть дня, все-таки только разлука, а не

настоящий разрыв или разобщенность. Он не со мной, потому что я так

приказал, но это всего лишь выполнение приказа, бытие со мной в его

противоположности, и о какой-то самостоятельной жизни Баушана в часы,

которые он проводит без меня, вообще не приходится говорить. Правда,

сквозь стеклянную дверь кабинета я вижу, как он с неуклюжей шаловливостью

доброго дядюшки забавляется с детьми на лужайке перед домом. Но время от

времени он непременно подходит к двери и, так как за тюлевой занавеской

меня не видно, обнюхивает дверную щель, чтобы удостовериться, там ли я,

садится на ступеньки ко мне спиной и ждет. Со своего места за письменным

столом мне видно также, как он иногда задумчивой рысцой бежит по насыпной

дороге между старыми осинами, но такие прогулки годны лишь на то, чтобы

как-то убить время, в них нет самоутверждения, нет радости, нет жизни, и

уж совершенно немыслимо себе представить чтобы Баушан вздумал охотиться

без меня, хотя никто ему охотиться не запрещает и мое присутствие, как

будет видно из дальнейшего, вовсе для этого не обязательно.

 Жизнь его начинается, когда я выхожу из дому, - но, увы, и то не

всегда! Ведь в то.время, как я направляюсь к калитке, еще неизвестно, куда

я поверну - направо ли, вниз по аллее к просторам и уединению наших

охотничьих угодий, или налево, к трамвайной остановке, чтобы ехать в

город, а сопровождать меня Баушану есть смысл только в первом случае.

 Вначале он увязывался за мной и тогда, когда я отправлялся в этот

суматошный мир, с изумлением взирал на грохочущий трамвай и, поборов

страх, самоотверженно и слепо кидался за мной на забитую людьми площадку.

Но взрыв общественного негодования немедленно сгонял его на мостовую, и он

скрепя сердце пускался галопом вслед за звенящей и гремящей махиной,

нисколько не похожей на тележку,.между колесами которой он когда-то трусил

рысцой. Пока хватало сил и дыхания, Баушан честно старался не отставать.

Но бедного деревенщину сбивали с толку городская суматоха и толчея; он

попадал прохожим под ноги, чужие собаки бросались на него с тыла,

вакханалия резких, неведомых дотоле, запахов ударяла ему в нос и кружила

голову, углы домов, пропитанные густым ароматом былых любовных интриг,

неудержимо влекли его к себе, и он отставал; правда, потом ему удавалось

нагнать точно такой же вагон, бегущий по рельсам, но - увы! - это был не

тот вагон; Баушан мчался наугад все дальше и дальше, пока окончательно не

сбивался с пути; и лишь через два дня, измученный и голодный, являлся

наконец, прихрамывая, домой, в тишину виллы на берегу реки, куда тем

временем достало благоразумия вернуться и его хозяину.

 Это случалось не раз, потом Баушан смирился и больше не провожал меня,

когда я поворачивал налево. Лишь только я выхожу за дверь, он уже знает,

что у меня на уме: охота или светские развлечения. Он вскакивает с

половика, на котором лежал, поджидая меня в тени подъезда, сразу угадав

мои намерения по тому, как я одет, какая у меня тросточка, какое выражение

лица, по тому, взглянул ли я на него мельком, холодно и деловито, или же,

напротив, ласково и дружелюбно. Как тут не понять! Если по всему видно,

что прогулка состоится, он кубарем скатывается со ступенек и в немом

восторге гарцует впереди меня по направлению к калитке, а если надежды

нет, настроение его падает, он никнет, прижимает уши, вид у него

становится трагически печальный, а в глазах появляется то робкое,

жалковиноватое выражение,.которое в несчастье одинаково свойственно и

людям и животным.

 Иногда, наперекор всему, он отказывается верить, что на сегодня все

кончено и охота не состоится. Уж очень ему хотелось погулять! И, обманывая

себя, Баушан предпочитает не видеть ни городской тросточки, ни

благопристойной сюртучной пары, в которую я облекаюсь ради такого случая.

Он проталкивается вместе со мной в калитку, крутится "вокруг собственной

оси и, в надежде меня соблазнить, припускается галопом направо по аллее,

все время оглядываясь и не желая понять роковое "нет", которым я отвечаю

на все его ухищрения. А когда я тем не менее поворачиваю налево, он бежит

обратно и, громко сопя, с тонким жалобным присвистом, которого от волнения

не в силах сдержать, провожает меня вдоль всего нашего забора; дойдя до

решетки прилегающего парка, Баушан начинает прыгать через нее, туда и

обратно; решетка эта довольно высокая, и, боясь ободрать себе живот, он

всякий раз охает. Прыгает он с отчаяния, из того бесшабашного удальства,

которому все нипочем, а в основном, конечно, чтобы меня задобрить и

покорить своим усердием. Ведь еще не все потеряно, еще есть надежда, -

правда, очень слабая, - что в конце парка я не пойду к трамвайной

остановке, а еще раз сверну налево и, сделав небольшой крюк, чтобы

опустить письмо в почтовый ящик, все же поведу его в лес. Это хоть и

редко, но бывает, а когда и эта последняя надежда рассыпается прахом,

Баушан садится на землю и предоставляет мне идти на все четыре стороны.

 Так он и сидит посреди дороги в неуклюжей мужицкой позе и смотрит мне

вслед, пока я не дохожу до самого конца проспекта. Если я оборачиваюсь,

Баушан настораживает уши, но не бежит ко мне, - свистни я или позови его,

он все равно не пойдет, он знает, что это бесполезно. Вот и конец аллеи, а

Баушан все еще сиротливо сидит посреди дороги - крохотное, темное,

нескладное пятнышко, при виде которого у меня всякий раз сжимается сердце,

и я сажусь в трамвай, терзаясь угрызениями совести. Как он ждал! И что

может быть ужаснее мук ожидания! А ведь вся его жизнь - ожидание прогулки

со мной; не успеет он отдохнуть, как уж опять ждет, что я пойду с ним в

лес. Он и ночью ждет, потому что спит Баушан урывками круглые сутки, то

часик вздремнет на зеленом ковре лужайки, когда солнце славно припекает

спину, то прикорнет за дерюжными занавесками конуры, коротая длинный,

ничем не заполненный день. Но зато он не знает и ночного покоя, сон его

прерывист и тревожен, он кружит в темноте по двору и саду, бросается туда

и сюда и - ждет. Он ждет обхода сторожа с фонарем и, вопреки здравому

смыслу, провожает его шаркающие шаги угрожающим и призывным лаем, ждет,

квгда посветлеет небо, ждет, когда в дальнем садоводстве пропоет петух,

ждет, когда утренний ветерок проснется в ветвях и когда отопрут наконец

кухонную дверь и он сможет туда прошмыгнуть и погреться у плиты.

 И все же, думается мне, ночная пытка скукой для Баушана ничто по

сравнению с тем, что он испытывает днем, особенно в хорошую погоду; все

равно зимой или летом, когда солнце манит на волю, в каждой жилочке

трепещет страстное желание порезвиться и поиграть, а хозяин, без которого

прогулкой как следует не насладишься, будто назло, сиднем сидит за своей

стеклянной дверью. Подвижное тельце Баушана, в котором с лихорадочной

быстротой пульсирует жизнь, отдохнуло досыта, даже до пресыщения, о сне

нечего и думать. Он подымается на террасу, подходит к моей двери, со

вздохом, идущим из самой глубины души, растягивается на полу, кладет

голову на вытянутые лапы и обращает страдальческий взор к небу. Но,

впрочем, роль мученика он выдерживает секунды две-три, не более. Что бы

такое предпринять? Может, спуститься по ступенькам к пирамидальным туям,

что стоят по обе стороны куртины с розами, и поднять ногу - на ту, что

справа, которая из-за дурной привычки Баушана каждый год засыхает, так что

вместо нее приходится подсаживать новую? Итак, он спускается вниз и делает

то, в чем не испытывает ни малейшей нужды, но что может хоть на время

рассеять его и занять. Долго стоит он на трех ногах, несмотря на явную

бесплодность своих усилий, так долго, что четвертая нога у него начинает

дрожать, и Баушан вынужден подпрыгивать, чтобы сохранить равновесие. Потом

он опять становится на все четыре лапы, но, что ни делай, все равно ему не

легче. Тупо глядит он вверх, в сплетенные ветви ясеней, где, весело

щебеча, гоняются друг за дружкой две птички, и, когда они стрелой улетают,

проводив их долгим взглядом, отворачивается, будто пожимая плечами и

дивясь такой ребяческой беспечности. Затем он начинает потягиваться так,

что трещат все суставы, обстоятельности ради разделяя эту операцию на две

части: сначала он вытягивает передние ноги, высоко вскидывая зад, потом

вытягивает задние ноги и оба раза зверски зевает во всю пасть. Но вот и с

этим покончено, как ни старался он продлить удовольствие, а если уж ты

потянулся по всем правилам, сразу опять не потянешься. Баушан стоит и в

мрачном раздумье смотрит в землю. Наконец медленно и осторожно он начинает

кружиться на месте, будто собираясь лечь, но еще не зная наверное, как

лучше к этому приступиться. Тут, однако, его осеняет новая мысль: ленивой

походкой он идет на середину лужайки - и вдруг диким, почти бешеным

броском кидается на землю и давай кататься по зеленому бобрику

подстриженного газона, который щекочет и охлаждает ему спину. Такое

занятие, вероятно, сопряжено с чувством острого удовольствия, потому что,

катаясь по лужайке, Баушан судорожно поджимает лапы и в пылу упоения и

восторга хватает зубами воздух. Да, потому он и пьет до дна кубок

наслаждения, что знает, сколь это счастье недолговечно, ведь кататься по

траве можно от силы какие-нибудь десять секунд, и за этим наступит не

здоровая усталость, служащая наградой настоящей физической работе, а лишь

то отрезвление и постылая тоска, которыми мы расплачиваемся за хмель и.

пьяное беспутство. Несколько мгновений он лежит на боку, закатив глаза,

будто мертвый. Затем встает и отряхивается. Отряхивается так, как это

умеют только собаки, не рискуя получить сотрясение мозга; отряхивается

так, что все у него ходуном ходит, уши шлепаются о подбородок и губы

отскакивают от сверкающих белизной клыков. А дальше? Дальше он стоит

неподвижно в полной растерянности посреди лужайки и уж окончательно не

знает, чем себя занять. Бедняге остается лишь прибегнуть к крайнему

средству. Он подымается на террасу, подходит к застекленной двери и,

прижав уши, боязливо и нерешительно, словно нищий, протягивает лапу и

скребется в дверь - скребется только раз, да и то совсем тихо; но эта

робко и смиренно протянутая лапа, это слабое, не повторяющееся больше

царапанье в дверь, на которое он решается, не зная, как себе помочь,

переворачивает мне всю душу, и я встаю, чтобы открыть дверь и впустить его

к себе, хотя знаю, что к добру это не приведет. И правда, Баушан тотчас

принимается скакать и прыгать, призывая меня к более мужественным

занятиям, причем сразу же сбивает ковер в сотни складок и переворачивает

все в комнате вверх дном, так что прощай и покой и работа.

 Посудите же сами, легко ли мне, зная, как ждет меня Баушан, садиться в

трамвай, бросив и гнусно предав сиротдивое пятнышко в конце тополевой

аллеи! Летом, когда поздно темнеет, беда не велика, есть надежда, что я

хоть вечером пойду гулять в лес, и Баушан, прождав меня так долго, все же

не останется внакладе и, если ему улыбнется охотничье счастье, еще

погоняется за зайцем. Но зимой, когда я после завтрака уезжаю в город,

день бесповоротно потерян, и Баушан должен оставить всякую надежду на

целые сутки. Тогда ко времени моей вечерней прогулки уже давно спустились

сумерки, в наших охотничьих угодьях стоит непроглядная тьма, и я вынужден

направлять свои стопы вверх по реке, по улицам и городским скверам, где

сияют газ и электричество, что никак не вяжется с простыми и

неприхотливыми наклонностями Баушана; вначале он, правда, сопровождал

меня, но вскоре стал отпускать одного, предпочитая оставаться дома. Мало

того что там не порезвишься, - его тревожил неестественный полумрак, он

пугался прохожих, пугался кустов, с визгом Шарахался от взлетевшей

пелеринки полицейского, чтобы тут же, с Отвагой, порожденной страхом,

кинуться на не менее перепуганного блюстителя порядка, который облегчал

душу потоком угроз и ругательств по нашему адресу, - да каких только

неприятностей не бывало у нас, когда Баушан сопровождал меня под покровом

ночи! Раз уж я упомянул о постовом, мне хочется добавить, что есть три

категории людей, которых Баушан совершенно не терпит: это полицейские,

монахи и трубочисты. Он ненавидит их всем сердцем и провожает разъяренным

лаем всякий раз, как они проходят мимо нашего дома или вообще попадаются

ему на глаза.

 Притом зима, надо прямо сказать, время года, когда светская жизнь

особенно дерзко посягает на нашу свободу и добродетель, пора наименее

благоприятная для жизни размеренной и собранной, для уединения и тихого

раздумья, так что город притягивает меня очень часто еще и вечером, и лишь

поздно, в первом часу ночи, последний трамвай по дороге в парк доставляет

меня на лредпоследнюю свою остановку, а не то я возвращаюсь еще позднее,

когда уже никакйе трамваи не ходят, возвращаюсь пешком навеселе, с

сигаретой в зубах, слишком возбужденный, чтобы чувствовать усталость, во

власти той фальшивой беззаботности, при которой море кажется по колено. И

вот тут-то мой собственный угол, моя подлинная мирная и тихая жизнь

предстает предо мной в образе Баушана и не только -не встречает меня

обидами и попреками, но с ликованием приветствует, безмерно радуется и

возвращает меня самому себе. В полной темноте, определяя дорогу по шуму

реки, я сворачиваю на нашу аллею и едва успеваю пройти несколько шагов,

как чувствую вокруг себя какую-то безмолвную возню и движение. Сперва я не

понимаю, что происходит. "Баушан?" - спрашиваю я, обращаясь в темноту...

Движение и возня усиливаются до предела, переходят в дикую, неистовую

пляску - и все это в полном безмолвии, и лишь только я останавливаюсь,

честные, хотя и очень мокрые и грязные лапы опускаются на отвороты моего

пальто, и у самого лица слышится такое отчаянное сопение и пыхтение, что я

поневоле откидываюсь назад, но все-таки ласково треплю намокшую под дождем

и снегом худенькую лопатку... Бедняга ходил меня встречать к трамваю;

хорошо -изучив все привычки и повадки непутевого своего хозяина, он,

когда; по его представлению, подошло время, побежал на трамвайную

остановку и ждал там меня - может быть, даже долго ждал, под дождем и

снегом, - но в радости, с которой он меня приветствует, когда я наконец

возвращаюсь, нет ни злобы, ни обиды на постыдное мое вероломство, а ведь я

сегодня покинул его на целый день, и он ждал и надеялся понапрасну. И

когда я треплю его по спине, и когда мы вместе идем к дому, я не перестаю

его хвалить. Я говорю Баушану, что он поступил прекрасно, и даю самые

торжественные обещания на завтрашний день, заверяя его (вернее, самого

себя), что уж завтра днем мы непременно и при любой погоде сходим с ним на

охоту, и от таких намерений мое светское настроение улетучивается, как

дым, ко мне возвращается обычная спокойная серьезность и ясность, а

представление о наших охотничьих угодьях и о благодатном их уединении

наводит меня на мысль о более высоких, сокровенных и святых обязанностях...

 Но я хочу отметить еще некоторые черточки в характере Баушана, с тем

чтобы он как живой предстал перед взором благосклонного читателя. Быть

может, это всего лучше сделать, сравнив его с нашим безвременно погибшим

Перси, ибо вряд ли сыщешь внутри одной и той же родовой группы две столь

диаметрально противоположные натуры. Прежде всего следует иметь в виду,

что Баушан психически совершенно здоров, тогда как Перси, о чем вскользь

уже упоминалось и как нередко случается с собакамиаристократами, был от

рождения дурак и кретин, являя собой поучительный пример доведенной до

абсурда чистопородности. Об этом уже шла речь в более широкой связи. Здесь

достаточно противопоставить истинно народное здравомыслие, отличающее все

поведение и поступки Баушана, - например: когда я отправляюсь с ним на

прогулку или когда он встречает меня, эмоции его всегда протекают в рамках

обыкновенной и здоровой сердечности, без тени какой-либо истерии, меж тем

как Перси в аналогичных обстоятельствах подчас вел себя просто

возмутительно.

 И все же различие двух этих существ не исчерпывается сказанным; в

действительности оно противоречивее и сложнее. Баушан хотя и крепок как.

простолюдин, но как простолюдин чувствителен, тогда как его

аристократический предшественник, несмотря на более хрупкую и нежную

конституцию, обладал куда более гордой и непреклонной душой и, при всей

своей глупости, во многом превосходил деревенщину Баушана в смысле

выдержки и самодисциплины. Вовсе не в защиту аристократической догмы, а

единственно истины ради указываю я на это смешение противоположностей:

здоровья и дряблости, изнеженности и стойкости. Так, например, зимой, в

трескучий мороз, Баушану ничего не стоит провести ночь на улице, конечно,

на соломенной подстилке и за дерюжными занавесками конуры. Слабость

мочевого пузыря не позволяет ему находиться семь часов подряд в закрытом

помещении без того, чтобы не проштрафиться, поэтому, полагаясь на железное

здоровье Баушана, мы даже в самое неприютное время года не пускаем его в

комнаты. И вот всего один лишь раз, после очень уж студеной и туманной

ночи, Баушан явился на мой зов не только украшенный инеем, сказочно

распушившим ему усы и бороду, но и несколько простуженный, - он по-собачьи

сухо и односложно кашлял, - но через несколько часов справился с недугом,

и все у него прошло бесследно. Кто бы решился подвергнуть Перси, с его

тонкой и шелковистой шерстью, испытаниям подобной ночи? С другой стороны,

Баушан до смешного боится всякой, даже пустячной боли и выказывает при

этом такое малодушие, что это было бы противно, если бы его простоватая

наивность не обезоруживала своим комизмом. Когда в поисках дичи Баушан

продирается сквозь частый кустарник, я слышу, как он то и дело громко

взвизгивает, - это значит, что он наступил на колючку или его хлестнула по

носу ветка. А уж если Баушан, прыгая через ограду, упаси боже, чуточку

оцарапает себе живот или подвернет лапу, он испускает душераздирающий

вопль не хуже героя античной трагедии, прихрамывая, на трех ногах, спешит

ко мне и самым жалким образом скулит и хнычет, - причем хнычет и скулит

особенно пронзительно, когда его начинаешь утешать и жалеть, хотя через

какие-нибудь четверть часа бегает и скачет, позабыв о своих страданиях.

 Иное дело Персиваль. Тот, стиснув зубы, терпел. Плетки он боялся не

меньше Баушана, но отведывал ее, к сожалению, чаще, потому что, вопервых,

я был тогда моложе и вспыльчивее, а во-вторых, его дурость нередко

выражалась в упрямом и злобном своевольстве, которое бесило меня и которое

невозможно было оставить безнаказанным. Когда, выведенный из себя, я

срывал с гвоздя плетку, он, правда, заползал на брюхе под стол или

скамейку, но при наказаний не издавал ни единой жалобы, разве только тихо

застонет, если я уж очень больно хлестну, а дружище Баушан, тот, стоит мне

протянуть руку к плетке, уже заранее пищит со страху.

 Короче говоря - ни самолюбия, ни выдержки! Впрочем, поведение Баушана

редко дает повод к такого рода крайним мерам, поскольку я уже давно отвык

требовать от него действий, несовместимых с его натурой, что, конечно,

могло бы привести к неприятным столкновением.

 Так, например, я не спрашиваю с него никаких фокусов, да это было бы и

бесполезно. Он не ученый, не балаганное чудо, не танцующий на задних лапах

дурашливый пудель, он полный энергии юный охотник, а не какойнибудь

профессор. Я уже упоминал о том, что он великолепно прыгает.

 Когда нужно, Баушан преодолевает любое препятствие; если оно слишком

высоко, чтобы перемахнуть через него обычным прыжком, он подскакивает,

цепляется лапами и, подтянувшись, спрыгивает на другую сторону, словом,

берет его. Но препятствие должно быть настоящим препятствием, то есть

таким, под которое не просунешься и не подлезешь, иначе Баушан счел бы

безумием через него прыгать. Стена, ров, решетка, забор без лазеек - вот

настоящие препятствия. Прясло в изгороди или протянутая тросточка - не

препятствия, а потому незачем через них прыгать и валять дурака, наперекор

себе и здравому смыслу. Баушан не желает этого делать.

 Сколько я его ни заставлял перепрыгивать через такое воображаемое

препятствие - не желает, и баста! Бывало, обозлишься, возьмешь Баушана за

загривок и, хоть он и верезжит, перебросишь через жердь, а он, шельмец,

еще делает вид, что ты только этого и хотел, и приветствует такое

сомнительное достижение прыжками и восхищенным лаем. Можно бить его,

ласкать - ничем его не проймешь и не переубедишь: разум Баушана восстает

против явной бессмыслицы чистого фокуса. Он вовсе не невежа, он рад

угодить хозяину - и не только по собственной охоте, но и по моей просьбе

или приказанию с готовностью прыгает через сплошную изгородь и очень

бывает доволен, когда я его за это похвалю и приласкаю. А вот через жердь

или тросточку он ни за что не прыгнет, а непременно проскочит под нее,

хоть ты его убей. Он будет ползать у ног, скулить, молить c пощаде, потому

что боится боли, боится, как самый последний трус, но никакой страх и

никакая боль не заставят его пойти против внутреннего своего убеждения,

хотя физически прыжок через тросточку для него сущий пустяк. Потребовать

этого от него не значит ставить перед ним вопрос, будет он прыгать или

нет; вопрос предрешен, и приказ может привести только к одному - к порке.

Ибо требовать от Баушана непонятного и, по непонятности своей,

невыполнимого, с его точки зрения, значит только искать повода к

пререканиям, ссоре и порке, которые, по существу, уже заключены в самом

требовании. Таково, насколько я понимаю, мнение Баушана на сей счет,

причем я отнюдь не уверен, вправе ли мы назвать это Упрямством. Упрямство

может и должно быть сломлено; Баушан же скорее Умрет, нежели станет

исполнять какие-то бессмысленные фокусы.

 Загадочная душа! Такая близкая и вместе с тем непонятная, а в некоторых

проявлениях своих столь чуждая, что слова наши бессильны охватить ее

внутреннюю логику. Как, например, объяснить тягостную по своей нервной

напряженности и для участников и для свидетелей церемонию встречи и

знакомства или хотя бы взаимного ознакомления двух собак?

 Сотни раз на прогулках с Баушаном я наблюдал такого рода встречи,

вернее сказать, оказывался невольным и растерянным их свидетелем, и всякий

раз во время такой сцены обычно понятное мне поведение Баушана оставалось

для меня книгой за семью печатями, - при всем сочувствии к нему, мне не

удавалось вникнуть в ощущения, законы и родовые обычаи, лежавшие в основе

его действий. Поистине нет ничего более мучительного, захватывающего и

рокового, чем встреча двух собак на улице; кажется, будто над ними

властвуют недобрые чары. Это какая-то связанность - другого слова не

подберешь, - они и хотели бы, но не могут пройти мимо друг друга, и

замешательство их не знает границ.

 Я уж не говорю о таком случае, когда одна из сторон находится взаперти

за высоким забором; правда, и тогда нельзя предугадать, как тот и другой

поведут себя, но это все же наименее опасная ситуация. Они чуют друг друга

бог знает на каком расстоянии, и вдруг Баушан, как бы ища у меня защиты,

начинает жаться к моим ногам и скулить, выражая такую бесконечную душевную

боль и тоску, какую никакими словами не передашь; меж тем чужая собака за

забором подымает свирепый лай, будто бы рьяно охраняя владения хозяев,

лай, который, однако, тоже нет-нет да и сбивается.на плаксиво-ревнивое и

жалобное повизгивание. Мы приближаемся, вот мы уже поравнялись с забором.

Чужая собака поджидает нас, она бранится и оплакивает свое бессилие,

кидается, как безумная, на забор, всем своим видом показывая (насколько

это серьезно, одному богу известно), что непременно разорвала бы Баушана в

клочья, если бы только ей -дали волю. Тем не менее Баушан, который

преспокойно мог бы остаться рядом со мной и пройти мимо, подходит к

забору; он не может иначе поступить, он сделал бы это, даже если бы я ему

запретил: пройти мимо - значило бы преступить какие-то внутренние законы,

куда более глубокие и нерушимые, чем мой запрет. Итак, он подходит к

забору и прежде вГсего со смиренным и невозмутимым видом совершает

жертвоприношение, которое, как ему известно по опыту, должно несколько

успокоить и хоть ненадолго умилостивить противника, - во всяком случае, на

то время, пока он в другом месте, пусть даже рыча и повизгивая, занят тем

же делом. Вслед за тем оба пса срываются с места и начинают гоняться вдоль

забора, один по одну, другой по другую сторону, не отставая друг от друга

ни на шаг и совершенно молча. В конце участка оба одновременно

поворачивают и мчатся обратно. И вдруг, на середине, останавливаются как

вкопанные, причем уже не боком к забору, а перпендикулярно к нему, и,

приставив нос к носу, замирают. Так стоят они довольно долго, чтобы затем

продолжать свое странное и ничем не оправданное соревнование в беге,

плечом к плечу, вдоль забора. Но вот наконец Баушан, пользуясь своей

свободой, удаляется. Какая ужасная минута для запертого пса! Он не может

этого вынести, усматривает беспримерную подлость в том, что другой вздумал

так вот, ни с того ни с сего, взять да уйти, он рвет и мечет, носится, как

безумный, взад и вперед, грозится перескочить через забор, чтобы

расправиться с изменщиком, и шлет ему вдогонку самую страшную ругань и

проклятия. Баушан все это слышит и, должно быть, болезненно переживает, о

чем свидетельствует его тихий и смущенный вид; но он не оглядывается и не

спеша трусит дальше, а оскорбительная брань за нами мало-помалу переходит

в повизгивание и затем смолкает.

 Так примерно разыгрывается сцена, когда один из ее участников находится

взаперти. Однако напряжение достигает предела, когда оба пса на свободе и

встреча происходит в равных условиях; даже неприятно это описывать, ибо

нет ничего более каверзного, непонятного и удручающего.

 Баушан, который только что беззаботно прыгал вокруг, начинает пятиться

Повизгивая и скуля, льнет ко мне, и, хотя я затрудняюсь сказать, какие

чувства выражают эти идущие из глубины души звуки, они настолько отличны

от всех других, что по ним я безошибочно угадываю приближение незнакомого

пса. Надо глядеть в оба: так и есть, вон он идет, и еще издали по его

нерешительному и напряженному поведению, ясно, что пес тоже заметил

Баушана. Мое замешательство, пожалуй, ничуть не меньше; я отнюдь не жажду

этого знакомства. "Пошел прочь! - говорю я Баушану, - Что ты вертишься под

ногами? Неужели вам нельзя договориться между собой где-нибудь в

сторонке?" И я тростью пытаюсь отогнать его, потому что если дело дойдет

до драки, что отнюдь не исключено, - неза- висимо от того, понимаю ли я ее

причины или нет, - то разыграется она у моих ног, причинив мне совершенно

излишние волнения. "Пошел прочь!" - тихо повторяю я. Но Баушан не идет, он

весь как-то скован робко жмется ко мне и лишь на минутку отходит к деревцу

принести традиционную жертву, причем я вижу, как незнакомец в отдалении

приносит свою. Теперь нас разделяют всего каких-нибудь двадцать шагов,

напряжение еще возросло. Незнакомец прижался к земле и вытянул голову,

точно тигр, готовый к прыжку, и в этой разбойничьей позе поджидает

Баушана, явно намереваясь в подходящий момент кинуться на него. Однако

ничего подобного не происходит, да и Баушан, по-видимому, этого Не ждет;

так или иначе, он идет прямо на подстерегающего его хищника, идет, правда,

очень нерешительно, скрепя сердце, но все же идет, как пошел бы далее в

том случае, если бы я его бросил: свернул на боковую дорожку, предоставив

ему самому выпутываться из беды. Сколь ни тягостна бму эта встреча, он не

помышляет о том, чтобы уклониться от нее и улизнуть. Он идет будто

зачарованный, он связан с другим псом невидимой нитью, оба они связаны

между собой невидимыми таинственными нитями, которые не в силах порвать.

 Теперь нас разделяет всего два шага.

 Тут другой пес тихонько подымается, будто никогда не прикидывался

тигром из джунглей, и стоит точно так, как Баушан, - словно оплеванные, не

зная, на что решиться и как быть, стоят они друг против друга и не могут

разойтись. Они и хотели бы уйти, - недаром же они грустно косятся по

сторонам, - но обоих будто придавило сознание общей вины. Напряженно, с

хмурой настороженностью, они придвигаются и трутся боками, обнюхивая друг

у друга основание хвоста. При этом они обычно начинают урчать, и я,

понизив голос, предостерегающе окликаю Баушана, ибо сейчас, сию Минуту,

должно решиться, произойдет ли драка, или чаша сия меня минует. Но,

неизвестно как и еще менее почему, драка завязалась - Баушан чужая собака

сцепились в беспорядочный клубок, из которого вырывается яростное хриплое

рычанье и приглушенный визг. Тогда, во избежание несчастья, я начинаю

орудовать тростью, хватаю Баушана за ошейник или загривок, чтобы стряхнуть

повисшего на нем пса, и делаю еще много такого, отчего у меня долго потом

трясутся руки и дрожат колени. Бывает, однако, что после всех

приготовлений и церемоний встреча протекает гладко и, сверх ожиданий,

кончается ничем. Но даже когда дело обходится без драки, им трудно сойти с

места, их все еще крепко связывает какая-то внутренняя нить. Уж кажется,

они благополучно разошлись, не топчутся больше бок о бок, а стоят почти на

одной линии, - чужая собака, повернув шись в мою, Баушан - в

противоположную сторону, - они не глядят друг на друга, почти не

поворачивают головы и только уголком глаза, насколько это возможно, следят

за тем, что происходит позади. Но, несмотря на отделяющее их теперь

расстояние, крепкая и тягостная нить все еще держится, и ни тот, ни другой

не знает, наступила ли минута избавления, обоим до смерти хотелось бы

уйти, однако какая-то непонятная совестливость их удерживает. Но вот

наконец чары развеялись, нить порвалась, и Баушан, словно избавившись от

смертельной опасности, с легким сердцем, весело срывается с места.

 Я рассказал об этом, чтобы показать, какой чуждрй и непонятной кажется

мне в иных случаях внутренняя жизнь такого близкого друга:

 испытывая почти суеверный страх, глядишь и недоумеваешь и скорее

чувством, нежели разумом, пытаешься в нее вникнуть. В остальном душевный

мир Баушана не представляет для меня тайны, с сочувственной улыбкой

разгадываю я смысл его поступков, игру его физиономии, все его поведение.

Как знакома мне, например, манера Баушана громко, с визгом зевать, если он

разочарован прогулкой, слишком короткой и неудачной в спортивном

отношении, что случается, когда, поздно сев за работу, я только перед

самым обедом выхожу с ним пройтись и почти тут же поворачиваю обратно. Он

идет рядом со мной и зевает. Зевает самым бессовестным и неприличным

образом, отчаянно, с визгом, раздирая пасть и принимая

оскорбительно-скучающий вид. "Хороший же у меня хозяин! - кажется, говорит

этот зевок. - Поздно ночью я ходил встречать его к мосту, а сегодня он

засел за своей стеклянной дверью, заставил меня прождать целое утро, хоть

подыхай со скуки, а когда наконец удосужился выйти со мной погулять, сразу

повернул обратно. Даже нюхнуть дичи не дал. А-а-а-и-й!

 Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин! Дрянь, а не хозяин!"

 Вот о чем с грубой прямотой говорят его зевки, - не понять этого

нельзя. Я сознаю, что он прав, что я виноват перед ним, и, думая его

утешить, протягиваю руку, чтобы похлопать его по плечу или погладить по

голове. Но не больно-то он нуждается в моих ласках, он и принимать их не

хочет, снова еще более неучтиво зевает и увертывается от моей руки, хотя

по натуре, в отличие от Перси и в полном соответствии со своей

простонародной чувствительностью, очень любит всякие нежности. Особенно

нравится Баушану, когда ему почесывают шею; у него даже выработалась

забавная манера подталкивать головой мою руку себе под подбородок. А то,

что он не настроен нежничать, помимо разочарования, объясняется еще и тем,

что на ходу, точнее говоря, когда я в движении, он не видит в ласках ни

прелести, ни смысла. Он пребывает в слишком мужественном расположении

духа, чтобы находить в этом вкус. Но стоит мне сесть, как все разом

меняется. Баушан всей душой рад любезничать и отвечает на мои ласки даже,

я сказал бы, с излишней неуклюже-восторженной навязчивостью.

 Как часто, читая на любимой скамейке в укромном уголке сада за выступом

стены или, прислонившись спиной к дереву, на траве в лесу, я откладываю

книгу, чтобы поговорить и поиграть с Баушаном. Что я ему говорю? Обычно

повторяю его имя, то сочетание звуков, которое ему всего ближе, так как

обозначает его самого и оказывает на него поэтому магическое действие, -

подстегиваю и разжигаю его самомнение, заверяя его на все лады и призывая

хорошенько поразмыслить над тем, что его звать Баушан и что именно он и

есть это единственное л неповторимое существо; если долго его твердить,

его можно довести до состояния экстаза, опьянения собственным "я", в

котором Баушан начинает кружиться на месте и от спирающего грудь избытка

счастья и гордости, подняв морду, лаять на небо. Или мы еще развлекаемся

так: я легонько хлопаю его по носу, а он, щелкая зубами в воздухе, как это

делают собаки, ловя мух, притворяется, будто хочет укусить меня за руку. И

мы оба смеемся, да, да, Баушан тоже смеется, а я хоть и смеюсь, но это

удивительное зрелище трогает меня чуть ли не до слез. В самом деле, нельзя

без волнения видеть, как в ответ на шутку уголки рта и по-звериному впалые

щеки Баушана начинают вздрагивать и подергиваться, как неразумная морда

животного вдруг складывается в гримасу человеческого смеха, и этот смех

или, вернее, его тусклый, беспомощный, жалкий отблеск появляется, чтобы

тут же исчезнуть, уступив место страху и растерянности, и затем вновь

проступить в том же искаженно-карикатурном виде...

 Но довольно, я не намерен больше углубляться в частности. Меня и без

того смущает, что это краткое описание, помимо моей воли, так разрослось.

 Поэтому, не тратя лишних слов, я хочу показать своего героя во всем его

блеске, в родной стихии, в той жизненной обстановке, где он наиболее полно

бывает самим собой и которая особенно благоприятствует его талантам и

наклонностям, а именно на охоте. Но предварительно необходимо хоть

сколько-нибудь познакомить читателя с ареной этих радостей - с нашими

охотничьими угодьями, местностью у реки, ибо она тесно связана с личностью

Баушана, и я сроднился с ней и люблю и ценю ее, пожалуй, не меньше, чем

своего четвероногого друга, - пусть же послужит это достаточным основанием

для того, чтобы без дальнейших новеллистических мотивировок посвятить этой

местности следующую главу.

 УГОДЬЯ

 В садах нашего маленького, но широко раскинувшегося поселка, на фоне

нежных молодых насаждений, резко выделяются возвышающиеся над крышами

домов старые деревья-великаны, в которых безошибочно угадываешь коренных

уроженцев этих мест. Они гордость и краса нашей сравнительно молодой

колонии, и по мере возможности мы всячески старались сберечь и сохранить

их, а в тех случаях, когда при разбивке участков возникал конфликт с одним

из этих коренных уроженцев, то есть оказывалось, что такой вот замшелый

почтенный дед стоит на меже, забор описывает небольшой полукруг, с тем

чтобы включить его в сад, или же в бетоне стены учтиво оставлено свободное

пространство, и старик продолжает жить наполовину частной, наполовину

общественной жизнью, склоняя голые сучья под тяжестью снега или шелестя

своей мелкой, поздно распускающейся листвой.

 Великаны эти - ясени, дерево, которое очень любит влагу, что указы вает

на особенность почвы нашей местности. Только совсем недавно, каких-нибудь

полтора десятка лет назад, благодаря человеческой изобретательности здесь

стало возможно жить и хоть что-то сажать. А раньше тут была топь и глушь -

настоящее комариное царство, где только ивы, карликовые тополя да прочая

искривленная и низкорослая древесная мелочь гляделась в стоячие воды

болот. Дело в том, что эта полоска земли - плавни; на глубине нескольких

метров лежит водонепроницаемый слой, поэтому почва здесь всегда была

болотистой и в низинах держалась вода. Осушку произвели, опустив уровень

реки, - я мало что смыслю в технике, но, кажется, был применен именно этот

прием, - тем самым почвенная вода, которой некуда было просачиваться,

получила сток; теперь в реку впадают десятки подземных ручейков, и почва в

значительной мере уплотнилась - в значительной мере, потому что когда

изучишь местность, как изучили ее мы с Баушаном, то знаешь в зарослях,

вниз по реке, немало поросших камышом низинок, сохранивших свой

первоначальный вид: укромные уголки, где даже в самый знойный летний день

царит влажная прохлада и где приятно посидеть и отдохнуть в жару.

 Вообще местность эта весьма своеобразна, и с первого же взгляда

чувствуешь, как не похожа она на знакомый нам пейзаж горных рек - с

хвойными лесами и мшистыми полянами; даже после того, как ее прибрала к

рукам компания по продаже земельных участков, она, повторяю, не утратила

своего первоначального своеобразия, и не только в садах, но и повсюду

исконная растительность явно преобладает над пришлой и подсаженной. В

аллеях и в парке встречаются, правда, дикий каштан, быстрорастущий клен,

даже бук и всевозможные декоративные кустарники, но все это не здешнее, а

посаженное, так же как и пирамидальные тополя, выстроившиеся в ряд, точно

гренадеры, но бесплодные, несмотря на свою мужественную красоту. Я говорил

уже о ясене, как о дереве-аборигене, - он попадается здесь на каждом шагу

и представлен всеми возрастами, от нежной молодой поросли, лезущей прямо

из щебня, как сорняк, до могучих столетних великанов; именно ясень вместе

с серебристым тополем, осиной, березой, ивой и тальником придают ландшафту

его особый характер. Но все это породы мелколиственные, а мелкость и

изящество листвы, особенно на какой-нибудь древесной громадине, сразу

бросается в глаза и служит отличительным признаком местности. Исключение

составляют только вязы, подставляющие солнцу свои широкие, с цильчатыми

краями, блестящие и клейкие с верхней стороны листья, а также множество

всяких вьющихся растений, обвивающих стволы более молодых дерев и

смешивающих свою листву с их листвой, так что одну от другой даже трудно

отличить. В низинах стройные тоненькие ольхи сбегаются рощицами. Липа,

напротив, встречается очень редко, а дуб вовсе отсутствует, так же как и

ель. Но по всему восточному склону - граница нашего района, где совсем

иная почва и потому иная растительность, - высятся ели. Черные на фоне

неба, стоят они, точно стража, и зорко наблюдают сверху за нашей долиной.

 От склона холма до реки не больше пятисот метров, я шагами отмерил это

расстояние. Вниз по течению прибрежная полоса веерообразно расширяется, но

это почти незаметно. Всего-то узенькая полоска, а какое удивительное

разнообразие, хотя мы с Баушаном почти никогда далеко не ходим вниз по

реке: походы наши, считая путь туда и обратно, в общей сложности занимают

часа два, не больше. Постоянная смена впечатлений и возможность бесконечно

разнообразить и варьировать прогулки, так что даже при давнем знакомстве с

местностью она не приедается и ландщафт не кажется . ограниченным,

объясняется тем, что она четко разделена на три совершенно несходные между

собой области, или зоны, из которьцс, можно выбрать для прогулки

какую-нибудь одну или же, пользуясь поперечными тропами, пересечь все три

поочередно: с одной стороны - это область реки с примыкающим к ней

берегом, с другой - область горного склона, а посередине - область леса.

 Наибольшее пространство занимает зона леса, или парка, чащи, прибрежных

зарослей - не знаю даже, как сказать, ятобы точнее и нагляднее, чем словом

"лес", обозначить особую прелесть этого места. Конечно, это вовсе не то,

что мы обычно понимаем под словом "лес" - этакая просторная зала с гладким

полом, устланным мхом и опавшими листьями, и прямыми, ровными

колоннами-стволами. Деревья наших охотничьих угодий самого различного

возраста и толщины; среди них, особенно вдоль реки, но также и в глубине

леса, попадаются настоящие исполины - родоначальники многочисленного

племени ив и тополей; есть и возмужалый молодняк десяти - пятнадцати лет

и, наконец, легионы тонюсеньких стволиков, посаженные самой природой дикие

питомники ясеней, берез, ольхи, которые, однако, отнюдь не выглядят

худосочными, потому что, как я уже говорил, их снизу доверху густо

опутывают ползучие растения, так что кажется, будто ты попал в тропики.

Впрочем, я подозреваю, что эти постояльцы все же задерживают рост

приютивших их деревьев, я живу здесь не один год и что-то не замечаю,

чтобы стволики стали хоть скольконибудь толще.

 Деревья тут состоят из немногих родственных пород. Ольха одного

семейства с березой, тополь не очень-то в конце концов отличается от ивы!

 А все вместе, пожалуй, приближаются к типическим очертаниям этой

последней; лесоводам известно, как приспосабливаются деревья к характеру

окружающей местности, не хуже женщин склонны они подражать гос--

подствующим линиям и формам. Здесь же господствуют причудливо изломанные

формы ивы, верной и постоянной спутницы всяких проточных и стоячих вод.

Будто ведьма из сказки, стоит она, протянув вперед руки со скрюченными

пальцами, из которых в разные стороны торчат метлы ветвей. Ей-то, должно

быть, и пытаются подражать все остальные. Серебристый тополь изгибается

точь-в-точь как она, а от тополя, в свою очередь, не сразу отличишь

березу, которая, соблазнившись местной модой, принимает порой самые

диковинные позы, - хотя это отнюдь не значит, что здесь не встречаются, и

в достаточном количестве, очень статные, а при выгодном вечернем освещении

попросту обворожительные особи этого милого дерева.

 Здешние края знавали его и серебряным стерженьком, увенчанным редкими,

торчащими врозь листиками; и миловидной стройной красавицей с нарядным,

белым, как мел, стволом, кокетливо и мечтательно распустившей по плечам

зеленые кудри; и старухой поистине слонообразных размеров, со стволом в

три обхвата и грубой черной потрескавшейся корой, только вверху еще

сохранившей признаки былой белизны...

 Почва в этих местах имеет очень мало общего с обычной лесной почвой.

 Это галька, глина, а местами чистый песок, так что, казалось бы, ничего

на ней расти не может. Однако, в пределах своих возможностей, она

необычайно плодородна. Здесь растет высокая трава, напоминающая сухую

остролистую траву, что встречается в дюнах, зимой она устилает землю,

словно примятое сено, а иногда прямо переходит в тростник; в других местах

эта трава, напротив, становится мягкой, густой и пышной и вперемежку с

болиголовом, крапивой, мать-и-мачехой, всевозможными ползучими растениями,

огромным чертополохом и гибкими молодыми побегами деревьев служит хорошим

прибежищем фазанам и другим птицам, любящим ютиться среди шишковатых

корней. Из этой зеленой гущины всюду тянутся вверх и обвиваются спиралью

вокруг деревьев широколистые гирлянды дикого винограда и хмеля, даже зимой

продолжают они льнуть к стволам своими жесткими плетями, похожими на тугие

веревки.

 Нет, это не лес, не парк, а настоящий волшебный сад. Да, волшебный сад,

хотя речь идет о природе скудной, убогой и даже в какой-то мере

искалеченной, описание которой исчерпывается десятком простейших

ботанических названий. Местность то и дело волнообразно подымается и

опускается, что и придает такую завершенность, такую глубину и замкнутость

пейзажу. Если бы лес здесь тянулся по сторонам на много миль или хотя бы

даже вширь на такое же расстояние, как в длину, а не насчитывал какую-то

сотню шагов от середины до края, и тогда ощущение уединенности, глуши и

оторванности от мира не могло бы быть большим. Только доносящийся с

востока мерный шум напоминает о дружеской близости реки, не видной

отсюда... Тут есть лощины, сплошь заросшие бузиной, бирючиной, жасмином и

черемухой, от аромата которых в паркие июньские дни тяжело дышать. А есть

овраги - самые обыкновенные выемки для добычи гравия, - где по склонам и

на дне ничего не растет, кроме сухого шалфея да нескольких прутиков ивы.

 Хотя я живу здесь несколько лет и каждый день бываю в лесу, все это до

сих пор кажетвя мне необыкновенным и удивительным. Листва ясеней, похожая

на гигантские папоротники, вьющиеся растения, тростник, эта сырость и

сушь, эта убогая чащоба неизменно волнуют мое воображение; временами мне

кажется, будто я перенесся в другую геологическую эру или в подводный мир,

кажется, будто я бреду по морскому дну, что, впрочем, не так уж далеко от

истины, потому что тут и в самом-деле когда-то была вода, - во всяком

случае, в тех низинах, которые теперь, в виде прямоугольных полян с

посеянными самой природой дикими питомниками ясеня, служат пастбищем

овцам; одна такая поляна находится возле самого нашего дома.

 Чаща вдоль и поперек изрезана тропинками: иногда это только вьющаяся

среди деревьев ленточка примятой травы, иногда дорожка, конечно, не

проложенная, а просто протоптанная, хотя непонятно, кто и когда протоптал

ее, потому что мы с Баушаном обычно никого в лесу не встречаем, а уж если,

в биде исключения, нам кто-нибудь вдруг попадется навстречу, спутник мой

остановится, недоуменно поглядит на чужака и глухо тявкнет, что довольно

точно выражает и мое отношение к событию. Даже летом, в погожие воскресные

дни, когда к нам на лоно природы из города валят толпы людей (здесь

как-никак на несколько градусов прохладнее), по этим стежкам можно

бродить, не боясь столкнуться с гуляющими: большинство горожан не знает об

их существовании, а кроме того, всех, как полагается, неудержимо тянет к

воде, и людской поток движется вдоль берега реки, по каменной каемке, если

только она не залита водой, а вечером тем же путем возвращается в город. В

лесу наткнешься разве что на юную парочку под кустом, - дерзко и боязливо,

как зверьки, выглядывают влюбленные из своего убежища, словно намереваясь,

заносчиво спросить нас, уж не возражаем ли мы, что они тут сидят и

развлекаются на свободе, - предположение, которое мы молча отвергаем тем,

что спешим пройти мимо: Баушан со свойственным ему безразличием ко всему,

что не пахнет дичью, а я с каменным и бесстрастным лицом, не выражающим ни

одобрения, ни порицания и явно говорящим, что мне до них нет никакого дела.

 Но эти тропки не единственные пути сообщения в моем парке. Там есть и

улицы - вернее сказать, остатки того, что некогда было улицами, или должно

было ими стать, или когда-нибудь, с божьей помощью, еще станет...

 Дело в том, что следы кирки первооткрывателей и необузданной

предпринимательской деятельности встречаются далеко за пределами

отстроенной части местности - нашего небольшого поселка. В ту пору

размахивались широко, строили самые смелые планы. Компания по продаже

земельных участков, которая лет десять - пятнадцать назад забрала в свои

руки всю прибрежную полосу, затевала нечто куда более грандиозное (в том

числе и по части дивидендов), чем потом получилось: не как нынешняя жалкая

кучка вилл был задуман наш поселок. Земли под участки хватало с избытком,

с добрый километр вниз по реке все было подготовлено, да и сейчас готово к

приему любителей оседлого образа жизни и земельных спекулянтов. На

заседаниях правления компании утверждались щедрые сметы. Мало того что

были укреплены берега реки, устроена набережная, разбит парк, рука

цивилизации протянулась и дальше в мес; там корчевали, насыпали гравий, в

самой чаще вдоль и поперек прорубали просеки - прекрасно задуманные

великолепные улицы или наброски будущих улиц, с обозначенными щебнем,

мостовыми и широкими тротуарами для пешеходов, по которым, однако,

прохаживаемся только мы с Баушаном; он - на неизносимо-добротных подошвах

своих четырех лап, а я - в башмаках, подбитых гвоздями, чтобы не сбить

ноги о камень. Да это и понятно, виллы, которым, по замыслам и расчетам

компании, давным-давно надлежало красоваться среди зелени, так до сих пор

и не построены, и это несмотря на то, что я подал благой пример, поставив

себе здесь дом. Прошло уже десять или пятнадцать лет, а этих вилл нет как

нет, - не мудрено, что на всем вокруг лежит печать унылого запустения, а

компания не желает больше вкладывать деньги и достраивать начатое с таким

размахом.

 А ведь эти улицы без жителей уже имеют названия, как всякие другие в

городе или в предместье; и я бы дорого дал, чтобы узнать, какой это

фантазер и глубокомысленный эстет из земельных спекулянтов был их крестным

отцом. Тут есть улица Геллерта, улица Опица, Флемминга, Бюргера и даже

Адальберта Щтифтера, по которой я с чувством особой признательности и

благоговения прохаживаюсь в своих подбитых гвоздями башмаках. На углах

просек поставлены столбы, как это делается на недостроенных окраинных

улицах, где нет углового дома, и к ним прибиты таблички с названием: синие

эмалевые таблички с белыми литерами. Но, увы, таблички эти несколько

обветшали, - слишком уж давно обозначают они наименование

запроектированных улиц, на которых никто не желает селиться, и, может

быть, они-то яснее всего и говорят о запустении, банкротстве и застое в

делах. Никому до них нет дела, никто их не подкрашивает, от солнца и дождя

синяя эмаль облупилась, сквозь белые литеры проступила ржавчина, так что

на месте некоторых букв остались либо рыжие пятна, либо просто дыры с

противной ржавой бахромой по краям, и название поэтому иногда так

искажается, что его и не прочтешь. Помню, когда я только что поселился

здесь и начал исследовать окрестности, мне долго пришлось ломать себе

голову над одной такой табличкой. Это была на редкость длинная табличка, и

слово "улица" сохранилось полностью, зато в самом названии, которое, как я

уже говорил, было очень длинным или, вернее, должно было быть длинным,

большая часть букв стерлась или же была изъедена ржавчиной: их можно было

сосчитать по коричневым пятнам, но разобрать что-либо, кроме половинки "в"

в начале, "ш" где-то посередине да еще "а" в конце, не представлялось

возможным. Для моих умственных способностей отправных данных оказалось

маловато, и я решил, что в этом уравнении слишком много неизвестных. Долго

стоял я, задрав голову и заложив руки за спину, изучая длинную табличку.

Потом мы с Баушаном пошли дальше по тротуару. Но хотя я, казалось, думал о

других вещах, во мне шла подсознательная работа, мысль моя упорно

возвращалась к стертому имени на табличке, и вдруг меня осенило, - я даже

остановился с испугу, затем поспешил обратно к столбу, снова уставился на

табличку и прикинул. Да, так оно и есть. Оказывается, я бродил не более и

не менее, как по улице Вильяма Шекспира.

 Таблички под стать улицам, и улицы под стать табличкам - запущенные,

погруженные в тихую дремоту. Справа и слева стоит лес, через который улицы

эти были прорублены, и лес-то уж не дремлет; он не. дает улицам ждать

десятилетиями, пока их заселят, он делает все, чтобы снова сомкнуться, -

ведь здешняя растительность не боится камня, она давно к нему

приспособилась; и вот пурпурный чертополох, голубой шалфей, серебристая

верба и нежная зелень молодых ясеней выбиваются из мостовых и даже

бесстрашно лезут на тротуары; нет сомнения, что улицы, носящие имена

поэтов, зарастают, что лес мало-помалу поглощает их, и, будем ли мы

сожалеть о том или радоваться, все равно через десяток лет улицы Опица и

Флемминга станут непроходимыми, а скорее всего, просто исчезнут. Сейчас,

правда, жаловаться не приходится: с точки зрения живописной и

романтической, они в нынешнем своем виде самые прекрасные улицы на свете.

Приятно бродить по таким недоделанным улицам, когда ты обут в крепкие

башмаки и не чувствуешь под ногами щебня, и глядеть поверх дикой поросли,

покрывающей мостовые, на мелкую, будто склеенную теплой влагой, листву,

которая обрамляет и замыкает эти улицы со всех сторон. Такую листву писал

великий лотарингский пейзажист три века назад... Но что я - такую? Не

такую, а эту самую! Он был здесь, он бродил по этим местам и, конечно,

прекрасно знал их; и если бы делец-фантазер из правления компании,

окрестивший мои лесные улицы, не так строго придерживался рамок

литературы, то на одной из проржавевших табличек я мог бы угадать имя

Клода Лоррена.

 Итак, я описал среднюю, лесную область. Но район восточного склона тоже

по-своему привлекателен и для меня и для Баушана, и мы, как это будет

видно из дальнейшего, отнюдь-.им не пренебрегаем. Его можно было бы

назвать также зоной ручья, потому что именно ручей и придает ландшафту

столь идиллический характер и, в мирной безмятежности своих усыпанных

незабудками берегов, представляет разительный контраст могучей реке,

отдаленный шум которой, при частом у нас западном ветре, хоть и слабо, но

долетает сюда. В том месте, где первая из поперечных улиц, наподобие дамбы

идущая от тополевой аллеи между полянами и лесными участками по

направлению к склону, упирается в его подножье, слева круто спускается

вниз дорога, по которой з-имой молодежь катается на санках. Ручей берет

свое начало дальше, там, где дорога уже идет по ровной местности, и по его

берегу, с правой или с левой стороны, а не то и переходя с одной стороны

на другую, вдоль постоянно изменяющего свой облик склона горы, охотно

прогуливаются хозяин и собака. Слева - расстилаются луга с разбросанными

по ним купами деревьев. Неподалеку виднеются сараи и какие-то постройки

крупного садоводства, рядом - пасутся и пощипывают клевер овцы под началом

довольно бестолковой девочки в красном платье, которая в упоении властью

не своим голосом кричит на них, упершись руками в коленки, но втайне

ужасно боится большого барана, очень величественного и важного в густой

своей шубе, так что тот совсем перестал ее слушаться и делает что хочет.

Особенно истошно кричит девочка, когда овцы при появлении Баушана

панически разбегаются, что происходит почти всякий раз помимо его воли и

желания, ибо Баушану до овец нет никакого дела, он смотрит на них, как на

пустое место, и даже старается предотвратить их безумства, проходя мимо с

подчеркнутой осторожностью, безразличием и презрительным высокомерием.

 Для моего обоняния овцы пахнут достаточно сильно (впрочем, я не сказал

бы, что уж так неприятно), но это все-таки не запах дичи, и потому Баушану

совсем неинтересно за ними гоняться. И все же достаточно одного его

резкого прыжка или даже просто его появления, чтобы стадо, которое за

минуту до того мирно паслось, разбредясь по всему пастбищу и блея на все

голоса, мгновенно сбилось в кучу и шарахнулось в сторону; а глупая дев-,

чонка, низко согнувшись, кричит им вслед так, что у нее срывается голос и

глаза вылезают из орбит. Баушан же недоуменно оборачивается ко мне, будто

призывая меня в свидетели полной своей непричастности. "Ну скажи, при чем

тут я? Ведь, право же, я их не трогал", - выражает все его существо.

 Но однажды случилось нечто прямо противоположное, - происшествие,

пожалуй, даже более тягостное и, во всяком случае, куда более

удивительное, нежели обычная овечья паника. Овца, самый обыкновенный

экземпляр своей породы, среднего роста, с заурядной овечьей мордой, но с

тонким, приподнятым в уголках, будто улыбающимся, ртом, придававшим этой

твари выражение какой-то злобной глупости, по-видимому, не на шутку

пленилась Баушаном и увязалась за ним. Она просто за ним пошла, отделилась

от стада, бросила вигон и молча, идиотски улыбаясь, тащилась за ним по

пятам. Он сойдет с дороги - и она за ним; он побежит - и она припустится

галопом; он остановится - и она тоже станет позади него и загадочно

улыбается. Баушан был явно недоволен и смущен; да и в самом деле он попал

в дурацкое, я бы сказал, нелепейшее положение, ничего более глупого

никогда не случалось ни с ним, ни со мной. Овца уже изрядно удалилась от

стада, но это, по-видимому, ее ничуть не тревожило. Она шла следом за

обозленным Баушаном, решив, должно быть, никогда с ним больше не

разлучаться и, прилепившись к нему, идти за ним хоть на край света.

Присмирев, Баушан старался держаться поближе ко мне не столько из страха

перед навязчивой особой, - для чего, собственно, не имелось никаких

оснований, - сколько от стыда за такой срам. Наконец вся эта история ему,

видимо, осточертела, он остановился и, повернув голову, угрожающе зарычал.

Тут овца заблеяла, ну совсем как если бы ехидно засмеялся человек, и это

так испугало бедного Баушана, что, поджав хвост, он пустился наутек, а

овца вприпрыжку кинулась за ним.

 Между тем мы довольно далеко отошли от стада, и глупая девчонка уже не

кричала, а дико вопила, чуть не лопаясь с натуги; теперь она не только

пригибалась к коленкам, а, помогая крику, вскидывала коленки под самый

подбородок, так что издали казалась беснующимся красным пятном. То ли на

ее крик, то ли просто заметив что-то неладное, из-за построек выбежала

скотница в фартуке. В одной руке у нее были вилы, другой она придерживала

колыхавшуюся на бегу грудь. Тяжело дыша, она подбежала к нам и,

замахиваясь вилами на овцу, которая тем временем сбавила шаг, потому что и

Баушан пошел тише, пыталась повернуть беглянку к стаду, но ей это не

удавалось. Овца, правда, отскакивала в сторону от вил, но, описав круг,

опять трусила вслед за Баушаном, и никакими силами ее нельзя было отогнать

от него. Тут я понял, что единственный выход - повернуть обратно. И все мы

пошли назад: я, рядом со мной Баушан, за ним овца, а за овцой скотница с

вилами. Между тем девочка в красном, согнувшись, топотала ногами и что-то

выкрикивала нам навстречу. Мы вернулись к стаду, но на этом мытарства наши

не кончились; пришлось довести дело до конца, то есть дойти до скотного

двора и овчарни и ждать, пока скотница, навалившись всей тяжестью на

раздвижную дверь, не отворит ее. А когда вся процессия, соблюдая тот же

порядок, вошла туда, мы потихоньку выскользнули из овчарни, захлопнув

дверь перед носом одураченной овцы, так что она оказалась в плену. Только

после этого, напутствуемые благодарностями скотницы, Баушан и я могли

продолжать прерванную прогулку, но бедняга до самого нашего возвращения

домой был не в духе и выглядел пристыженным.

 Но хватит об овцах. Слева к садоводству примыкает вытянувшийся в длину

дачный поселок; легкие фанерные домишки и беседки, очень похожие на

часовенки, посреди крохотных огороженных решетками садиков, придают ему

сходство с кладбищем. Сам поселок тоже обнесен оградой; только счастливые

владельцы участков могут проникнуть туда через решетчатые ворота, и порой

я вижу, как какой-нибудь любитель-садовод, засучив рукава, усердно

вскапывает свой огородик шага в четыре длиной, а издали кажется, что он

роет себе могилу. Потом опять идут луга, покрытые бугорками кротовых нор,

они тянутся до самой опушки леса средней зоны. Кроме кротов, тут водится

уйма полевых мышей - что следует иметь в виду, памятуя о многообразии

охотничьих вкусов Баушана.

 По другую сторону, то есть справа, ручей бежит все дальше вдоль склона,

который, как я уже говорил, постоянно меняет свой облик. Сперва этот

склон, поросший елями, угрюм и сумрачен, дальше он переходит в ярко

отражающий солнечные лучи песчаный карьер, еще немного дальше - в

гравиевый карьер и, наконец, в осыпь из битого кирпича, словно кто-то там,

наверху, развалил дом и ненужные обломки скинул вниз, так что ручей на

своем пути наталкивается на неожиданное препятствие. Но все ему нипочем,

он лишь ненадолго замедляет свой бег и чуточку выступает из берегов, а

красная от кирпичной пыли вода его, омыв прибрежную траву, оставляет на

ней розоватый след. Но вот затор позади, и ручей бойко спешит дальше, еще

чище и прозрачнее прежнего, весь осыпанный солнечными блестками.

 Я люблю ручьи, люблю, как и всякую воду, будь то море или поросшая

камышом лужица, и, когда летом в горах до моего слуха откуда-то доносится

тихий говор и болтовня ручейка - я иду на этот звук и готов пройти сколько

угодно, лишь бы разыскать, где спрятался словоохотливый-сынок горных

высот, поглядеть ему в лицо и познакомиться с ним. Хороши горные потоки,

которые, по-весеннему грохоча, сбегают между елями с крутых уступов скал,

собираются в ледяные купели и, окруженные белым облаком брызг, отвесно

падают на следующий уступ. Но и ручьи равнин тоже по-своему привлекательны

и дороги мне - все равно, мелкие ли, едва покрывающие отшлифованные

скользкие камешки на дне, или глубокие, как небольшие речки, стремительно

несущие свои воды в тени низко склонившихся ив, замедляющие бег у берега и

убыстряющие его на середине.

 Кто из нас не предпочитал всем удовольствиям пешую прогулку вдоль

берега реки? То, что вода имеет для человека такую притягательную силу,

естественно и закономерно. Человек - дитя воды, ведь наше тело на девять

десятых состоит из нее, и на какой-то стадии внутриутробного развития у

нас появляются жабры. Для меня лично любоваться водой во всяком ее

состоянии и виде - самый проникновенный и непосредственный способ общения

с природой; только любуясь водой, я сливаюсь с природой до самозабвения,

до растворения моего собственного ограниченного бытия в бытии вселенной.

Вид моря, дремлющего или с грохотом набегающего на берег, приводит меня в

состояние такого глубокого безотчетного забытья, такой самоотрешенности,

что я утрачиваю всякое ощущение времени, перестаю понимать, что такое

скука, и часы наедине с природой летят, как минуты. Но так же могу я без

конца стоять, облокотившись на перила мостков, переброшенных через ручей,

и, забыв обо всем, смотреть, как внизу течет, бежит и струится вода, и

тогда то, другое течение вокруг меня и во мне - быстрый бег времени - не

властно надо мной, и я уж не ведаю ни страха, ни нетерпения. Я люблю

стихию воды, и потому мне так дорога наша узенькая полоска земли между

рекой и ручьем.

 Здешйий ручей принадлежит к самым скромным и простым из разнообразного

семейства ручьев; ничем он особенным не примечателен, и характер у него

такой, какому и полагается быть у всякой благодушной посредственности. До

наивности прозрачный, не ведая ни лжи, ни фальши, он далек от того, чтобы,

прикрываясь мутью, изображать глубину: он мелок, чист и бесхитростно

выставляет напоказ покоящиеся на дне его, среди золеной тины, старые

жестяные кастрюли и останки башмака со шнурком. Впрочем, он достаточно

глубок, чтобы служить приютом хорошеньким серебристо-серым, удивительно

прытким рыбешкам, которые при нашем приближении замысловатцми зигзагами

бросаются врассыпную.

 Кое-где ручей образует бочажки, и его обрамляют чудесные ивы; особенно

полюбилась мне одна, - проходя мимо, я всякий раз на нее засматриваюсь.

 Она растет на склоне, в некотором отдалении от воды. Но одна из ее

ветвей в страстной тоске тянется вниз к ручью и достигла, казалось бы,

невозможного: струйки прохладной воды омывают серебристую листву самой

нижней веточки. А ива стоит, наслаждаясь этим прикосновением.

 До чего же хорошо идти здесь, подставляя лицо теплому летнему ветерку.

Жарко, и Баушан лезет в ручей охладить живот; спину и плечи он никогда по

доброй воле в воду не окунет. Он стоит неподвижно и, прижав уши, со

смиренным видом смотрит, как вода обтекает его и, журча, струится у него

из-под брюха. Но вот он бежит ко мне отряхиваться, так как, по его

глубокому убеждению, это почему-то нужно делать в непосредственной

близости от меня, и, конечно, отряхивается с такой силой, что обдает меня

с головы до ног дождем брызг и тины. И как я его ни отгоняю, и словами и

тростью, - все без толку. Тем, что кажется ему естественным, закономерным

и необходимым, он никогда не поступится.

 Дальше ручей поворачивает на запад к маленькой деревушке, которая,

раскинувшись между лесом и склоном, замыкает вид с севера; на краю ее

стоит трактир. Там ручей опять расширяется наподобие пруда; крестьянки,

стоя на коленях, полощут в нем белье. На ту сторону переброшены мостки, и;

если пройти по ним, попадаешь на проселочную дорогу, которая идет от

деревни опушкой леса и краем огороженного выгона по направлению к городу.

Если свернуть с проселка направо, можно по такой же изъезженной разбитой

дороге, ближним путем через лес, попасть к реке.

 Итак, мы добрались до зоны реки, и вот сама река перед нами, зеленая, в

белой кипящей пене; по существу, это просто большой горный ручей, но его

несмолкаемый шум, который слышится по всей окрестности, где более, где

менее приглушенно, а здесь, ничем не сдерживаемый, заполняет слух, может,

на худой конец, сойти за священный рев морского прибоя. К этому шуму

примешивается беспрерывный крик множества чаек, которые осенью, зимой и

даже еще ранней весной с голодным воплем кружатся у сточных труб, добывая

себе пищу, пока наступление тепла не позволит им снова отлететь на горные

озера; и кряканье диких и полудиких уток, которые тоже проводят холодное

время года поблизости от города, качаются на волнах и, отдав себя во

власть быстрине, позволяют ей кружить их и нести к порогам, чтобы в самый

последний миг взлететь и немного выше снова сесть на воду...

 Прибрежная область, в свою очередь, состоит из нескольких областей

помельче, или своего рода уступов. У опушки леса, как бы продолжая

тополевую аллею, о которой я уже не раз упоминал, лежит широкая, покрытая

крупным щебнем равнина, простирающаяся примерно на километр вниз по реке,

а именно до домика перевозчика, - об этом домике еще будет речь впереди, -

за ним чаща подступает ближе к берегу. Что это за пустыня из щебня, мы уже

знаем: это первый и главный из продольных проспектов, на котором компания

по продаже земельных участков, прельстившись чудесным видом, задумала

устроить роскошную эспланаду для гулянья:

 тут кавалеры на кровных лошадях, склонившись к дверцам великолепных

лакированных ландо, должны были обмениваться тонкими любезностями с

откинувшимися на сиденья улыбающимися дамами. Возле домика перевозчика

большая доска с объявлением, наклонившаяся и готовая от ветхости упасть,

проливает свет на то, куда должен был на первых порах устремляться поток

экипажей и верховых, на конечную цель гуляния; огромными буквами она

оповещает, что угловой участок продается под ресторан или кафе на открытом

воздухе... Да, продается и, видимо, еще долго будет продаваться. Потому

что вместо кафе на открытом воздухе, вместо маленьких столиков, снующих

официантов и посетителей, прихлебывающих кофе, тут все еще висит

покосившаяся доска с объявлением, воплощенное свидетельство безнадежно

падающего предложения при отсутствии спроса, а шикарный проспект так и

остался покрытой щебнем пустыней, где ивняк и голубой шалфей разрослись

почти так же буйно, как на улицах Опица и Флемминга.

 Рядом с эспланадой, ближе к реке, проходит узенькая, покрытая

щебнем-насыпь с травянистыми откосами, на которой стоят телеграфные

столбы; она тоже сильно заросла. Я иногда хожу здесь разнообразия ради или

в дождливую погоду: по щебню идти хоть и трудно, но зато здесь чище, чем

на глинистой пешеходной дорожке внизу. Эта пешеходная дорожка -

несостоявшийся "променад", - которая тянется далеко вдоль берега и

переходит затем в обыкновенную тропинку, со стороны реки обсажена молодыми

деревцами, кленами и березами, а по другую ее сторону растут здешние

могучие старожилы - исполинские ивы, осины и серебристые тополя. От

дорожки вниз к реке идет крутой откос. Чтобы его не размыло, когда раз или

в два в году, во время таяния снегов в горах или во время продолжительных

ливней, поднимается вода, откос хитроумно закреплен плетенками из ивняка и

вдобавок, в нижней своей части, забетонирован.

 Местами на этом откосе устроены спуски с деревянными перекладинами

нечто вроде лестниц, по которым можно довольно удобно спускаться к реч

ному руслу - вернее, к шестиметровому каменистому пространству, служащему

лишь в паводок ложем большому горному потоку, который, по примеру своих

меньших братьев, в зависимости от водных условий в горах, то пересыхает до

крохотного ручейка, едва прикрывающего камни даже в самых глубоких местах,

так что кажется, будто голенастые чайки стоят прямо на воде, то вдруг

вздувается, превращаясь в огромнуй бурную реку, способную на любое

бесчинство и насилие, и, беснуясь, мчится по широкому своему руслу, с

диким ревом увлекая и кружа самые неподобающие предметы - корзины, кусты,

дохлых кошек и тому подобное. Русло также, на случай паводка, укреплено

идущими по диагонали заграждениями из ивняка, похожими на плетни. Заросшее

песчанкой, диким овсом и вездесущей красой наших мест - сухим голубым

шалфеем, это русло благодаря выложенной у самой воды каемке из отесанных

камней вполне проходимо и даже дает приятную возможность разнообразить

прогулки. Ходить по твердому камню несколько утомительно, но это

искупается милой близостью воды, а потом можно иногда пройти кусочек и

рядом, по песку, - да, среди гальки и дикого овса там попадается и песок,

правда, с некоторой примесью глины и не такой девственной чистоты, как

морской, но все же настоящий прибрежный песок, так что гуляешь здесь

внизу, вдоль реки, совсем как по бесконечному взморью - тут и шум волн, и

крики чаек, и даже то поглощающее время и пространство однообразие, в

котором блаженно замирает само течение жизни. Скатываясь с небольших

порогов, всюду бурлит вода, а на полпути к дому перевозчика к этому

примешивается еще и грохот водопада - шум наклонно впадающего в реку на

той стороне водостока. Выгнутая, как бы поблескивающая чешуей, струя

водопада похожа на большую рыбину, и вода под ней постоянно кипит.

 Хорошо здесь, когда небо голубое и ялик перевозчика то ли в честь

прекрасной погоды, то ли по случаю праздника укращен вымпелом. У причала

стоит несколько лодок, но к ялику перевозчика прикреплен трос, который, в

свою очередь, соединяется с другим, более толстым тросом, протянутым

наискось поперек реки, и ходит по нему на блоке. Лодку гонит само течение,

а перевозчик только направляет ее, чуть поворачивая руль.

 Перевозчик с женой и ребенком живут в домике, который стоит немного

отступя от верхней пешеходной дорожки; при домике огород и курятник,

квартира эта, конечно, казенная, и они ничего за нее не платят. Затейливой

архитектуры, со множеством фонариков и балкончиков, домик с двумя

комнатами в нижнем и двумя - в верхнем этаже похож на игрушечную виллу. Я

люблю сидеть на скамейке перед садиком у самой пешеходной дорожки, Баушан

укладывается на моей ноге, вокруг бродят куры перевозчика, при каждом шаге

вскидывая голову, а рядом, на спинку скамьи, обычно взгромождается

красавец петух и, опустив хвост с роскошными, как у берсальеров, зелеными

перьями, искоса зорко наблюдает за мной красным глазом. Я смотрю, как

работает перевоз; не сказал бы, чтобы дело шло бойко или хотя бы

оживленно, - в кои-то веки кого перевезут! Тем приятнее видеть, когда с

той или с этой стороны реки появится мужчина или женщина с корзинкой и

потребует, чтобы их переправили, ибо романтика "перевоза" сохранила для

нас свою былую притягательную силу, даже когда все, как тут, устроено на

современный лад и усовершенствовано. Сдвоенные деревянные лестницы для

прибывающих и отбывающих ведут с обоих откосов вниз к мосткам; сбоку,

возле лестниц, проведены электрические звонки. Вот на том берегу показался

человек, он стоит неподвижно и смотрит через реку на нашу сторону. Теперь

уж ему не приходится кричать, как бывало, сложив руки трубой. Он подходит

к звонку и нажимает кнопку. Пронзительный звонок на вилле означает: "Эй,

перевозчик!", но даже и в таком виде вызов лодки не утратил своей поэзии.

 Потом жаждущий переправы стоит, ждет и всматривается, не идет ли кто.

 Не успел еще отзвонить звонок, а уж перевозчик выходит из своего

казенного домика, словно он все время стоял или сидел за дверью, дожидаясь

звонка, - выходит и идет, как заводная игрушка, - нажали на кнопку, она и

пошла, - впечатление почти такое, как в тире, когда стреляешь в дверцу

домика и, если выстрел удачный, оттуда выскакивает фигурка - альпийская

пастушка или солдатик. Не спеша, в такт шагам размахивая руками,

перевозчик идет через садик, пересекает пешеходную дорожку, спускается по

деревянной лестнице к реке, отвязывает ялик и садится за руль. Блок бежит

по тросу, и лодку несет течением к противоположному берегу. Там он ждет,

пока не усядется пассажир, а когда они подъезжают к нашим мосткам, тот

Подает перевозчику десять пфеннигов и, довольный тем, что река осталась

позади, весело взбегает по лестнице и поворачивает направо или налево по

тропинке. Когда перевозчик болен или занят неотложными домашними делами,

случается, что вместо него на звонок выходит его жена или даже сынишка;

они справляются с его работой ничуть не хуже, чем он сам, как, впрочем,

справился бы и я. Должность перевозчика не сложная и не требует никаких

особых талантов или специального обучения. Словом, он должен денно и нощно

благодарить судьбу за то, что ему досталась такая синекура и хорошенький

домик. Любой дурак мог бы его заменить, он и сам это великолепно знает и

потому держится скромно, даже несколько подобострастно. Увидев меня на

скамье в обществе петуха и собаки, он учтиво желает мне доброго утра, да и

вообще по всему видно, что он не хочет наживать себе врагов.

 Запах смолы, влажный ветер и глухой нлеск волн о борта лодок. Чего же

мне еще желать? Но порой на меня находят иные, дорогие моему сердцу

воспоминания: вода спала, чуть пахнет гнилью - это лагуна, Венеция. Но вот

вода опять прибыла, льют нескончаемые дожди; в резиновом плаще с мокрым

лицом, я шагаю по верхней дорожке, борясь с крепким вестом, который

немилосердно треплет молодые тополя в аллее, отрывая их от кольев, и

наглядно показывает, отчего все деревья здесь кривые, с разросшимися в

одну сторону кронами. А дождь все -льет и льет, и Баушан то и дело

останавливается посреди дорожки и отряхивается, обдавая грязью все вокруг.

Реку не узнать. Вздувшаяся, желто-черная, она как одержимая мчится вперед.

Поток напирает спешит - грязные волны заливают все русло до самого края

откоса, ударяются о его бетонированное подножье, о переплеты из ивняка,

так что поневоле начинаешь благословлять предусмотрительность людей,

укрепивших берег. Река при этом почти не шумит, она как бы притихла, и

тишина ее особенно зловеща. Привычных нам порогов не видно, они под водой,

но, потому что в некоторых местах волны выше, провалы между ними глубже и

гребни опрокидываются не вперед, как у берега, а назад, - угадываешь, что

здесь-то и находятся пороги. Водопад совсем сошел на нет - это всего лишь

плоская жалкая струйка, и кипенье под ним почти незаметно из-за высокой

воды. Баушан взирает на все эти перемены с безграничным удивлением. Он

опешил и никак не может взять в толк, куда же делось сухое место, по

которому он привык бегать и носиться галопом, и почему здесь сегодня вода;

в страхе удирает он вверх по откосу от набегающих валов, виляя хвостом,

оборачивается ко мне, опять смотрит на воду и при этом в недоумении как-то

криво открывает и снова закрывает пасть, высовывая сбоку кончик языка, -

игра физиономии, столь же свойственная людям, как и животным, и хотя как

форма выражения не очень-то изысканная и даже вульгарная, но зато весьма

удобопонятная; очутившись в таком же затруднительном положении, к ней

вполне мог бы прибегнуть несколько ограниченный и не слишком культурный

человек, причем он, наверное, еще почесал бы в затылке.

 Остановившись более или менее подробно на зоне реки, я тем самым

завершил описание всей нашей местности и сделал, насколько я понимаю, все

от меня зависящее, чтобы читатель мог наглядно себе ее представить.

 В моем описании мне эти края нравятся, но в натуре нравятся еще больше.

 Как ни говори, а в жизни все определеннее и многограннее, так же как

Баушан в действительности непосредственнее, живее и забавнее, чем его

сотканный из слов двойник. Я привержен к здешней природе, благодарен ей и

потому описал ее. Она мой парк и мое уединение; мои мысли и мечты

смешались и переплелись с ее пейзажами, как листва ее хмеля и дикого

винограда переплелась с листвой деревьев. Я видел ее во всякое время дня и

во всякое время года: осенью, когда в воздухе стоит лекарственный запах

прелого листа, когда заросли чертополоха уже успели отцвести, и громадные

буки "курортного" парка расстилают по лугу ржаво-красный ковер опавших

листьев, и струящиеся золотом летние дни переходят в ранние романтически

театральные вечера с плывущим по небу трафаретным серпом луны, молочными

туманами над землей и закатом, пылающим сквозь черные силуэты деревьев...

Осенью, а также зимой, когда щебень засыпан снегом и по мягкой ровной

дороге можно спокойно ходить в резиновых ботах, когда река стремится

вперед, черная между белесыми, скованными льдом берегами, и в воздухе с

утра до ночи стоит крик сотен чаек. Но все же самые короткие и

непринужденные отношения устанавливаются у меня с ней в теплые месяцы,

когда можно, не одеваясь, между двумя ливнями, на четверть часа выскочить

на аллею, мимоходом притянуть к лицу мокрую ветку черемухи и бросить хотя

бы один взгляд на бегущие волны. Или, к примеру, от тебя только что ушли

гости, и ты, до смерти усталый от всех разговоров, остался один в четырех

стенах, где воздух еще пропитан дыханием чужих людей. Тогда хорошо сразу

же, в чем есть, выйти побродить по улицам Геллерта и Штифтера, отдышаться

и пряйти в себя. Смотришь вверх на небо, смотришь на тонкую и нежную

листву вокруг, нервы успокаиваются, и к тебе возвращается обычная

спокойная серьезность и ясность.

 Но Баушан всегда со мной. Ему не удалось помешать вторжению внешнего

мира в наш дом: сколько он ни протестовал яростным лаем, сколько ни рвался

- все было напрасно, и он удалился в свою конуру.

 Теперь он не помнит себя от счастья, что я снова с ним, в наших

охотничьих угодьях. Левое ухо у него небрежно завернулось, и он трусит

впереди меня бочком, по собачьему обыкновению, так что задние лапы

движутся не по одной линии с передними, а чуть наискось. Но вот я вижу,

что-то захватило внимание Баушана, его торчащий кверху обрубок хвоста

начинает отчаянно вилять. Тело напряженно вытягивается, голова опущена

книзу, он делает прыжок в одну сторону, затем в другую и, наконец, избрав

направление, уткнувшись носом в землю, устремляется вперед. Это след!

 Баушан напал на след зайца.

 ОХОТА

 Местность наша богата дичью, и мы охотимся; вернее сказать, Баушан

охотится, а я смотрю. Таким манером мы охотимся на зайцев, куропаток,

полевых мышей, кротов, уток и чаек. Но мы не отступаем и перед охотой на

крупную дичь - подымаем фазанов и даже выслеживаем косуль, если им

случается зимой забрести в наши края. Какое это волнующее зрелище, когда

желтое на фоне снега тонконогое легкое животное, вскидывая белый зад, как

ветер, мчится от маленького, напрягающего все силы Баушана, - я не

отрываясь слежу за такой погоней. Не то чтобы тут могло что-нибудь

получиться - этого никогда не было и не будет. Но отсутствие осязаемых

результатов не охлаждает страсти и азарта Баушана, да и мне не портит

удовольствия. Мы любим охоту ради охоты, а не ради добычи или корысти, и,

как я уже говорил, главную роль в ней играет Баушан. Он не ждет от меня

ничего, кроме моральной поддержки, ибо из своего личного и

непосредственного опыта не знает иного взаимодействия между хозяином и

собакой и не представляет себе существования более жестокого и

практического способа заниматься этим делом. Я подчеркиваю слова "личный"

 и "непосредственный", так как не подлежит сомнению, что его предки, по

крайней мере по линии легавых, знали настоящую охоту, и я не раз задавал

себе вопрос, не живет ли в Баушане подспудно память об этом и не может ли

какой-нибудь случайный внешний толчок ее пробудить. На такой ступени

различие между особью и родом более поверхностно, чем у людей, рождение и

смерть не вызывают столь глубоких сдвигов бытия, и родовые традиции,

вероятно, лучше передаются потомству, так что, хоть это и кажется

несообразным, мы тут вправе говорить о врожденном опыте, о неосознанных

воспоминаниях, которые, будучи вызваны извне, могут прийти в столкновение

с личным опытом живого существа и породить в нем чувство

неудовлетворенности. Мысль эта одно время меня тревожила, но потом я

выкинул ее из головы, так же как Баушан, по-видимому, выкинул из головы

жестокое происшествие, которому однажды был свидетелем и которое послужило

поводом к моим размышлениям.

 Отправляемся мы с ним на охоту обычно, когда время уже близится к

полудню; впрочем, иногда, особенно в жаркие летние дни, и под вечер, часов

в шесть или позжета бывает, что в эти часы мы выходим из дому уже во

второй раз, - так или иначе, но настроение у меня совсем другое, чем при

нашей утренней безмятежной прогулке. Свежести и бодрости уже нет и в

помине, я трудился, мучился, стиснув зубы, преодолевал трудности,

вынужденный биться с частностями и в то же время не упускать из виду той

более общей и многообразной связи, которую я обязан, ничем не смущаясь и

ни перед чем не отступая, проследить во всех мельчайших ее разветвлениях,

и голова у меня трещит от усталости. Вот тут-то меня и выручает охота с

Баушаном, я отвлекаюсь, настроение подымается, прибывают силы, и я уже

могу работать всю вторую половину дня, за которую мне немало еще предстоит

сделать. Я это и ценю и помню и потому хочу описать нашу охоту.

 У нас, конечно, так не выходит, чтобы нацелиться на одну какуюнибудь

дичь из вышеприведенного перечня и идти, скажем, только на зайцев или на

уток. Мы охотимся на все вперемешку, что бы нам ни попало - чуть было не

сказал "на мушку", да нам и ходить далеко не надо, охота начинается сразу

же у калитки: на лугу возле нашего дома пропасть кротов и полевых мышей.

Эти плюшевые зверюшки, строго говоря, не дичь, но их подземный образ жизни

и скрытный нрав, в особенности хитрость и проворство мышей, которые, в

отличие от своих зарывшихся в землю слепых сородичей, отлично видят при

свете и часто шныряют поверху, чтобы при малейшем шорохе опасливо и так

стремительно юркнуть в черную норку, что даже не разглядишь, как они

переступают лапками; - неотразимо действуют на охотничьи инстинкты

Баушана, и потом, это единственная дичь, которую ему иной раз удается

поймать, а полевая мышь или крот, йо нынешним тяжелым временам, когда в

миску у конуры изо дня в день наливается пресная ячневая похлебка, - право

же, лакомый кусочек.

 Итак, не успеваю я несколько раз взмахнуть тросточкой, шагая по нашей

тополевой аллее, как только что носившийся взад и вперед Баушан уже

проделывает какие-то диковинные сканки справа на лугу. Его обуяла

охотничья страсть, он ничего не видит и не слышит, кроме волнующего

присутствия незримых зверьков: весь напрягшись, нервно виляя хвостом и,

осторожности ради, высоко подбирая ноги, крадется он по траве, на полушаге

замирает с поднятой передней или задней.лапой, склонив голову набок и

опустив морду, так что большие лопухи приподнятых ушей свисают у него

спереди по обе стороны глаз, сверху вниз в упор смотрит на землю и вдруг

делает скачок вперед, накрывая что-то обеими лапами, еще скачок - и

удивленно глядит туда, где только сейчас что-то было, а теперь уже ничего

нет. Затем он начинает копать... Мне очень хочется посмотреть, что он

копает и до чего докопается, но тогда мы далеко не уйдем, потому что

Баушан способен весь свой охотничий заряд израсходовать на полянке у дома.

Посему я спокойно иду дальше: сколько бы Баушан тут ни проторчал, он все

равно меня найдет, даже если не видел, куда я свернул, - след мой для него

не менее ясен, чем след зверя; потеряв меня из виду, он уткнется носом в

землю и помчится по следу, и вот уж я слышу позвякивание жетончика

Баушана, слышу за спиной его упругий галоп., он стрелой проносится мимо,

круто заворачивает и глядит на меня, виляя хвостом, будто хочет сказать:

"А вот и я!"

 Но в лесу или на лугах возле ручья, завидев Баушана у мышиной норы, я

иногда останавливаюсь и наблюдаю за ним, даже если солнце клонится к

западу и я без толку теряю время, положенное на прогулку. Меня захватывает

его пыл, заражает его усердие, я от души желаю ему успеха и хочу бъхть

свидетелем его торжества. Подчас глядишь на место, где Баушан копается, и

ничего не замечаешь - просто какой-нибудь поросший мхом и оплетенный

корнями бугорок под березой. Но Баушан услышал, учуял дичь, может быть,

даже видел, как она туда прошмыгнула; он уверен, что мышка отсиживается

тут под землей в своих ходах и переходах, нужно только до нее добраться; и

вот он самоотверженно роет, позабыв обо всем на свете и не щадя сил, -

впрочем, злобы в нем нет, - любо-дорого смотреть на этот чисто спортивный

азарт. Его маленькое пятнистое тельце с обозначенными под тонкой кожей

ребрами и играющими мускулами прогнуто посредине, зад торчит кверху, а над

ним лихорадочно бьется обрубок хвоста, голова и передние лапы почти

исчезли в наклонно углубляющейся ямке, которую Баушан, отвернув морду,

копает железными когтями с таким жаром, что куски дерна и корней, комья

земли и камешки ударяются даже о поля моей шляпы. Время от времени, когда

он, продвинувшись немного вперед, перестает копать и, уткнувшись носом в

землю, старается чутьем определить, где же там, внизу, притаился пугливый

умненький зверек, в тишине слышно его сопенье. Звук получается глухой,

потому что Баушан спешит вобрать в себя воздух, чтобы очистить легкие и

снова принюхаться - учуять этот тонкий, идущий из-под земли, не очень

сильный, но острый мышиный запах. Каково-то несчастному зверьку слышать

это глухое сопение! Но это уж его дело и дело господа бога, сотворившего

Баушана врагом и гонителем полевых мышей, а потом, ведь страх обостряет

восприятие жизни, мышка наверно бы затосковала, не будь на свете Баушана,

и на что бы ей тогда ум, светящийся в бисеринках глаз, и ее сноровка

сапера, - словом, все, что уравнивает щалсы в борьбе и делает сомнительным

успех нападающей стороны? Я не испытываю ни малейшего сострадания к мышке,

внутренне я полностью на стороне Баушана и часто, не довольствуясь ролью

простого наблюдателя, начинаю тростью выковыривать крепко засевший камешек

или неподатливый корешок, по мере своих сил и возможностей помогая псу

преодолеть лежащее на его пути препятствие. Тогда, признав во мне

единомышленника, он, не отрываясь от дела, бросает на меня быстрый,

горячий и благодарный взгляд. Всей пастью вгрызается он в твердую,

поросшую корешками землю, оторвет комок и бросит в сторону; глухо сопя,

принюхается и, воодушевленный запахом, опять с остервенением пустят в ход

когти...

 В большинстве случаев все его усилия оказываются напрасными.

 С выпачканным землей носом, грязный по самые плечи, он небрежно еще раз

обнюхивает ямку и траву вокруг и, отказавшись от своей затеи, с завидным

безразличием семенит дальше.

 - Ну зачем ты копал? Там же ничего не было, - говорю я Баушану, когда

он на меня смотрит, - ничего не было, - повторяю я и, для большей

убедительности, качаю головой и даже поднимаю брови и плечи.

 Но Баушана нет надобности утешать, неудача нисколько его не

обескуражила. Охота есть охота, жаркое тут на последнем месте, зато до

чего же было хорошо потрудиться, думает он, если вообще еще думает об

осаде, которую только что вел с таким усердием; его уже тянет на новые

авантюры, случай к которым представляется во всех трех зонах буквально на

каждом шагу.

 Но бывает и так, что мышке не удается ускользнуть от него, и тогда мне

приходится пережить несколько неприятных минут, потому что Баушан тут же,

без всякой жалости, пожирает ее живьем со всеми потрохами.

 Может быть, инстинкт самосохранения подвел злосчастную мышку - и она

выбрала себе под жилье слишком рыхлое, малозащищенное место, до которого

ничего не стоило докопаться; а может, ход был очень мелкий, и она, потеряв

голову, не сумела его углубить: засела в нескольких дюймах от поверхности

земли и с выпученными бисеринками глаз, обмерев от ужаса, прислушивалась к

страшному сопению, которое все приближалось и приближалось. Как бы там ни

было, железный коготь выволок ее наружу и подбросил вверх - на страшный

свет божий, - пропала мышка! Недаром ты дрожала от страха, и твое счастье,

если от великого страха у тебя помутился рассудок, потому что теперь ты

пойдешь Баушану на жаркое!

 Он держит ее за хвост, мотает по земле раз-другой; слышится тонкий,

слабый писк, последний писк покинутой богом мышки, и вот уж она у Баушана

в пасти, между его белыми зубами. Широко расставив задние ноги, он стоит

подавшись вперед и, жуя, вскидывает голову, будто снова и снова

подхватывает на лету кусок, чтобы половчее перебросить его в пасти.

 Косточки хрустят, еще какое-то мгновенье лоскуток шкурки свисает у него

с уголка губ, он подхватывает его, - все кончено; и Баушан начинает

исполнять вокруг меня нечто вроде воинственного победного танца, а я стою,

как стоял во время всей этой сцены, опершись на тросточку, и наблюдаю. "Ну

и ну! - говорю я ему с почтением, исполненным ужаса, и качаю головой. -

Знаешь, кто ты? Самый настоящий каннибал и убийца!" Но в ответ Баушан лишь

пуще прежнего скачет, и недостает только, чтобы он громко захохотал. Итак,

я иду дальше по тропинке, чувствуя в спине неприятный холодок от того, что

сейчас видел, но вместе с тем и в какой-то мере приободренный грубым

юмором жизни. То, что случилось, естественно и закономерно: если мышью

плохо управляет инстинкт, она превращается в жаркое для Баушана. Однако в

таких случаях мне приятнее, если я не помогал тросточкой этому

естественному и закономерному порядку, а ограничился чисто созерцательной

ролью.

 Когда после недолгих поисков Баушан острым своим чутьем обнаруживает в

кустарнике фазана, который спал там или притаился, надеясь остаться

незамеченным, и тяжелая птица внезапно вылетает из куста, можно не на

шутку испугаться. С шумом, с треском, взволнованно и гневно крича и

кудахча, большая красно-рыжая длинноперая птица подымается в воздух и,

роняя помет, тут же с глупым безрассудством курицы садится на ближнее

дерево, где продолжает клохтать, а Баушан, упершись передними лапами в

ствол, бешено лает на нее. Гав! Гав! Что сидишь, безмозглая птица, лети, а

я за тобой погоняюсь, - как бы хочет он сказать своим лаем.

 И дикая курица, не выдержав мощного гласа, снова с шумом срывается с

ветки и, тяжело взмахивая крыльями, летит между макушками деревьев, не

переставая клохтать и жаловаться, а Баушан молча, как и подобает мужчине,

преследует ее по земле.

 В этом, и только в этом, его блаженство, ничего другого он не хочет и

не знает. Да и что бы произошло, если бы он в самом деле поймал фасана?

 Ничего бы не произошло. Я видел однажды, как Баушан держал фазана в

когтях; вepoятно, мой охотник наступил на него, когда тот спал, и

неуклюжая птица не успела подняться в воздух - и вот смущенный победитель

стоял над ней и не знал, что ему делать. Фазан лежал в траве с

оттопыренным крылом и, вытянув шею, кричал, кричал без умолку, так что

издалека можно было подумать, что в кустах режут старуху, и я бросился

туда, чтобы предотвратить злодейство. Но тут же я убедился, что страхи мои

напрасны: явное замешательство Баушана, любопытство и брезгливость, с

каким он, склонив голову набок, взирал на своего пленника, служили тому

порукой. Этот бабий крик у его ног, видимо, действовал ему на нервы, и он

не столько торжествовал победу, сколько был смущен. Пощипал ли он немного,

почета и посрамления ради, пойманную птицу? Мне представляется, что я

видел, как он одними губами, не пуская в ход зубов, выдернул у нее из

хвоста несколько перьев и, сердито мотая головой, отбросил их в сторону.

Потом оставил фазана в покое и отошел, не из великодушия, а потому, что

вся эта история уже не походила на веселую охоту и порядком ему наскучила.

Посмотрели бы вы, как опешил фазан! Несчастный, должно быть, уже простился

с жизнью и сперва даже не знал, как ею распорядиться, - во всяком случае,

он довольно долго лежал в траве, как мертвый. Затем проковылял несколько

шагов, кое-как взгромоздился на сук, с которого, покачнувшись, чуть не

свалился, и, волоча за собой длинный шлейф хвоста, полетел прочь. Больше

фазан уже не кричал, предпочитая держать язык за зубами. Молча пролетел он

над парком, пролетел над рекой, над левобережными лесами, все дальше и

дальше, как можно дальше от этих проклятых мест, и, конечно, никогда уже

больше сюда не возвращался.

 Но в наших угодьях немало его сородичей, - и Баушан охотится за ними по

всем правилам охотничьего искусства. Пожирание мышей - единственное

душегубство, в котором он повинен, но и оно является чем то побочным и

вовсе не обязательным по сравнению с высокой самоцелью, состоящей в том,

чтобы выслеживать, поднимать, гнать, преследовать, - это признал бы

всякий, увидев его за этой великолепной забавой. Как он тогда хорош, как

изумителен, как великолепен: Баушан сразу преображается, совершенно так

же, как неуклюжий крестьянский парень из годной деревушки вдруг становится

картинно красив, когда, охотясь на серну, стоит с ружьем на скале. Все,

что есть в Баушане лучшего, подлинно благородного, раскрывается и получает

развитие в эти блаженные минуты, потому-то он так и ждет их и так

страдает, когда время уходит попусту. Ну какой же Баушан пинчер, это самая

настоящая подружейная собака, легаш, и каждое его движение, каждая

воинственная и мужественнопростая поза дышат гордостью и счастьем. Я

испытываю истинное эстетическое наслаждение, когда вижу, как он

пружинистой рысью бежит по кустарнику и вдруг замирает в стойке с.

грациозно поднятой и чуть повернутой внутрь лапой: какой у него

значительный вид, какая смышленая внимательная морда и до чего он хорош в

напряжении всех своих сил и способностей! Случается, что, пробираясь

сквозь чащобу, Баушан взвизгивает. Напорется на колючку и громко скулит.

Но и это в порядке вещей, и это - только беззастенчиво-откровенное

выражение непосредственных ощущений, лишь ненадолго умаляющее его

достоинство; секунду спустя Баушан уже снова стоит во всем своем блеске и

великолепии.

 Я смотрю на него и вспоминаю время, когда, утратив всякую гордость и

внутреннее достоинство, он опять опустился до того жалкого физического и

нравственного состояния, в каком впервые предстал перед нами на кухне

фрейлейн Анастасии и которое не без труда преодолел, постепенно обретя

веру в себя и в окружающий мир. Не знаю, что с ним было - шла ли у него

кровь из пасти, из носу или горлом, да и по сей день это никому не

известно; во всяком случае, куда бы Баушан ни пошел и где бы он ни стоял,

- везде оставались кровавые следы - на траве наших угодий, на его

соломенной подстилке, на паркете кабинета, и никаких ран или царапин мы не

обнаруживали. Иногда казалось, что он вымазал всю морду красной масляной

краской. Он чихал - и во все стороны летели кровавые брызги, он наступал

на них и всюду оставлял кирпичный отпечаток лап. Самый тщательный осмотр

не дал никаких результатов, и мы не на шутку встревожились. Может быть, у

него туберкулез? Или какая-нибудь неизвестная нам собачья болезнь?

Поскольку это столь же непонятное, сколь и неопрятное явление не

прекращалось, решено было поместить его в ветеринарную лечебницу.

 На следующий день, около полудня, хозяин дружественной, но твердой

рукой надел ему намордник - эту штуковину из кожаных ремешков, которую

Баушан совершенно не выносит и от которой непременно хочет избавиться,

стаскивая ее лапами и крутя головой, - пристегнул к ошейнику плетеный

поводок и повел взнузданного таким образом больного налево по аллее, затем

через городской парк и далее вверх по людной улице, к виднеющимся в конце

ее корпусам университета. Там мы вошли в ворота, пересекли двор и

очутились в приемном покое, где на скамейках вдоль стен дожидалось много

народа, и у всех, как и у меня, на поводках были собаки - собаки самых

различных пород и величины, которые уныло глядели друг на друга через

кожаные свои забрала. Тут была старушка с апоплексическим мопсом, слуга в.

ливрее с тонконогой, белой, как ромашка, русской борзой, время от времени

тихо и благовоспитанно покашливавшей, крестьянин с таксой, у которой были

такие кривые и вывернутые.наизнанку ноги, что она, по-видимому, нуждалась

в услугах ортопеда, и многие другие. Сновавший взад и вперед служитель

впускал посетителей по одному в кабинет напротив; наконец очередь дошла и

до меня с Баушаном.

 Профессор, человек, еще не старый, в белом операционном халате и в

золотом пенсне, с шапкой курчавых волос и таким знающим

добросердечно-участливым видом, что, заболей я сам или кто-нибудь из

домашних, я бы, не задумываясь, обратился к нему, слушая меня, все время

отечески улыбался сидевшему перед ним пациенту, который тоже доверчиво

глядел на него снизу вверх. "Красивые у него глаза", - сказал профессор,

оставив без внимания усы и клинообразную бородку Баушана, и выразил

согласие его осмотреть.

 Оцепеневшего от удивления Баушана с помощью санитара разложили на

столе, и я, признаться, даже растрогался, видя, с каким вниманием и

добросовестностью врач прикладывал черную трубку к пятнистому тельцу

кобелька, совершенно так же, как это не раз делали со мной. Он выслушал

его ускоренно бьющееся собачье сердце, выслушал в различных местах работу

других внутренних органов. Затем, засунув стетоскоп под мышку, обеими

руками обследовал его глаза, нос, горло, после чего поставил

предварительный диагноз. Собака несколько нервна и малокровна, но, в

общем, в хорошем состоянии. Причина кровотечения пока неясна.

 Это может быть эпистаксия или гематемезия. Не исключено также и

трахеальное или фарингиальное кровотечение. Но скорее всего это гемаптеза.

Необходимо тщательно наблюдать за животным в клинических условиях, а

потому лучше оставить его здесь и через недельку наведаться.

 Мне оставалось только поблагодарить профессора за столь обстоятельное

разъяснение и откланяться, что я и сделал, похлопав Баушана на прощание по

плечу. Направляясь к воротам, я видел, как служитель вел нового больного

через двор к стоящему поодаль зданию и как Баушан, растерянно и испуганно

озираясь по сторонам, искал меня глазами. А ведь, по существу-то, он

должен был быть польщен: мне, откровенно говоря, было лестно, что

профессор признал его нервным и малокровным. Кто на ферме в Хюгельфинге

чаял и гадал, что о Баушане скажут такое и что его персоной будут

заниматься ученые люди!

 Но прогулки мои с этого дня стали какие-то пресные, я получал от них

мало удовольствия. Выходишь - тебя не встречает буря молчаливого восторга,

гуляешь - нет вокруг тебя мужественной охотничьей суетни.

 Парк, казалось, опустел, мне было скучно. Почти каждый день я по

телефону справлялся о здоровье Баушана. Ответ, сообщаемый какой-то

подчиненной инстанцией, неизменно гласил: "Самочувствие больного, в его

состоянии, удовлетворительное", но что это за состояние, мне, по каким-то

соображениям, не говорили. Тем временем прошла неделя, как я отвел Баушана

в лечебницу, и я решил пойти туда сам.

 Прибитые всюду таблички с надписями и указующими перстами привели меня

прямо к двери клинического отделения, где помещался Баушан, и я, следуя

строгому предписанию на двери, вошел туда без стука.

 Средней величины палата, в которой я очутился, напоминала зверинец, да

и воздух в ней был такой же тяжелый, только что к звериному духу здесь

примешивался еще сладковатый запах всевозможных лекарств - смесь, от

которой противно першило в горле и подташнивало. По стенам шли клетки,

большая часть которых была занята. Из одной клетки навстречу мне раздался

хриплый лай; у ее отворенной дверцы возился человек, вооруженный граблями

и лопатой, должно быть служитель. Не прерывая своего занятия, он ответил

на мое приветствие и предоставил меня самому себе.

 Еще на пороге я, оглядевшись, увидел Баушана и теперь направился к

нему. Он лежал за решеткой своей клетки на подстилке то ли из толченой

дубовой коры, то ли из каких-то опилок, отчего в палате помимо звериного

запаха, вони карболки и лизоформа разило еще чем-то, - лежал, как леопард,

но очень усталый, очень безучастный и скучный леопард; я даже испугался,

когда увидел, с каким мрачным безразличием он отнесся к моему появлению и

присутствию здесь. Раз ил" два вяло стукнул хвостом по подстилке и только

после того, как я с ним заговорил, оторвал голову от лап, но тут же снова

ее уронил и хмуро уставился в стенку. К его услугам в глубине клетки

стояла глиняная миска с водой. Снаружи, к прутьям решетки, был прикреплен

в рамочке наполовину печатный, наполовину заполненный от руки скорбный

лист, где под графами: кличка, порода, пол и возраст - была выведена

температурная кривая. Там стояло: "Помесь легавой, кличка Баушан, кобель,

возраст два года, поступил такого-то числа, такого-то месяца, года... для

исследования по поводу скрытых кровотечений". Ниже следовала начертанная

пером, и кстати говоря, не показывающая особых колебаний кривая

температуры, возле которой цифрами указывалась частота пульса Баушана.

Ему, оказывается, измеряли температуру, и даже врач приходил щупать ему

пульс - в этом отношении лучшего нельзя было и желать. Зато его моральное

состояние сильно меня встревожило.

 - Ваш кобелек? - спросил служитель, подходя ко мне со своим

инструментом. Это был приземистый человек в дворницком фартуке, боро,

датый, краснощекий, с карими, чуть налитыми кровью глазами, удивительно

похожими на собачьи, - до того они были честные, влажные и добрые.

 Я отвечал утвердительно, сослался на приглашение прийти через недельку

наведаться, на телефонные переговоры и заявил, что пришел узнать, как

обстоит дело. Служитель посмотрел на скорбный лист. Да, у собаки скрытые

кровотечения, сказал он, а это история затяжная, в особенности когда не

установлено, чем они вызваны. "А до сих пор не установлено?" Нет, еще

окончательно не установлено. Но ведь собака поступила сюда для наблюдения,

вот ее и наблюдают. "А кровотечения все продол- жаются?" Да, бывают

временами. "И тогда их наблюдают?" Да, самым аккуратным образом. "А жар

есть?" - спросил я, тщетно стараясь разобраться в температурной кривой.

Нет, жару нет. Пульс и температура у собаки нормальные; пульс примерно

девяносто в минуту, как полагается, меньше и не должно быть, а если бы

было меньше, тогда наблюдать пришлось бы тщательнее. Вообще-то, если бы не

кровотечения, пес в неплохом состоянии. Сперва он, правда, круглые сутки

выл, а потом обошелся. Ест он вот маловато, но ведь и то сказать - сидит

взаперти, без движения, а потом, много значит, сколько он раньше ел.

 - А чем его кормят?

 - Похлебкой, - ответил служитель, - но он плохо ест.

 - Вид у него какой-то подавленный, - заметил я с деланным спокойствием.

 - Есть немножко, да только это ничего не значит. В конце концов собаке

не очень-то весело сидеть в клетке под наблюдением. Все они у нас

подавлены, кто больше, кто меньше, - конечно, те, что посмирнее, а иной

пес так начинает даже злобиться, кусаться. Ну, да ваш не такой. Он

смирный, его хоть до самой смерти наблюдай, кусаться не станет.

 Тут я был целиком согласен со служителем, но, соглашаясь, чувствовал,

как во мне нарастает боль и возмущение.

 - И сколько же, - спросил я, - ему придется еще здесь пробыть?

 Служитель снова взглянул на листок.

 - Господин профессор считает, что его надо понаблюдать еще деньков

семь-восемь, - ответил он. - Через недельку можно справиться. В общей

сложности это составит две недели, и- тогда уже точно смогут сказать, что

с собакой и -как ее лечить от скрытых кровотечений.

 Еще раз напоследок поговорив с Баушаном, с тем чтобы поднять его дух, и

нисколько в этом не преуспев, я ушел. Уход мой он воспринял так же

безразлично, как и мое появление. Презрение и глубокая безнадежность,

видимо, завладели им. "Если ты способен был посадить меня в эту клетку, -

казалось, говорил он всем своим видом, - чего же мне от тебя еще ждать?"

Да и как ему было не разочароваться, как не утратить веру в разум и

справедливость? В чем он повинен, чем заслужил такую кару и как это я не

только допустил, но сам привел его сюда? А я ведь желал ему только добра.

У него открылось кровотечение, и если сам он от этого особенно не страдал,

то все же я, его хозяин, счел необходимым, чтобы существующая на то наука

занялась им, - ведь не какая-нибудь он дворняжка, а собака из хорошего

дома, и в университете я своими собственными ушами слышал, что его

признали несколько нервным и малокровным, словно какое-нибудь графское

дитя. И вот как все для него обернулось! Попробуйте ему растолковать, что,

посадив его в клетку, как ягуара, и вместо воздуха, солнца, движения

каждый день потчуя его градусником, ему оказывают честь и внимание?

 Всю дорогу домой я казнился, и если раньше я скучал по Баушану, то

теперь к этому прибавилось беспокойство за него, за его душевное

состояние, сомнение в чистоте собственных побуждений и укоры совести. Уж

не из тщеславия ли и эгоистического чванства потащил я Баушана в

университет? А может быть, мною руководило тайное желание избавиться от

него, любопытно было посмотреть, как потечет моя жизнь, когда я освобожусь

от его неотступного надзора и со спокойной душой буду сворачивать, куда

захочу, - направо или налево, не вызывая ни в едином живом существе

чувства радости или горького разочарования? Что греха таить, с того дня,

как Баушана поместили в клинику, я и в самом деле наслаждался давно не

испытанной внутренней свободой. Никто не донимал меня видом своего

мученического ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у порога с робко

поднятой лапой, не вызывал у меня растроганной улыбки и не отрывал раньше

времени от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому до этого не было

дела. Жизнь и вправду потекла удобная, покойная и не лишенная прелести

новизны. Но так как обычный стимул для прогулок отсутствовал, то я почти

перестал выходить. Здоровье мое пошатнулось, и когда я уже, можно сказать,

дошел до состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден был сделать

вывод, что оковы сострадания более способствовали моему личному

благополучию, нежели эгоистическая свобода, которой я так жаждал.

 Прошла еще одна неделя, и в назначенный день я снова стоял с бородатым

служителем перед клеткой Баушана. Он лежал на боку, бессильно растянувшись

на подстилке из толченой дубовой коры, которая пачкала ему шерсть; голова

у него запрокинулась, и тупой, стеклянный взгляд был устремлен на

выбеленную известкой заднюю стенку. Он не шевелился.

 Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что он еще дышит. Но время от

времени тихий, раздиравший мне сердце вибрирующий стон вздымал его грудную

клетку с выпирающими ребрами. Оттого что он страшно исхудал, ноги его

казались несоразмерно длинными, а лапы огромными.

 Шерсть облезла, свалялась и, как я уже говорил, перепачкалась, потому

что он ворочался в дубовом корье. Он не обратил на меня никакого внимания;

и казалось, вообще никогда уже ни на что не будет обращать внимания.

 Кровотечения еще не совсем прошли, сказал служитель, иногда они ни с

того ни с сего опять начинаются. Чем они вызваны, еще окончательно не

установлено, - во всяком случае, это не опасно. Если мне угодно, я могу

оставить собаку здесь для дальнейшего наблюдения, чтобы уж знать наверное,

что с ней, но могу и забрать ее домой, там она со временем поправится. Тут

я вытащил из кармана поводок, который прихватил с собой, и сказал, что

забираю Баушана. Служитель нашел это разумным. Он отворил клетку, и мы

оба, порознй и вместе, стали звать Баушана, но бедняга не шел, он

по-прежнему лежал, уставившись в белую стенку над своей головой. Правда,

когда я просунул руку в клетку и вытащил его за ошейник, он не

сопротивлялся. Но он не выпрыгнул, а скорее свалился на все четыре лапы и

стоял, прджав хвост и опустив уши, - донельзя жалкое зрелище. Я пристегнул

ему поводок, дал служителю на чай и пошел в контору рассчитаться: при

таксе в семьдесят пять пфеннигов за сутки, плюс гонорар врачу за первый

осмотр, пребывание Баушана в лечебнице обошлось мне в двенадцать с

половиной марок. Затем, окутанные облаком сладковато-звериного запаха

клиники, которым насквозь пропитался Баушан, мы тронулись домой.

 Баушан был сломлен физически и нравственно. Животные непосредственнее,

самобытнее и тем самым в известной мере человечнее, чем мы, во внешних

проявлениях своих чувств: обороты речи, которые продолжают жить среди нас

лишь в переносном смысле и как метафоры, не утратили у них своего

первоначального прямого значения, а это всегда радует глаз.

 Ваушан, как говорится, "повесил голову", то есть он сделал это

буквально и так же наглядно, как делает это заезженная извоачичья кляча со

сбитыми бабками, когда она, время от времени подрагивая кожей, понуро

стоит на углу улицы, и кажется, будто пудовая гиря оттягивает ее

облепленную мухами морду к булыжнику мостовой. Короче говоря, две недели,

проведенные Баушаном в университете, низвели его до того состояния, в

котором я некогда получил его в предгорьях Альп; я сказал бы, что от него

осталась одна тень, если бы такое сравнение не было оскорбительным для

тени жизнерадостного и гордого Баушана. После того как Баушана несколько

раз хорошенько вымыли в корыте, больничный запах, которым он был пропитан,

почти исчез, хотя еще долгое время от него вдруг начинало тянуть

карболкой, но если для нас, людей, ванна является как бы символическим

актом и действует на душевное состояние, то у бедняги Баушана за телесным

очищением бодрости духа не последовало. В первый же день я взял его с

собой в наши угодья, но он еле плелся за мной, по-дурацки свесив на

сторону язык, и фазаны еще долго после его возвращения на?

 слаждались привольной жизнью. Дома он целыми днями лежал неподвижно,

остекленевшим взглядом уставившись куда-то вверх, как тогда в клетке,

вялый и расслабленный; теперь уж не он выманивал меня погулять, а мне

самому приходилось идти за ним к конуре и чуть не силой тащить его на

прогулку. Даже неразборчивая жадность, с которой он глотал пищу, и та

напоминала об унизительной поре его детства. Тем отраднее было видеть, как

он мало-помалу приходил в себя; как при каждой новой встрече в нем

пробуждалась прежняя простодушно-веселая живость; как в одно прекрасное

утро он не притащился нехотя и угрюмо на мой свист, а налетел на меня,

словно вихрь, прыгнул передними лапами мне на грудь и опять стал хватать

зубами воздух перед самым моим носом; как на прогулках к нему вернулось

гордое сознание своей силы и красоты, и я опять мог любоваться его

мужественной грациозной стойкой и стремительными прыжками с подтянутыми

лапами на шевелящихся в высокой траве зверюшек... Он забыл.

 Тяжелый и бессмысленный на взгляд Баушана инцидент канул в прошлое, по

сути дела не разрешенный и не исчерпанный, ибо объяснение между нами было

невозможно, но время все сгладило, как бывает и между людьми, и мы

продолжали жить бок о бок, словно ничего не произошло, меж тем как

невысказанное все больше и больше забывалось... Еще с месяц Баушан иногда

появлялся с окровавленным носом, но случалось это все реже, а затем

кровотечение и вовсе прекратилось, так что было уже совершенно

безразлично, вызвано ли оно эпистаксией или гематемезией...

 Ну вот, не собирался рассказывать о лечебнице, а рассказал! Да простит

мне читатель это пространное отступление и вернется со мной к охотничьим

удовольствиям, на которых мы остановились. Вы слыхали когда-нибудь

плаксивый вой, с каким собака, напрягая все свои силы, гонит

улепетывающего зайца, вой, в котором мешаются ярость и блаженство,

нетерпение и исступленное отчаяние? Сколько раз я слышал, как Баушан вот

именно так подвывал! Это упоение страсти, это сама страсть завывает по

лесу, и всякий раз, когда ее дикий вопль издалека или откуда-то рядом

достигает моего слуха, я радуюсь и пугаюсь, по спине у меня невольно

пробегают мурашки; довольный, что Баушан сегодня свое наверстает, я спешу

вперед или куда-нибудь в сторону, чтобы выйти на гон, и когда заяц, а за

ним Баушан проносятся мимо, стою как зачарованный и с блуждающей по лицу

взволнованной улыбкой гляжу на них, хотя знаю заранее, что ровно ничего из

этого не выйдет.

 Лукавый или трусливый заяц! Прижав уши и вытянув голову, он бежит что

есть духу, длинными прыжками удирая от истошно воющего Баушана, так что в

воздухе лишь мелькают его длинные ноги да желто-белый зад.

 А ведь в глубине своей боязливой, привыкшей давать стрекача души заяц

бы должен знать, что никакой серьезной опасности ему не грозит и рн,

конечно, благополучно удерет, как удирали его братья и сестры, да и сам

он, верно, не раз уже удирал. Никогда в жизни Баушан еще не поймал ни

одного его сородича и никогда не поймает - это совершенно исключено.

 Недаром пословица говорит: косому не поздоровится, когда свора гонится,

а один на один - косой господин. Одной собаке его не изловить, хотя бы она

и бегала быстрее Баушана и была намного выносливее его, потому что заяц

умеет делать "скидку", а Баушан этого не умеет, что в конечном счете и

решает дело. Скидка - это надежное оружие и способность рожденного

спасаться бегством, это средство, к которому он может прибегнуть всегда,

но держит до поры до времени в запасе, чтобы в решающую минуту применить и

оставить Баушана с носом, когда тот уже торжествует победу.

 Вот они выскакивают из кустов, наискось пересекают тропинку впереди

меня и мчатся к реке, заяц молча, затаив в душе унаследованную от отцов и

дедов уловку, а Баушан пронзительно-и отчаянно завывая на высоких нотах.

"Ну чего ты воешь? - думаю я. - Ведь запыхаешься, задохнешься, а тебе надо

беречь силы, если ты хочешь его поймать!" Я думаю так, потому что мысленно

принимаю участие в охоте, потому что стою на стороне Баушана, потому что

страсть его захватила и меня, и я от всего сердца желаю ему успеха, даже

рискуя тем, что он на моих глазах разорвет зайца. Как он бежит! И что

может быть прекраснее живого существа, напрягающего до предела все свои

силы и способности! Он бежит лучше зайца, мускулатура у него сильнее, и

прежде чем они скрылись из виду, расстояние между ними уже заметно

сократилось. Я тоже почти бегом продираюсь через кустарник напрямик к реке

и как раз вовремя попадаю на щебенную дорогу, где вижу приближающийся

справа гон в самый захватывающий момент охоты. Баушан вот-вот настигнет

зайца - теперь он бежит молча, стиснув зубы, запах косого сводит его с

ума. "Наддай, Баушанчик, наддай!" - мысленно восклицаю я и еле

сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: "Не промахнись только, не забудь про

скидку!" То, чего я боялся, произошло.

 Когда Баушан "наддает", заяц коротким неуловимым движением делает

бросок под прямым углом вправо, и мой охотник, беспомощно верезжа и

стараясь затормозить, проскакивает мимо, проскакивает, расшвыривая щебень

и подымая облако пыли, и пока он с душевной болью и жалобным визгом

преодолевает силу инерции, пока поворачивает и бросается в новом

направлении, заяц обычно успевает далеко уйти или вообще скрыться из глаз,

потому что где тут было Баушану усмотреть, куда повернул косой, когда он и

на ногах-то едва удержался.

 "Все это очень хорошо, но совершенно бесполезно! - думаю я,

прислушиваясь к дикому завыванию удаляющейся через парк в противоположном

направлении охоты. - Тут нужна не одна собака, а целая свора, штук пять

или шесть. Одни бросились бы наперерез, другие наскочили бы с боков,

преградили бы ему путь, вцепились в загривок..." И возбужденное

воображение рисует мне свору гончих с высунутыми красными языками, которые

набрасываются на зайца.

 Все это мне представляется лишь в пылу охотничьего азарта, ибо что

плохого сделал мне заяц, чтобы желать ему такой страшной кончины?

 Пусть Баушан мне ближе, пусть я ему сочувствую и желаю успеха, но ведь

и заяц тоже живая тварь, и если он и обманул моего охотника, то не со зла,

а лишь потому, что ему еще хочется поглодать молодые побеги в лесу и

наплодить зайчат. "Конечно, дело обстояло бы иначе, если бы вот эта штука,

- продолжаю я тем не менее думать, разглядывая свою тросточку, - если бы

эта штука была не безобидной палкой, а вещицей более серьезной

конструкции, действующей на приличном расстоянии, тогда я мог бы помочь

своему честному Баушану остановить зайца, и косой, перекувырнувшись разок

в воздухе, остался бы на месте. Тут уж не понадобилось бы никакой своры, а

Баушан сделал бы свое дело уже тем, что поднял зайца". В действительности

же картина получается как раз обратная: Баушан частенько летит кувырком,

когда пытается одолеть проклятую заячью скидку, что, впрочем, иногда

случается и с зайцем, но для косого это пустяк, дело привычное и,

очевидно, безболезненное, а для Баушана - тяжелая травма, и"

 чего доброго, он так когда-нибудь свернет себе шею.

 Бывает, что охота кончается, едва начавшись: заяц на первом же кругу

благополучно ныряет в кусты и залегает там или же начинает так петлять и

делать скидки, что сбивает охотника со следу, тогда Баушан, в полной

растерянности, начинает бестолково метаться, а я, обуреваемый кровожадными

инстинктами, тщетно кричу ему вслед и тычу тростью в сторону, куда ушел

заяц. Но бывает, что гон затягивается надолго и идет по всему лесу, так

что заливистый, страстно подвывающий голос Баушана раздается, как

охотничий рог, то откуда-то издалека, то совсем рядом, и. я, не ожидая

его, иду потихоньку своей дорогой. И, боже мой, в каком он наконец

является виде! Вся морда в пене-, бока запали, ребра ходуном ходят,

длинный язык вывалился из широко оскаленной пасти, отчего его осовелые

глаза становятся по-монгольски раскосыми, и дышит он при этом, как

паровоз. "Ляг отдохни, Баушан, не то тебя еще хватит удар!" - говорю я и

останавливаюсь, чтобы дать ему время отдышаться. Особенно боюсь я за него

зимой, в мороз, когда он жадно вбирает в свое разгоряченное нутро ледяной

воздух, выпуская его белым паром, или захватывает полную пасть снега и

глотает его, чтобы утолить жажду. Но в то время как он лежит и снизу вверх

смотрит на меня смущенными глазами, то и дело слизывая слюну, я не могу

устоять, перед искушением подразнить его-немножко, посмеяться над

неизменной бесплодностью всех его усилий. "Ну где же заяц, Баушан? -

спрашиваю я его. - Что ж ты не принес мне зайчика?"

 А он бьет обрубком хвоста по земле и, прислушиваясь к моему голосу, на

мгновение перестает лихорадочно работать боками и сконфуженно

облизывается; бедняга не подозревает, что насмешка моя только ширма, за

которой я скрываю от него, да и от самого себя, чувство стыда и укоры

совести - ведь я опять ничем ему не помог и не остановил косого, как это

сделал бы всякий другой порядочный хозяин. Он этого не подозревает, и

потому я могу спокойно подшучивать над ним и делать вид, будто это он

что-то прошляпил и упустил...

 Любопытные происшествия случаются иной раз у нас на охоте. Никогда не

забуду, как заяц однажды сам дался мне в руки... Случилось это на узком

глинистом "променаде" над рекой. Услышав, что Баушан гонит зайца, я вышел

из лесу к прибрежной зоне и, продравшись через колючки чертополоха,

которым порос "главный проспект", спрыгнул с травянистого откоса на

дорожку в ту самую минуту, когда со стороны домика перевозчика, в

направлении которого я смотрел, показался заяц, а за ним, шагах в

пятнадцати, Баушан; русак мчался длинными скачками по самой середине

дорожки прямо на меня. Первым моим побуждением, в котором сказалась

злонамеренность охотника, было воспользоваться случаем, преградить косому

дорогу и постараться повернуть его назад, прямо в-пасть плаксиво

подвывающего Баушана. Я замер и, затаив дыхание, стал поджидать быстро

приближающегося зайца; в азарте я даже не заметил, что кручу в руке

тросточку. Я знал, что у зайцев очень слабое зрение и только слух и

обоняние предупреждают их об опасности. Рассчитывая на это, я решил, что,

если буду стоять, неподвижно, заяц, пожалуй, примет меня за дерево; эту

его роковую ошибку, - а мне очень хотелось, чтобы он ошибся, - я и

собирался использовать, не.очень-то представляя ее вероятные последствия.

Действительно ли заяц на какой-то миг ошибся - сказать трудно. Кажется, он

вообще увидел меня лишь в самую последнюю секунду, и то, что он сделал,

было до такой степени неожиданно, что это разом опрокинуло все мои планы и

расчеты и мгновенно изменило мое настроение. Не знаю, обезумел ли он со

страха, - во всяком случае, он прыгнул на меня, как собачонка, цепляясь

передними лапками за пальто, встал во весь рост и пытался запрятать голову

в мои колени, колени страшного охотника! Раскинув руки и подавшись назад,

я смотрел вниз на зайца, который, а свою очередь, смотрел вверх на меня.

Это длилось всего какуюнибудь секунду или даже долю секунды, но я видел

его необыкновенно, ясно, видел его длинные уши, одно торчало кверху, а

другое свисало вниз, видел большие, блестящие близорукие глаза навыкат,

его рассеченную губу и длинные волоски усов, белую грудь и маленькие

лапки, чувствовал, или мне казалось, что чувствую, биение его загнанного

сердчишка - и до чего же странно было мне видеть его вблизи, маленького

демона здешних мест, живоб трепещущее сердце знакомых пейзажей, вечно

ускользающее существо, которое я наблюдал среди любимых просторов и далей

лишь в те краткие мгновенья, когда оно, забавно подкидывая зад, удирало во

все лопатки; а теперь это маленькое существо, в минуту грозной опасности,

жалось ко мне, как бы обнимая мои колени, колени человека, - но, как

представлялось мне, не колени хозяина Баушана, а того, кто господин и над

зайцами, кто и его и Баушана господин. Как я уже говорил, это длилось

какую-то долю секунды, потом заяц от меня отпрянул, упал на свои короткие

передние лапки и стрелой взлетел на правый откос, а к тому месту, где я

стоял, примчался Баушан, примчался с воем, украшенным всеми фиоритурами

страсти, который неожиданно и резко оборвался. Ибо.

 господин зайца преднамеренным и точным ударом трости сразу охладил его

пыл, и Баушан,-визжа, кубарем полетел вниз, чуть не до половины левого

откоса, но потом, прихрамывая на ушибленную заднюю ногу, всетаки опять на

него взобрался и только тогда, с большим опозданием, пустился вдогонку за

зайцем, а того уже давно и след простыл...

 Ну и, конечно, остается еще охота на водоплавающую птицу, которой я

тоже хочу посвятить несколько строк. Время ее - зима да еще холодная

ранняя весна, до отлета птиц на озера; в эту пору они, повинуясь

требованию желудка, волей-неволей вынуждены держаться поблизости от

города; охота эта менее увлекательна, чем травля зайцев, но тоже имеет

свою прелесть и для охотника, и для собаки или, вернее говоря, для

"охотника"

 и его хозяина, - последнего она привлекает главным образом дорогой его

сердцу и животворной близостью воды и еще тем, что, наблюдая образ жизни

этих водяных птиц, рассеиваешься и отвлекаешься, особенно если выходишь из

собственного круга чувств и представлений и пытаешься поставить себя на их

место.

 Нрав у уток более мирный, положительный и добродушный, нежели у чаек.

Они, должно быть, сыты, их меньше тревожат заботы о хлебе насущном,

поскольку все, что им нужно для пропитания, постоянно имеется в избытке, и

стол для них, так сказать, всегда накрыт. Едят они, как я вижу, почти что

все: червей, улиток, букашек, а то и просто тину, и поэтому могут себе

позволить, расположившись на камнях, погреться в лучах солнышка; соснуть

четверть часика, засунув голову под крыло; заняться туалетом, тщательно

смазывая перышки так, чтобы они не намокали, а вода скатывалась с них

капельками, или же, единственно удовольствия ради, отправиться на прогулку

по реке, где, подняв треугольную гузку, они кружатся и нежатся на волнах,

самодовольно поводя плечами.

 В натуре чаек есть что-то дикое, грубое, уныло-однообразное и

нагоняющее тоску. Голод и алчность слышатся в хриплом крике, с которым они

день-деньской кружат стаями над водопадом и там, где в реку из труб

сбрасываются коричневые сточные воды. Ибо рыбная ловля, которой иные из

них промышляют, занятие не очень-то прибыльное, когда хотят набить себе

желудки сотни высматривающих добычу голодных птиц, так что чаще всего

чайкам приходится довольствоваться отвратительными отбросами, которые они

подхватываю! на лету у водостоков и уносят в своих кривых клювах

куда-нибудь в сторону. Сидеть на берегу они не любят. Но, как только

спадает вода, они теснятся-на выступающих из реки камнях, покрывая их

сплошной белой массой, напоминающей птичьи базары на скалах и островах

северных морей, где гнездятся гаги, и до чего же красиво, когда они,

испугавшись Баушана, который с берега грозно лает на них через протоку,

вдруг с криком снимаются и взлетают в воздух. Но пугаются они совершенно

напрасно, никакая опасность им не угрожает. Не говоря уже о врожденной

водобоязни Баушана, он весьма благоразумно и с полным основанием

остерегается быстрого течения, с которым ему, конечно, не совладать и

которое неизбежно унесло бы его бог знает куда, - чего доброго, до самого

Дуная, в чьи голубые воды он, однако, попал бы в сильно попорченном виде,

судя по вздувшимся трупам кошек, что проносятся мимо нас, направляясь в те

края. Никогда он не входит в реку дальше чуть покрытых водой прибрежных

камней, и как бы его ни подстегивала охотничья страсть, как бы он ни

прикидывался, что хочет броситься в волны и вот-вот бросится, можно вполне

положиться на его рассудительность, которая при всем азарте никогда его не

покидает, так что вся его пантомима с разбегами, все его чрезвычайные

приготовления к решительному прыжку в воду, - не более как пустые угрозы,

продиктованные к тому же не страстью, а холодным расчетом, цель которого

запугать лапчатоногих.

 А чайки, как видно, слишком глупы и трусливы, чтобы смеяться над его

ухищрениями. Баушану до них не добратьсяг но он лает, и его далеко

разносящийся по воде громовой голос докатывается до них, а ведь и голос

нечто вещественное, мощные звуки приводят чаек в смятение, они не могут

долго выдержать такого натиска. Сперва они, правда, стараются не обращать

внимания, продолжают по-прежнему сидеть, но вот вся чаячья толпа начинает

беспокойно колыхаться, птицы поворачивают головы, то одна, то другая на

всякий случай хлопает крыльями, и вдруг, дрогнув, все разом взмывают ввысь

белым облаком, из которого слышатся жалобный вопль и горькие сетования, а

Баушан прыгает то туда, до сюда по катмням, стараясь разбить стаю и не

дать ей спуститься: движение - вот что привлекает его, он ни за что не

позволит чайкам сесть, пусть носятся над рекой, а он будет за ними

гоняться.

 Баушан прочесывает берег, издалека чуя дичь, потому что всюду с обидным

спокойствием, засу"ув голову под крыло, сидят утки, и всюду, куда бы он ни

ткнулся, они взлетают прямо из-под его носа, так что и вправду получается

как бы веселая облава - взлетают и сразу же плюхаются на воду, где в

полной безопасности качаются и кружатся на волнах или же, вытянув шею,

летят от него, и Баушан, носясь галопом по берегу, честно меряет силу

своих ног с силой их крыльев.

 Только бы они летали, только бы доставили ему удовольствие, состязаясь

с ними, погонять взад и вперед вдоль берега, о большем он не просит и не

мечтает, а утки, как видно, знают его слабость и при случае пользуются ею.

Как-то весной, когда птицы уже все улетели на озера, я заметил в тинистой

лужице, оставшейся после паводка в ямке высохшего русла, утку с утятами;

должно быть, птенцы еще не научились летать, и она из-за них задержалась.

Там-то Баушан неожиданно и наткнулся на выводок, - я наблюдал всю сценку с

верхней дороги. Он прыгнул в лужу, стал с лаем и дикими телодвижениями

кружиться в ней и страшно переполошил все утиное семейство. Никого он,

разумеется, не тронул, но нагнал такого страху, что птенцы, трепыхая

коротенькими обрубками крылышек, бросились врассыпную, а утка встала на

защиту своего потомства со слепым героизмом матери, которая может ринуться

на противника в десять раз более сильного, чем она, и своей безумной,

переходящей всякие границы храбростью не только его смутить, но подчас

даже и обратить в бегство.

 Взъерошив перья и безобразно раскинув клюв, она подлетела к самой морде

Баушана, героически возобновляя атаку, снова и снова с шипением кидалась

на него и видом своей устрашающей решимости в самом деле привела

противника в замешательство, хотя и не заставила его окончательно

ретироваться, ибо Баушан, отступив, опять с лаем наскакивал на нее. Тогда

утка переменила тактику и взялась за ум, поскольку героизм не оправдал

себя. Вероятно, она знала Баушана, знала с давних пор его слабости и

ребяческие желания. Она бросила своих малышей - не на самом деле, конечно,

- и пустилась на хитрость: поднялась и полетела над рекой, "преследуемая"

Баушаном, - так, по крайней мере, представлялось ему, в действительности

же утка, пользуясь страстью нашего охотника, водила его за нос: полетела

сначала по течению, потом против него, увлекая скачущего с ней наперегонки

пса рее дальше и дальше от лужицы с утятами, так что, продолжая свой путь,

я вскоре потерял из виду и утку и собаку. А немного погодя мой простофиля

явился, запыхавшийся и вконец запаренный.

 Но когда мы проходили мимо лужицы на обратном пути, там уже никого не

было...

 Так поступила эта мать, и Баушан еще сказал ей спасибо. Но он ненавидит

уток, которые, погрязнув в мещанском Своем благополучии, не желают служить

ему дичью и при его приближении просто-напросто соскальзывают с камней в

воду и с обидным безразличием качаются там перед самым носом Баушана,

нисколько не потрясенные его громовым голосом и, в отличие от слабонервных

чаек, не обманутые его пантомимой разбегов. Мы стоим рядышком на

прибрежных камнях, Баушан и я, а в двух шагах от нас с наглой

самоуверенностью, жеманно пригнув к грудке клюв, покачивается на волнах

утка - образец благоразумия и степенности, на которую нимало не действует

взбешенный голос Баушана. Она гребет против течения и потому почти стоит

на месте, но все-таки ее понемножку относит назад, а примерно в метре от

нее порог - эдакий хорошенький пенящийся водопадик, к которому она

повернулась тщеславно поднятой гузкой. Баушан лает, упершись передними

лапами в камни, а я, вторя ему, лаю про себя, потому что в какой-то мере

разделяю его ненависть к уткам с их наглым здравомыслием и желаю им зла.

"Хоть бы заслушалась, как мы лаем, - думаю я, - да угодила бы прямо в

водоворот, посмотрели бы мы, как ты там закрутишься". Но и эта мстительная

надежда не сбывается, потому что в тот самый миг, когда утка достигает

края водопада, она взмахивает крыльями, пролетает несколько метров и

снова, негодница, садится на воду.

 Когда я думаю о том, с какой досадой мы в таких случаях смотрим йа

утку, мне вспоминается одно происшествие, о котором я хочу напоследок

рассказать. С одной стороны, оно принесло мне и моему спутнику как бы

некоторое удовлетворение, а с другой - немало огорчений, беспокойства и

тревоги и даже явилось причиной временной размолвки между мною и Баушаном;

знай я наперед, как все сложится, я бы уж сумел обойти это злополучное

место.

 Было это далеко от дома, на берегу реки, за домиком перевозчика, там,

где прибрежная чаща почти вплотную подступает к верхней,пешеходной

дорожке, по которой мы и продвигались вперед, - я неторопливым шагом, а

Баушан, чуть впереди меня, своей ленивой рысцой, как всегда немного

бочком. Он успел уже погоняться за зайцем или, вернее, дал зайцу себя

погонять, поднял на крыло двух или трех фазанов и теперь, не желая обижать

хозяина, держался поблизости от меня. Над рекой, вытянув шеи, клином

летела стайка уток, но летели они довольно высоко и ближе к

противоположному берегу, так что как дичь не представляли для нас ни

малейшего интереса. Они летели в том же направлении, в каком мы шли, даже

не замечая нас, да и мы только изредка бросали на них нарочиторавнодушный

взгляд.

 Тут, на противоположном, тоже довольно крутом берегу, из кустов вдруг

вышел человек и сразу принял столь необычную позу, что мы оба, и Баушан и

я, как по команде остановились и, сделав пол-оборота налево, стали за ним

наблюдать.

 Это был рослый мужчина несколько грубоватой наружности с отвислыми

усами, в обмотках и в сдвинутой набекрень фетровой шляпе, коротких пузатых

штанах из жесткого в рубчик бархата, именуемого, кажется, Манчестером, и

такой же куртке, поверх которой у него перекрещивалось множество ремней:

пояс, лямки от рюкзака и режень висящего за плечом ружья. Вернее сказать,

висевшего, потому что, едва он показался из кустов, как тотчас же снял его

и, приложившись щекой к прикладу, направил ствол к нёбу. Одну ногу в

обмотке он выставил вперед, цевье держал на вытянутой ладони согнутой под

прямым углом левой руки, локоть нажимавшей на гашетку правой оттопырил в

сторону и, целясь, гордо подставлял небесам свою скошенную физиономию. Во

всем его облике было что-то донельзя оперное, когда он так вот стоял над

прибрежной осыпью, четко вырисовываясь на фоне живой декорации кустов,

реки и неба. Но нам .недолго пришлось взирать на незнакомца с почтительным

и пристальным вниманием; почти тотчас с противоположного берега донесся

сухой хлопок выстрела, - я ждал его с внутренним трепетом и потому

вздрогнул, - мы увидели слабую при дневном свете вспышку, затем облачко

дыма, и в то время как мужчина, сделав чисто оперный выпад, шагнул вперед

с обращенным к небу лицом и выпяченной грудью, держа за ремень ружье в

правой руке, в вышине, куда смотрели и он и мы, разыгралась коротенькая

сценка смятения и бегства: утиный порядок расстроился, крылья, как плохо

натянутые паруса на ветру, отчаянно захлопали, была сделана попытка

спланировать, и вдруг подбитая утка, кувыркнувшись в воздухе, камнем

полетела вниз и шлепнулась в воду неподалеку от противоположного берега.

 Это была лишь первая половина представления. Но тут я должен прервать

свой рассказ и обратиться к Баушану. Чтобы изобразить его состояние в эту

минуту, сами собой напрашиваются штампованные сравнения, ходовая монета,

которую можно пустить в оборот во всех случаях жизни, - я мог бы,

например, сказать: "Он стоял, будто громом пораженный". Только мне это не

по душе и не по вкусу. Громкие "лова, стершиеся от частого употребления,

не годятся для изображения из ряда вон выходящего события, скорее здесь

нужно простое слово поднять до вершины его значения. Я скажу только, что

Баушан, услышав выстрел и увидев сопровождавшие этот выстрел

обстоятельства, а также все, что засим воспоследовало, опешил, как

случалось с ним уже не раз, когда он сталкивался с чём-то необычным, но

теперь это было усилено во сто крат. Он так опешил, что его отшвырнуло

назад и зашатало из стороны в сторону, так опешил, что голова у него

сперва дернулась к груди, а потом, когда его качнуло вперед, ее чуть не

вырвало из плечей, так опешил, что, казалось, из него рвется крик: "Что?

Как? Что это было? Стой, что за чертовщина? Что же это такое?!" Он смотрел

и прислушивался к чему-то внутри себя с тревогой, которая вызывается

высшей степенью удивления, а оказывается, там, внутри его, как ни ново

было все случившееся, это уже жило, жило с самого рождения Баушана. Когда

его отшвырнуло и зашатало из стороны в сторону, чуть не повернув вокруг

собственной оси, он, как бы оглядываясь сам на себя, спрашивал: "Что я?

Как я? Я ли это?" А когда утка упала в воду, Баушан рванулся вперед, к

самому краю откоса, словно собирался сбежать вниз и кинуться в воду. Но,

вспомнив о течении, он сдержал свой порыв, устыдился и снова стал

наблюдать.

 Я с беспокойством следил за ним. Когда утка упала, я счел, что мы

видели достаточно, и предложил идти дальше. Но Баушан сидел, насторожив

уши и повернув морду к противоположному берегу, и в ответ на мои слова:

"Пошли, Баушан?" - только мельком посмотрел на меня и тут же отвернулся,

что, видимо, означало нечто вроде нашего: "Да оставьте же меня в покое!"

Что ж, пришлось смириться, я скрестил ноги, оперся на трость и тоже стал

смотреть, что будет дальше.

 А утку, одну из тех уток, что так часто с наглой Самоуверенностью

качались перед самым нашим носом, теперь крутило в воде, как щепку, так

что и разобрать было нельзя, где у нее голова, а где гузка. За городом

река уже не такая порожистая и бурная, здесь она поспокойнее. Однако

течение сразу подхватило сбитую птицу, закружило ее и понесло, и если

мужчина в обмотках стрелял и убивал не для пустой забавы, а преследовал и

практическую цель, то ему надо было торопиться. Он и в самом деле не стал

терять ни секунды времени, все произошло с величайшей быстротой. Едва утка

коснулась воды, как он, прыгая, спотыкаясь и чуть не падая, ринулся с

откоса. Ружье он держал в вытянутой руке, и опять было что-то очень

романтическое и оперное в том, как он, подобно разбойнику или отважному

контрабандисту из мелодрамы, прыгая с камня на камень, спускался по осыпи,

напоминающей декорацию. Он спускался наискось, левее того места, где

сначала стоял, чтобы успеть перехватить увлекаемую течением утку. Войдя в

воду по щиколотку, он, ухватившись за конец ствола, низко согнулся и

старался дотянуться до нее прикладом, это ему удалось: он поддев ее, не

без труда, осторожно, стал подталкивать к прибрежным камням и наконец

вытащил на берег.

 Итак, дело было сделано, и мужчина облегченно вздохнул. Он положил

ружье на берег возле себя, скинул со спины рюкзак, запрятал в него добычу,

снова пристегнул лямки и с этой приятной ношей, опираясь на ружье, как на

палку, стал бодро подыматься по осыпи к кустам.

 "Ну, этот добыл себе жаркое на завтра", - подумал я с одобрением, к

которому, однако, примешивалась доля неприязни.

 - Вставай, Баушан, пойдем и мы, больше ничего не будет.

 Но, встав и повернувшись разок вокруг собственной оси, Баушан снова

уселся и стал смотреть вслед мужчине в обмотках, даже когда тот уже

скрылся за кулисами кустов. Я и не подумал повторить приглашение. Баушан

знает, где мы живем, и, если ему угодно, пусть хоть до вечера торчит здесь

и пялит глаза на пустой берег. До дома не так уж близко, и я, не мешкая,

двинулся в обратный путь. Он пошел за мной.

 Весь тягостный путь к дому Баушан держался поблизости от меня и не

охотился. Но вместо того чтобы бежать бочком впереди, как он это обычно

делает, когда не настроен рыскать по кустам и подымать дичь, Баушан плелся

сзади, и, как я заметил, случайно обернувшись, строил самую кислую рожу.

Но мне было все равно, не хватало еще, чтобы я из-за этого портил себе

кровь. Возмутило меня другое: каждые тридцать или сорок шагов он зевал.

Зевал отчаянно, с визгом, раздирая пасть, и с тем бессовестным,

непристойно-скучающим видом, которым он как бы говорит:

 "Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин? Дрянь, а не хозяин!" - и

если оскорбительное взвизгивание, которым он сопровождал каждый зевок,

всегда действовало мне на нервы, то на сей раз оно грозило навеки

разрушить нашу дружбу.

 - Пошел! Убирайся от меня! - сказал я. - Ступай к этому господину с

пищалью и ходи за ним по пятам, у него, видно, нет собаки, может быть, ты

и пригодишься ему для его пакостных дел. Хоть он носит дерюгу в рубник и

на приличн-ого господина не похож, но, по-твоему, он настоящий господин и

самый подходящий для тебя хозяин; что ж, мой тебе от души совет - переходи

к нему, раз уж ко всем твоим занозам он тебе еще одну в сердце вогнал.

(Вот как далеко я зашел!) Лучше даже не спрашивать, имеется ли у этого

молодчика охотничий билет, вот попадетесь когданибудь - и достанется вам

на орехи, но уж это ваше дело, я тебе от души советовал, а там как знаешь.

А ты, горе-охотник? Сколько раз разрешал я тебе гонять зайцев, принес ли

ты-мне хоть одного на обед? Значит, я виноват, что ты не умеешь делать

скидки и проезжаешься носом по земле, когда надо проявить ловкость и

быстроту! И фазана ты ни разу не принес; как бы ен пригодился в нынешние

трудные времена! А теперь, изволите видеть, он девает! Ступай, говорят

тебе. Ступай к своему господину в обмотках, посмотришь, такой ли он

человек, чтобы чесать тебе шею или - тем более - тебя смешить; по-моему,

он и сам-то толком смеяться не умеет и разве только грубо гогочет! А если

ты полагаешь, что он отведет тебя для клинического наблюдения в

университет, когда тебе вздумается чихать кровью, или что у такого хозяина

тебя найдут несколько нервным и малокровным, то сделай одолжение, ступай к

нему, но как бы тебе не ошибиться. Вряд ли, ты дождешься от него особой

любви и внимания! Есть признаки и различия, на которые такие вот господа с

ружьями имеют особый нюх и глаз: природные достоинства или изъяны, чтобы

сделать мои намеки более понятными, или, чтобы сказать еще яснее, -

щекотливые вопросы родословной и предков; не всякий станет их обходить из

сочувствия и гуманности, и, когда при первой же стычке он попрекнет тебя,

твоей бородкой, этот великолепный стрелок, и назовет всякими

неблагозвучными именами, тогда ты вспомнишь меня и то, что я тебе

говорил...

 Все это я по пути домой не без сарказма выложил трусившему за мной

Баушану, и если, не желая казаться чересчур экзальтированным, я говорил

это мысленно, а не вслух, то все же убежден, что он прекрасно понял, что

именно я имел в виду, и, во всяком случае, усвоил весь ход моих

рассуждений. Короче говоря, это был полный разрыв, и, дойдя до дома, я

нарочно быстро захлопнул за собой калитку, так что он не успел прошмыгнуть

в нее и вынужден был подпрыгнуть и перелезть через забор. Я слышал, как он

жалобно пискнул, зацепившись животом, но даже не обернулся и, язвительно

пожимая плечами, вошел в дом.

 Но это было давно, более полугода назад, и тут повторилось то же, что и

после университетской клиники: время все сгладило и сровняло, и на этой

наносной почве, почве всякого существования, мы и продолжаем жить, как

жили. Несколько дней Баушан, правда, ходил задумчивый и скучный, но уже

давно он опять наслаждается охотой на мышей, фазанов, зайцев и

водоплавающую птицу и, едва вернувшись домой, уже с нетерпением ждет

следующего нашего выхода. Поднявшись на крыльцо, я еще раз оборачиваюсь к

нему, и по этому знаку он в два прыжка взлетает на ступеньки и, опираясь

передними лапами в дверь, тянется ко мне, чтобы я на прощанье похлопал его

по плечу. "Завтра опять пойдем, Баушан, - говорю я ему, - если только не

придется ехать в город", - и спешу в дом, чтобы стащить тяжелые башмаки на

гвоздях, потому что суп уже давно на столе.

 1918

 КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

 Зарубежная литература

 ТОМАС МАНН

 Новеллы

 Редактор Л.Славинская.

 Художественный редактор В. Купpиянов.

 Технический редактор Н.Литвина.

 Корректор Л. Борисенкова

 ИБ № 3275

 Сдано в набор 18.02.83. Подписано в печать 27.00.83. Формат 60 X 90

1/16. Бумага тип №3.

 Гарнитура "Обыкновенная новая". Печать высокая. 16 усл. печ. я 16,75

усл. кр.-отт.

 21 48 уч -над л. Тираж 500 000 экз. Заказ № 824. Цена 1 р, 80 к. Ордена

Трудового Kpacного Знамени издательство Художественная литература".

Ленинградское отделение. 191186, Ленинград Д-186 Невский пp., 28.

 OCR Pirat